

7279к7

Ф. Д. НЕФЕДОВ



МОСКВА - ИВАНОВО



ЛИСТОК СРОКА ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач \_\_\_\_\_

8/6522/2

230389-5540

7/10-45133

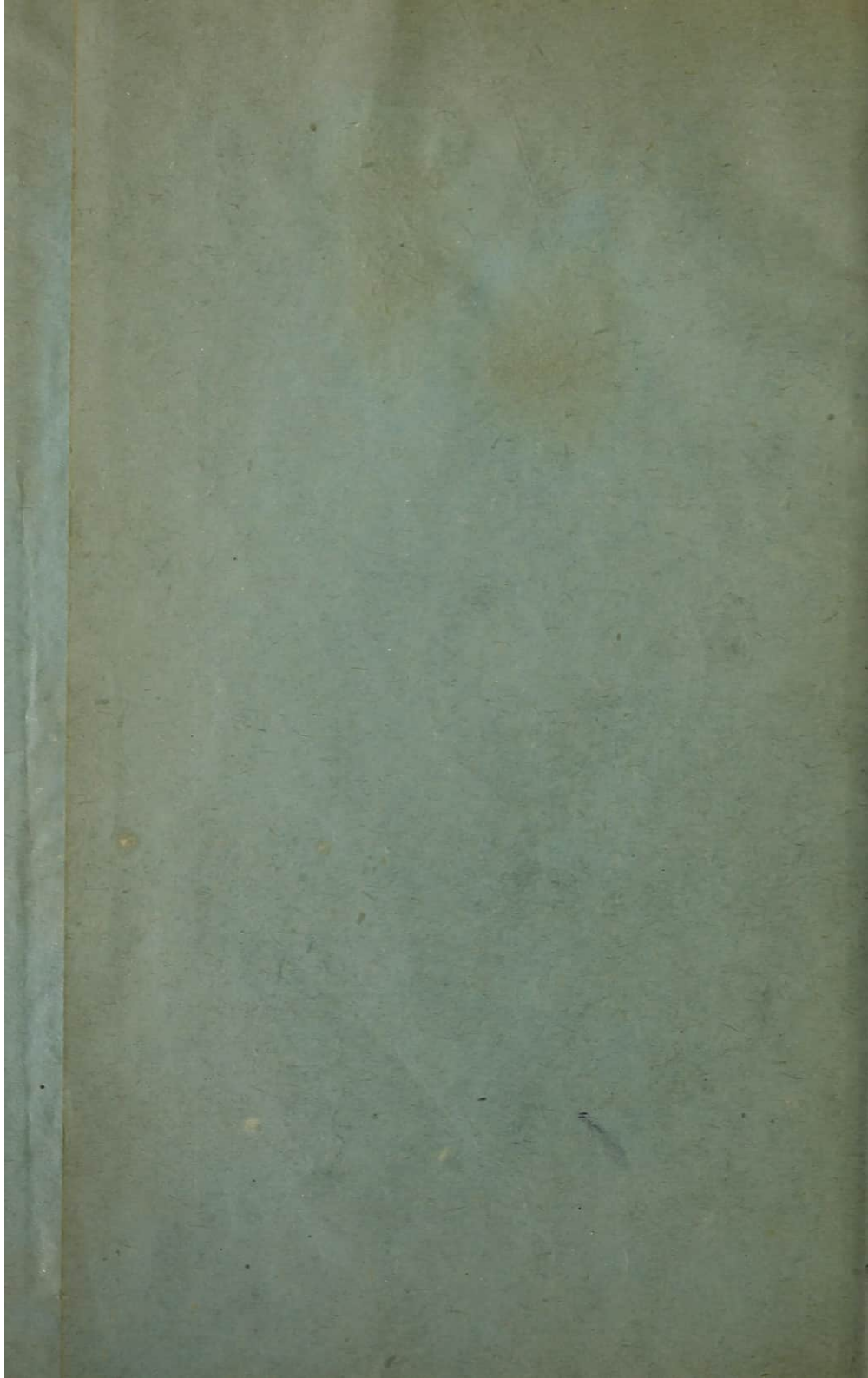
12.03.06 8234

8.01. 8234

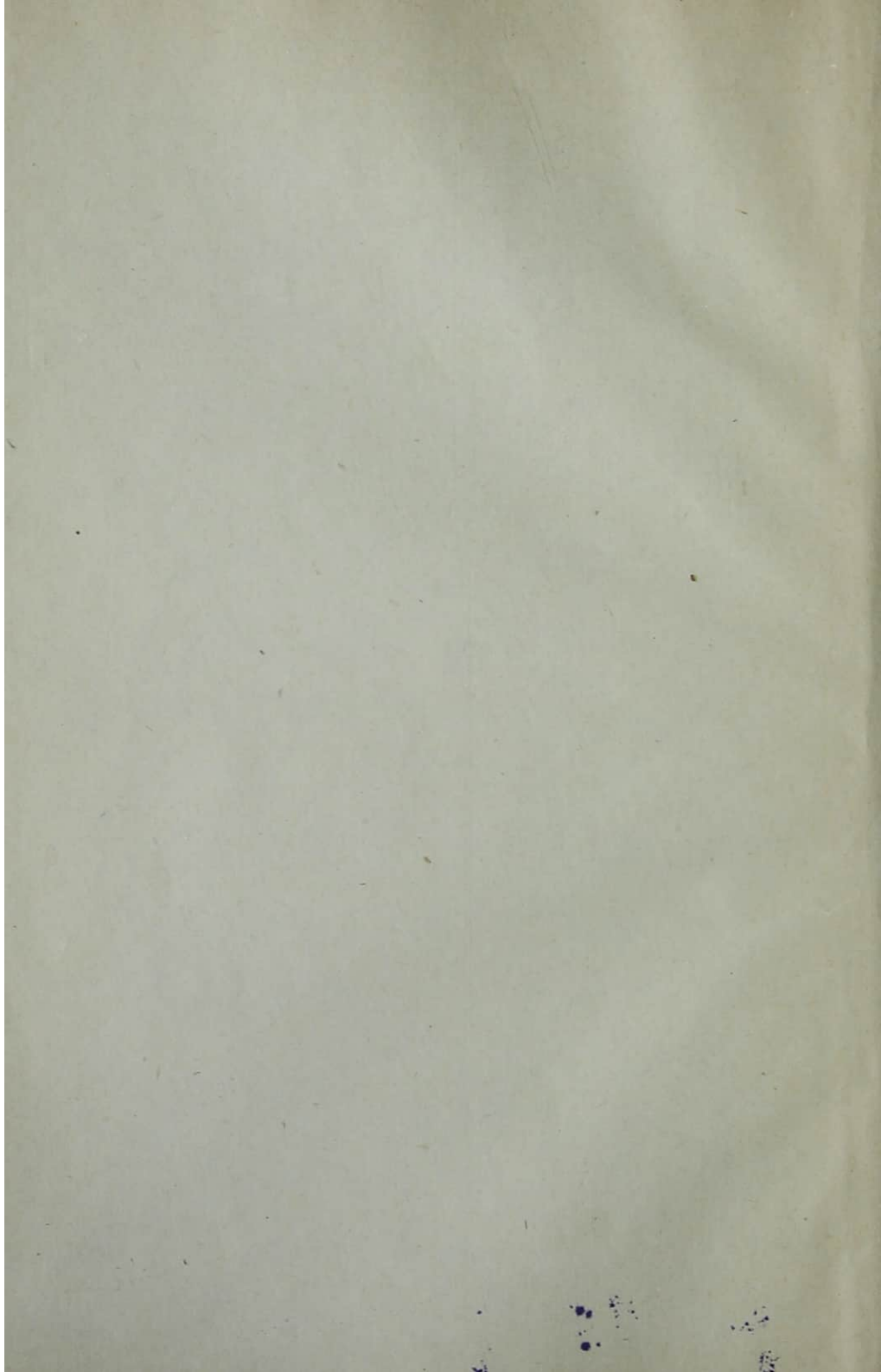
ср. 01.07 12660

по 19.03.07 12660

13.06.07 - 8234







7279к

---

Ф.Д. НЕФЕДОВ

ПОВЕСТИ  
И  
РАССКАЗЫ

ТОМ  
II



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МОСКВА \*\*\* 1987 \*\*\* ИВАНОВО

1941

94

112010

28121

ИЗДАНИЕ  
УЧЕБНОГО  
Курса

Ивановская обл. Научн. библ.  
Отдел Краевой

1951

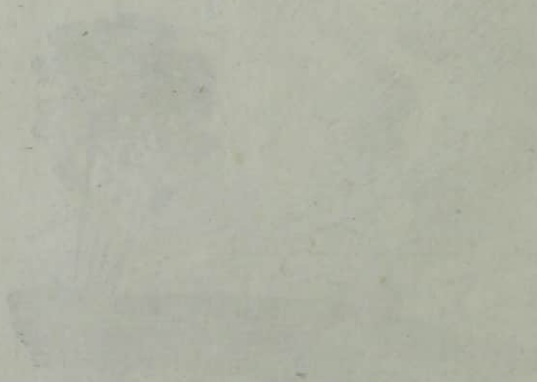


# КРЕСТЬЯНСКОЕ ГОРЕ



REPRODUCTION

TOP



## НЕЧАЯННАЯ БЕДА



ВОСКРЕСЕНЬЕ после петрова дня. Время стоит жаркое. В деревне Голопузове давно уж все отобедали. У избы дяди Егора, что на темной стороне, собрались мужики и бабы. Мужики расположились на завалинке и бревнах, а бабы выбрали себе место на тра-

## Замеченные опечатки

| Страница | Строка   | Напечатано | Следует читать |
|----------|----------|------------|----------------|
| 80       | 19 снизу | скитинка   | скотинка       |
| 101      | 5 „      | лкдьми     | людьми         |
| 154      | 6 сверху | мочаливыми | молчаливыми    |
| 167      | 2 снизу  | заживаем   | заживем        |
| 200      | 8 сверху | под ка     | подь-ка        |
| 275      | 20 снизу | больного   | больно         |

устремляя свои серые глаза на голубую высь. — Хорошо бы было, кабы так, подольше постояло: скоро бы с покосом управились.

— Еще бы! — отозвались другие мужики.

— Каков-то завтра будет денек?.. Дай-то бог ведрицо!

— Больно бы гожо!

— Теперича и в один день много сделаешь, — продолжал дядя Егор: — ишь, ведь, ноне день-от какой, бабюшка, стоит долгий! Не даром добрые люди бают: Петр и Павел дня прибавил...

— А Илья-пророк дня уволок, — добавила одна баба в красном платке.

— А ты сиди, тебя не спрашивают, — сказал ей муж, рябой мужичонка с жиденкой бородкою. — Ты думаешь, с твое здесь никто не знает. Знаем, побольше твоео знаем.

REPORT OF THE

COMMISSIONERS

| Year | Amount | Percentage | Total   |
|------|--------|------------|---------|
| 1881 | 10,000 | 10.00      | 100,000 |
| 1882 | 12,000 | 12.00      | 100,000 |
| 1883 | 15,000 | 15.00      | 100,000 |
| 1884 | 18,000 | 18.00      | 100,000 |
| 1885 | 20,000 | 20.00      | 100,000 |
| 1886 | 25,000 | 25.00      | 100,000 |
| 1887 | 30,000 | 30.00      | 100,000 |

## НЕЧАЯННАЯ БЕДА



ВОСКРЕСЕНЬЕ после петрова дня. Время стоит жаркое. В деревне Голопузове давно уж все отобедали. У избы дяди Егора, что на темной стороне, собрались мужики и бабы. Мужики расположились на завалинке и бревнах, а бабы выбрали себе место на траве, под тенью двух разросшихся ив. Две из них держат на руках грудных детей.

Тут же, высунув языки и тяжело дыша, лежат дворцовые собаки. Ребятишки забрались в пруд, полощутся там, брызжут друг другу в лицо, кричат и заливаются звонким смехом; а двое малышей забились за бревна, на которых сидят мужики, и слушают, о чем говорят большие. Парней и девок не видать: они все от жары разошлись по сараям да по овинам...

На беседе идет разговор:

— Экую благодать господь послал, — говорит дядя Егор, мужик лет за сорок пять, посиживая на завалинке и устремляя свои серые глаза на голубую высь. — Добре бы хорошо было, кабы так, подольше постояло: скоро б с покосом управились.

— Еще бы! — отозвались другие мужики.

— Каков-то завтра будет денек?.. Дай-то бог ведрицо!

— Больно бы гожо!

— Теперича и в один день много сделаешь, — продолжал дядя Егор: — ишь, ведь, ноне день-от какой, бабтюшка, стоит долгий! Не даром добрые люди бают: Петр и Павел дня прибавил...

— А Илья-пророк дня уволок, — добавила одна баба в красном платке.

— А ты сиди, тебя не спрашивают, — сказал ей муж, рябой мужичонка с жиденькой бородкою. — Ты думаешь, с твое здесь никто не знает. Знаем, побольше твоео знаем.

Баба покачала головою и сказала:

— Да уж не ты ли это много-то знаешь? Ах, ты, чучело гороховое! Кто бы говорил, да не ты...

— Ну, ну, поговори у меня еще! — запальчиво вскричал муж и соскочил с бревен.

— А што ты со мною сделаешь?

— Я?

— Да, ты, рябой!

— Я?.. А вот молви хоть слово, так и увидишь! — и мужик опять залез на бревна.

Бабы засмеялись.

— Сердит, да не силен...

— Матрешка!

— Полно, Иванко, што с бабами связываться, — вмешался сидевший тут же на завалинке старик, весь седой опираясь на клюку: — нешто умный мужик переспорит коли бабу? Ни в жисть! Отвяжись лучше!

К беседе подошел еще мужик, высокий, с большой темнорусой бородой и благообразным лицом.

— Мир беседе, — сказал он, снимая поярковую шляпу.

— Здорово, Терентий Захарыч! — приветствовала новоприбывшего вся беседа.

— О покосе, что ли, речь ведете? — спросил Терентий Захарыч.

— Нет, вон у Иванки с бабами ладу нет... Страху перед ним не чувствуют, ни в чем уступить ему не хотят.

— Ну, ему в бабьем царстве королем не быть, — сказал Терентий Захарыч и усмехнулся. — А я вот, православные, гулял все по задворице да любовался, глядячи на богатства-то наши: сердце не нарадуется! Рожь по плечо, колос уж налился, зреть принимается. С яровым мы теперь управились, послезавтра за покос примемся, а там не увидишь, как и жнитво подоспеет! Коли бога не прогневаем, так и будем с хлебушком... Молиться надо больше, православные!

Терентий Захарыч был мужик грамотный. Он знал всю библию и любил в свободный час почитать «дельную» книжку, но ханжой и буквоедом не был. За грамотность и за редкую честность его уважали все, не только в своей деревне, но и по всему околотку. Один только староста, Еремей Пахомыч, по прозванию Стручок, терпеть не мог Терентия.

— Это ты верно говоришь, — сказали мужики, когда Терентий Захарыч остановился: — молитва первое дело...

— А кому за попом гнать? — спросил рябой мужичонка.

— За каким попом?

— Только как хочет мир, а я не поеду, хоша очередь и моя, — сказал он вдруг.

Мужики переглянулись.

— Што он?

— Не поеду, — еще резче проговорил мужик.

— Да кто тебя посылает?

— Как же! Ты баешь: молиться надо. Мир согласен. Значит, скачи за попом. А я в экую жару не поеду, да и лошаденка мне нужна назавтрево... Провалиться сейчас, не поеду!

Тут не одни бабы, но и мужики все засмеялись.

— Эх, Иван Потапыч, понапрасну ты только встревожился, — сказал Терентий Захарыч: — за попом мир и не думает посылать. А помолиться — ты помолишься и один, если у тебя будет усердие. Помолится и всякий другой, чтобы господь, царь небесный, не оставил нас своей милостью.

— Што ты с ним, Терентий Захарыч, разговоры-то эти ведешь, — перебила жена Ивана Потапыча: — нешто он, как и следует, на человека похож? Ведь он...

— Матрешка!..

Али уж не сказывать, рябой?

Скажи, скажи, так я те то сделаю, чего ты и во сне николи не гадала!

— Угроза, однако, не остановила бабу.

— Он, миряне, у меня по ночам...

— Матрешка!..

— Кочетом поет, — добавила Матрешка и первая сама засмеялась.

— Ах, ты...

Дружно захохотала вся беседа, а два мальша, что сидели за бревнами, выскочили оттуда и кинулись бежать на пруд.

— Дядя Иван кочетом поет, рябой Иван кочетом поет! — кричали они на всем бегу, торопясь сообщить слышанную ими новость всему пруду.

На беседе заговорили о другом.

— Не слышал ли чего, Терентий Захарыч, про андреевских пастухов? — спросил один мужик.

— Шалят все, — отвечал тот. — Говорят, намеднись к нашему попу забрались: самовар утащили да матушкин салоп на заячьем меху.

— Чай, попадья-то воет как! — промолвила жена дяди Егора.

— Завоешь, Ивановна, как другого-то нету!

— Чудной ноне стал народ, — заговорил дядя Егор: — откуда только в молодых парнях такая вольность возьмется? Што ни задумали, то и делают, хоть после них трава в поле не рости!

— Молоды очень, жить хотят в весельи, Егор Кузьмич, а достатков-то нет, ну и пускаются на легкий промысел, — сказал Терентий Захарыч.

— А и народ эти пастухи — разлюбезный! — восхитилась молодая бабенка и с чувством прижала к себе грудного младенца, который, при способности спать безмятежно на теплой материнской груди, соединял еще другую способность — не быть похожим на родного отца, сидевшего тут же.

Старый дед, трясая своей седой головой, медленно и с расстановкой начал:

— Враг человеческий всему зло, враг... Он, лукавый, силен: горами качает... Ну, вот и смущает он христианские-то душеньки, от него в народе и беды всякие, и несчастья разные...

При этой речи старого деда со стороны баб слышались вздохи.

— Так, што ли, я баю? — сказал дед, погодя. — Лют он, враг-то наш, — заключил старик и поник головою.

— О-о-ох! — вздыхали на траве: — грехи, все грехи!

— О чем вы? — спросил их дядя Егор.

— Как о чем? Слышь, што дед-то бает!

— Дуры!

С пруда прибежала ватага ребятишек. Все они были мокры, волосенки на головах растрепаны, а на лицах у всех заметно было выражение сильного любопытства. Ватага остановилась за несколько шагов от беседы и уставилась глядеть в толпу мужиков. Впереди стояли два малыша и тихо говорили:

— Вон он где! глядитка-те, какой он!



Ребятишки с живым любопытством глядели, куда ука- зывали им два малыша...

— Да вы не врете ли, парнишки, што рябой кочетом поет? — усомнился мальчуган лет восьми.

— Ах, какой ты, Прошка! Што нам врать-то, чай, са- ма тетка Матрена, при всей беседе, это сказывала!

— Как бы это он нам спел што-нибудь по своему-то, по-кочетиному! — выразили некоторые из малышей жела- ние.

— А и то, ребятишки! — подхватили другие. — Вон, Пашка, она у нас смела, подойдет к нему...

— И подойду! — сказала Пашка, босоногая девчонка в одной рубашке с открытою грудью, на которой болтал- ся большой медный крест.

— Ступай, Пашка! Мы те когда-нибудь гостинца за это дадим! — пообещали ребятишки.

Пашка окинула своими сметливыми, весело смеющимися глазами всю детскую ватагу и смелой поступью пошла к мужикам.

Ребятишки тоже двинулись за нею, чтобы лучше слы- шать, как рябой станет петь кочетом.

— Дядюшка Иван, — начала Пашка, остановившись пе- ред рябым мужичонком, попрежнему все еще сидевшим на верхушке бревен

— Што те, парша? — гордо спросил рябой.

Девочка, закинув на мужика голову, продолжала:

— Ты, бают, горазд больно кочетом петь! Спой-ка!

— Ах ты, мразь! — закричал мужичонка. — Вот я те!..

Пашка убежала.

Время шло незаметно. Жар спал и от пруда потянуло свежестью. В воздухе засновали стрижи, предвестники ве- чера. Скоро пригналось стадо. С беседы все разошлись по домам.

Теперь на гуменницу высыпала пестрая толпа парней и девок. Поднялась беготня и игры. Молодые мужские голоса и девичий смех не умолкают ни на минуту. Из де- ревни не раз присылали звать к ужину. Никто и не ду- мает. Всем хочется играть, веселиться и тешиться... Весе- лись же, как умеешь, наша крестьянская молодость!..

— Степка, што ты это!.. — раздается голос.

— Ничего, это я любя тебя, Дунька! — говорит моло- дой парень, обнимая девушку.

— Робята! — кричит другой парень. — Аленка Панкрашку по харе мазнула!

— Н-ну?

— Ей-богу! Он было к ней, а она его — раз! Так и отлетел!.. Потеха!

— Это ей даром не пройдет, — заговорили было другие ребята.

— Толкуй про бабьи дела. Тронем песню, ребятки! — крикнул Степан.

— И то Степ! Валяй!

— В грудь, девки!

И девки, и парни сомкнулись в один круг. Степан вышел и стал в середине. Он вскинул кудрявыми волосами и тихо и протяжно затянул:

А-а-х-ах, ут-ка лу-го-вая,

А мо-лод-ка мо-ло-дая...

Весь хор громко и сразу поднял:

Где ты была, побывала,

Темну ночьку спала, ночевала?

Звонкоголосая песня понеслась по вечерней заре... Встрепенулось все и ожило вдруг кругом от этой песни, и отозвалось, зазвучало со всех сторон на тысячи тонов и полутонов.

Я гуляла во лужочке,

Ночевала во лесочке,

Под ракитовым кусточком...

В деревне отужинали и легли спать. Но песня многим не давала заснуть.

— Ну, теперича всю ночь пропойт! — говорили по избам.

— Што им! А все это Степка всему затейщик! Эка, подумаешь, как здоров он, собака, эти песни играть!

Иван Поталыч говорил жене:

— Матрешь!

— Ну?

— Мне больно хочется...

— Чаво?

— К ребяткам пойти... Слышь, как поют?

Матрена в другой раз непременно бы выругала своего ребяго, но теперь и ее сердце разнежилось под влиянием

доносившейся песни, в которой слышалась ей золотая пора ее собственной девичьей жизни, и она только сказала:

— Полно, глупый, куда тебе за парнями угоняться! Тебя завтра и не добудисься... Усни лучше!..

Иван Потапыч и не стал больше настаивать. Но, спустя немного, он тихо поднялся с своей постели и на цыпочках подошел к маленькому оконцу, тихо открыл его и просунул на волю свою голову.

Он слушал и тихо улыбался...

А песни разливались все больше и больше.

— Ах, господи! — проговорил он наконец каким-то особенно довольным шопотом и широко вздохнул.

Вот раздалась и хороводная:

Как по-о морю, как по-о морю,  
По синему, по Хвальнскому!..

Долго пели на гуменице парни и девки. Только на рассвете они угомонились. Последние звуки песни волной пронесли по открытым полям и замерли в глубине далеких лесов.

\*

Еще до солнышка поднялась вся деревня. Утро было росисто и свежо. Деревня все больше и больше обливалась ярким светом от постепенно разгоравшегося востока. Петухи громко приветствовали наступающий день. Мужики с парнями возились около телег, мазали колеса, выводили лошадей.

— Степан! Што у те рожа-то? — любопытствовал рыжий мужик, затягивая на лошади хомут.

— А што? — отозвался парень.

— Не спал должно? Больно уж измята!

— Вот, — сказал парень, встряхнув головою, и заворотил в оглобли лошадь.

Скоро вышли бабы и девки в белых рубашках. Мужики перекликнулись:

— Совсем?

— Готово.

— Ну, бабы садись на задние телеги.

Мужики сняли шапки и начали креститься. У ворот стояли старики, старухи и тоже набожно крестились.

— Трогать? — крикнул мужик с передней телеги.

С богом!—отвечали со всех телег.

Гужом выехали из деревни мужики, за ними с граблями и ворошниками потянулись бабы и девки.

— Дай бог час добрый! — слышалось вслед уехавшим.

Деревня опустела; остались одни старые да малые.

На дороге, по которой ехали голопузовцы, показался кабак. Целовальник стоял на крылечке и самым приятным образом делал призывные сигналы. Голопузовцы не замечали приветственных знаков любезного человека и продолжали трястись во всю прыть. Уже половина крестьянских подвод проехала кабак, как вдруг Иван Потапыч, сидевший на облучке одной из задних телег, закричал во весь голос:

— Стой! Сто-ой!

Подводы остановились.

Иван Потапыч соскочил с облучка и замахал шапкою.

— Православные! ведь это кабак!..

— Спесивы, спесивы нонича стали, господа голопузовцы! — любезно упрекал целовальник, низко кланяясь мужикам. — Да возьмите хоть полведерки-то, авось на столько-то вас хватит! — добавил он с улыбкою, имевшею в себе какую-то притягательную силу.

Голопузовцы посоветовались и решили взять ведро.

Целовальник не замедлил вытащить ведерный боченок.

— Самого что ни есть первосортного! — сказал он, опуская в одну из телег боченок и слегка отдуваясь. — Станете пить-попивать да Ивана Николаева добром поминать!

— Уж ты, анафемская душа! — поблагодарил целовальника дядя Егор: — Мало ты из нас животов-то за цельный год повымотаешь!..

— С богом, господа голопузовцы! С богом! Счастливого покосцу! — желал целовальник, кланяясь и приятно улыбаясь.

Вот и приходское село близко. Вошло солнышко и заиграло на белом жестяном кресте сельской колокольни... Опять молитва зашевелила крестьянские губы и опять лица осенились крестом. Обогнув село, косцы поворотили вправо и через несколько минут подъехали к оврагу, в который и стали медленно и осторожно спускаться.

Овраг был очень глубокий и тянулся версты на полторы в длину. Правая сторона его, от села, опускалась крутым

обрывом, а левая шла отлого и местами делала несколько мелких овражков. По самому дну оврага протекала речка, выходявшая голубой полосой из леса и терявшаяся вдали, между зеленеющими лугами. Густой дубовый лес, поднимаясь по горе, замыкал конец оврага и придавал особенный характер местности. Про этот овраг говорили, что в нем когда-то жили какие-то паны; в подтверждение указывали на два кургана, возвышавшиеся на левой его стороне. Еще мужики знали, что в нем каждый год хорошая трава растет, — вот и все.

Голопузовцы, спустившись в овраг, проехали несколько вверх берегом и остановились; стали распрягать лошадей. Из дубового леса несло освежающей сыростью, а по густой и высокой траве расстилался тонкий и едва уловимый для глаза туман. Правая сторона луга оживилась: показались шалаша, забелели женские рубашки, послышалось ржание спущенных на волю лошадей и засвистали в траве косы. Под двумя телегами висели зыбки, в которых спали грудные дети. Время от времени на лугу слышалась шутка, а парни затягивали было и песню, но песня не шла: начнется и — тут же сейчас оборвется...

— Что же не поете? — спрашивали мужики.

— Голосу нешто нету, — отвечали парни.

— Голосу нет. Тот-то, косить-то, видно, не корываны<sup>1</sup> водить! Она, ведь, травка-то родимая, даром не очень любит даваться! За ней тоже надо походить да походить!..

Из леса вышло солнышко и глянуло прямо в лицо кощов.

— Глянька-те, братцы, как солнышко-то осветило!

— И то! Благодать!..

Работа кипела. Сочная трава, срезанная под самый корень, падала рядами, тихо визжали и звенели острые косы, ударяясь местами о мелкие камешки. Чем выше поднималось на чистом небе солнце, тем светлее и ярче блестяли на лугу косы, тем крупнее и обильнее лился с лица пот на землю и орошал зеленую траву...

Долго тянулось время. Наконец наступил и час обеда. Близ самой речки, по желтому песку, уселись работники около небольших котелков и принялись за кашницу, которая журчала и била со дна белыми ключами.

<sup>1</sup> Корыван — хоровод.

— Вот так кашница! — похваливали косцы, пробуя деревянные ложки из котла.

Котелки скоро опростались. Принялись за ржаные лепешки с квасом.

— Кабы говядины еще! — пожелал рыжий мужик: — чудесное бы дело!

— А ты подожди маненько: вот заговенье придет, отдаешь и говядинки!

— Да, жди, коли оно придет!

Высоко стояло на небе солнце и палило землю своими жгучими лучами. Томилось и изнемогало, казалось, под ними все живое. Только мириады невидимых созданий пели, стрекотали и жужжали вокруг, не обращая внимания на весь остальной мир. Бабы и девки расхаживали по лугу и ворочали траву. Белье рубашки на них позеленели и до половины сделались мокры. Девки напевали про себя любезную свою песенку:

Травка-муравка зелененькая!

Тебя ли то, травка,

Высушим в сенцо!

Мой любезный, мой родимый,

Подарил мне-ка кольцо.

— Носи его, милая, носи, родимая,

Вплоть до самой нашей свадьбы!

Теперь девки начали огребать траву и навивать ее на роспуски. Одна из них, румяная, как маков цвет, подвязала платком свою высокую грудь и так работала.<sup>1</sup> Забыла красавица, что не в обычае деревенских нравов было работать с подвязанной грудью, и не видела она, как все изподтишка над ней посмеивались. Василий, молодой парень, долго поглядывал на девицу и все посмеивался; наконец, не вытерпел малый и в то самое время, как она захватила охапку зеленой травы, ударил ее сзади могучей рукой.

— Што ты, жид! — заорала девка.

— Так, здорово живешь, што в гости не ходишь, к себе не зовешь...

— Да што я те, пучеглазому, сделала?..

— Ничего. Я так-с, Василиса Ивановна.

<sup>1</sup> Во многих местах наших средних губерний на покосе все женщины работают в одних рубашках.

— То-то ничего!.. Леший ты эдакий!

Девка не догадывалась.

— Послушай, дура, — начал Василий: — ты рожать, што ли, собралась? Ишь брюхо-то подвязала! Знать, хошь двойни — не держатся?..

Застыдилась Василиса, еще пуще разгорелись ее щеки и она стала неловко развязывать платок.

— Вот давно бы так, — сказал весело парень. — Ато я мекал, што ты рожать на овраге будешь!

Затем уж последовала полюбовная затрещина. Василиса засмеялась.

Перед вечером приехал сам Еремей Пахомыч, деревенский староста.

— Бог на помочь! — сказал он.

— Бог спасет! — отвечали косцы.

Еремей Пахомыч походил по лугу, поглядел, наказал, что нужно, своим работникам и уехал обратно на село, в гости к старшине.

— Што за жизнь этим старостам! — позавидовал Степан, когда Стручок удалился с покоса.

— Не завидуй, Степа, — сказал Терентий Захарыч, оттачивая свою зазубрившуюся косу. — Не гляди, что он барином живет, да на совести-то у него камень... А ты вот работаешь, даром что молод, за одно с нами, пожалуй, еще и лучше настоящих мужиков, зато у тебя и на совести чисто!

— Да ведь я это так, смеясь молвил, Терентий Захарыч, — сказал парень: — што мне завидовать Стручку! Слышал я, как он наши-то мирские слезы пьет... Одному я теперича дивлюсь, — прибавил Степан: — как мир давно его в три шеи не прогонит? Ведь, мы ноне вольные!..

— Все до поры до времени, — промолвил серьезный мужик, пуская снова в ход отточенную косу. — Миру уж не привыкать терпеть, он все терпит, потому — темен наш мир!.. Оттого-то и неправда у нас везде, и обиды да стеснения... А настанет час воли божией, прозрит мир, ну тогда... Что это, опять я на камень?

Терентий Захарыч замолчал и стал поправлять косу. Но молодому парню по душе была речь с грамотным мужиком, и он, немного погодя, снова заговорил:

— Хочется больно мне, Терентий Захарыч, грамоткой призаняться, — начал он. — Уж очень я люблю, коли

при мне книжку читают: так бы и слушал все!.. Вон она-меднись племянник нашего попа книжку читал, так инды я и про корыван забыл: до того это все там любопытно так!

— Что же, учишь! Другой человек будешь, как вы-учишься.

— Я и то хочу, да теперича несвободно... Да што, Терентий Захарыч, мужики у нас говорят, што мне уж поздно учиться? «Ты, говорят, вон какой шалыган, пора отцу женить тебя, а ты хочешь за азбуку!» Смеются!

— Ну и пускай смеются, а ты не гляди на них. Знай свое дело — и конец! Учишь, голубчик!..

День кончался; зажглись на лугу огни и заварили кашу. Перед ужином выпили по стаканчику и, как только поужинали, мужики с бабами отправились по шалашам и телегам спать, но парни и девки спать не хотели: они гурьбой пошли к лесу и в нескольких шагах от него разложили теплину.

На далеком западе догорала вечерняя заря. Кругом становилось все темнее и темнее. На небе одна за другой появились и замелькали серебряные звездочки. В теплом воздухе разливался острый запах свежего сена. С юга дул чуть приметный ветерок.

Вокруг большой теплины сидела деревенская молодежь и глядела на разложенный огонь. Огонь то пробивался голубыми змейками сквозь сучья валежника, то вспыхивал ярким пламенем и несся кверху белым столбом, то ослабевал и горел ровным светом. Лица сидевших казались тогда как-то особенно бледны, почти мертвенно белы.

— Какой лес-то черный! — проговорил кто-то у огня.

— Ночь — оттого и черен, — объяснил старостин работник, Панкрашка.

— Нет, это от огня больше, — сказал Василий: — всегда он таким кажется, ежели сидишь около теплины... Это я не раз примечал.

— А, чай, боязно теперетка в лесу-то? — спросила одна молодая девушка, Паша.

— Говорят, он пугает по ночам-то, — сказала Дуня.

— Што ему пугать-то! Он, поди, не колдун какой!

Степан молча слушал и подбрасывал в огонь хворост.

— Слышал, што ли, кто из вас, ребята, про курганы, што вон там, на овраге, стоят? — спросила Василиса.



— В старину там паны кочевали, — отвечал Василий: — от них и курганы эти.

— Это мы и сами давно знаем. А кто там похоронен?

— Ну, об этом ты спроси у нашего пономаря, — отвечал Василий. — Он все науки произошел и знает, как свет зачался.

— Неуж знает?

— Все! Особливо, ежели ты ему полштоф сичас поставишь: такую он те примудрость тогда заведет, што в голове даже помутится.

— Ну?!

— Вот те и ну!

— Это Трифоныч-от?

— Да, Трифоныч! Вот ты и знай, каков он!

— Ах, матушки! — удивлялись девки.

Но Степан нашел, что и он не меньше Трифоныча может удивить девок. Он кинул еще на огонь сухую ветку и промолвил:

— А вот я и без Трифоныча знаю, што это у нас в овраге за курганы. Хотите, — расскажу?

— Расскажи, Степан, расскажи! — стали просить все, не исключая и парней.

— Только уж не больно ли страшно, так лучше не рассказывай! — сказал Паша, девушка не из храбрых.

— Не бойсь, Пашутка! — успокоил Степан. — Ну, теперича слушайте!

— Только ты, паря, не ври, — сказал Василий: — ты, ведь, на это мастер!

Все подвинулись к молодому рассказчику.

— Давно это было, — начал Степан, пропуская мимо ушей замечание приятеля: — може годов сто, а може и двести, а пожалуй и все пятьсот — доподлинно не знаю. Только Расея наша и тогда уж была Расеей. Жили тогда господа, жили и мы, крестьяне, — только о те поры все крестьяне были господскими... Ну, вот и жили они, а царем над ними в то время был царь На-а-ву-хо-до-носор...

— Как?

— Навуходносор...

— Экое имя-то мудренное!

— Вот и царствовал этот Навуходносор, — продолжал Степан с невозмутимым спокойствием: — умный, робята, говорят, был этот царь Навуходносор... Царствовал

он так-то, — вдруг на Расею нашу поляки! Ну, сейчас же крестьянам объявили набор... Купцы и мещане понесли деньги, имущества... И поднялась тут, девки, война, — страсть какая война! Молите бога, што вас тогда не случилось — перемерли бы все! Ну, вот война и пошла, и пошла... Пальба, дым — ничего не видать! Помещики все испужались, барыни заплакали, барышни тоже... Только поляки на наше село Андреевское прямо! Ну, как тут быть? Беда! А уж от царя Навуходоносора тут войско стоит: знал, што поляки на наше Андреевское пойдут. Поляки в овраг, вот где мы теперича, засели тут и сидят... А в то время, ребята, близ Андреевского стоял господский дом, — теперича его уж не видать, — большой дом, ярусов в шесть, а може и больше, весь каменный, со столбами. У барина этого находилась дочь. Раскрасавица, шельма, была эта барышня!

— А как ее звали? — спросила Паша.

— Звали ее?.. Позабыл, как ее звали! И сидела она, Настасья Васильевна, — да, вот она как прозывалась: Настасья Васильевна!.. И сидела она, Настасья Васильевна, в самом верхнем ярусе и играла на варгане. Ну, а полякам в овраге смерть как соскучилось: все одни да одни, знакомства никакого, баб и девок нету, кабак далеко, да и подойти к нему никак невозможно. Уж очень за него держались воины царя Навуходоносора! Вот, братцы, один полячок, панок — молоденький еще такой — и говорит: «пойду, говорит, я в поле, разгуляюсь от скуки». Сказал это панок да и пошел гулять. А Настасья Васильевна так и заигрывает на варгане, — за версту все слышно. Услыхал панок, весь так и заторпыхался, захолопал это он в ладошки и засмеялся от радости. Настасья Васильевна к окошечку, а панок скинул бархатный картузик да уж кланяется ей, да уж кланяется! На другой день Настасья Васильевна опять играет на варгане. Панок тут! На третий день Настасья Васильевна опять играет на варгане... Панок тут!.. Ну, значит, они тут слюбовались! Барин ничего не замечает... Войско Навуходоносора все у кабака, — тоже ничего не примечает... Придет ночь, те-м-мно!.. Барышня выбежит к панку в одном платьице, да и гуляет с ним, обнявшись, по полям да лугам. И смеются оба, и целуются, и плачут, ну вот, знай, ровно малые робятки! «Паночка моя, — говорит панок нашей барышне, — я без

тебя жить не могу». — «И я, — говорит наша барышня, — умру, ежели ты спокинешь меня!» Так они и любилась, а жениться им нельзя было: разной веры — она расейской, а он немецкой... Только поляки сидели-сидели в нашем овраге, да видят, што ничего не дожدهшься, и задумали дать тягу. Панок испужался, — страсть как! — весь побелел и побежал к барышне. «Паночка, — говорит, — мы уходим отсюда!» Барышня наша, как услыхала это, кинулась на шею панку и обмерла вся... А погода и говорит: «Уведи меня с собой, панок! я помру без тебя!» Панок схватил ее в охапку — она легонькая была — и кинулся с ней в лес бежать...

— Пошто в лес? — спросил Василий. — Зачем?

— А затем, што от своих панок отстал, и если бы он к ним пришел, то они его убили бы за измену, — не запинаясь, ответил рассказчик. — Ну, и поселились они на время в нашем лесу. Дома хватились барышни: где, где — нет нигде! Барин разослал повсюду погоню... Войско Навуходоносора ударило в барабаны, затрубили в трубы... Мужики в Андреевском все перепужались, бросились бежать в пещеры: «Погибаем! — кричат: — Наших поляки берут!» А панок с барышней живут себе в лесу и горюшка им мало! Об неделе, видно, этак, панок получил от сродственников письмо. — «Што ты, — пишут ему сродственники, — позабыл нас совсем! Мы по тебе соскучились, приезжай, как можно, скорей домой». Ну, панок с барышней и стали потихоньку из лесу выбираться... Идут, девки, они оба ручка в ручку, а навстречу им с ружьем барин старый. «А, так это ты, басурман, мою дочь загубил!» — закричал барин и выстрелил из ружья прямо в панка... Панок тут же так и упал, бедняжка, и ни одна не пикнул! Барышню старый барин схватил за косу и потащил домой, а панка велел зарыть в овраге, где кочевали паны...

— Ай, как жалостно! — воскликнула Паша.

— Врешь все, Степка! — сказал Василий, которому рассказ показался не совсем правдоподобным.

— И не знал, што делать, старый барин с своею дочкой, — продолжал Степка, не моргнув даже глазом. — Сидит барышня, ровно убитая: сама не плачет, а разводит только своими белыми рученьками и так тяжело вздыхает!.. Отец, вedomое дело, и пряников ей, и орехов кале-

ных — ништо не помогает! Придет это ночь, улягутся все, а она через окошко да прямо в лес. Ходит там одна, горемычная, да все причитает: «Панок, родимый мой панок, милый!» Да так жалобно это она причитает. Ато заплачет, горько заплачет и зальется вся! И говорят, девки, што весь лес тогда плакал и жаловался, — ужасть всех брала, кто слышал! В том же году барышня скончалась: сама ли она на себя руки наложила, али уж так с тоски померла, — христос ее ведает! Старый барин похоронил ее рядом с панком. И это вот на их могилках курганы-то стоят.

Степан кончил и встал.

— Все?

— Все. А разве вам мало еще?

— А што с другими-то панами 'сталось? — спросил Панкрашка.

— Домой все ушли. «Царь Навуходносор, — говорят, — силен: с ним ничего не поделаешь». Взяли да и ушли.

Сказал это Степан и пошел от теплины в сторону.

— Да ты куда?

— Сичас вернусь. Посидите маленько!

Рассказ произвел должное впечатление. Все сидели и молчали, долго молчали. Василий, менее других доверявший рассказчику, и тот не устоял, поддался общему впечатлению. Такова уж сила чудесного!

— Неужто все это и правда? — спросила Дуня.

— Известно — правда, — отвечала Паша.

— Чай врет все, как сивый мерин! — сказал Василий.

Опять все замолкли.

Степан не возвращался.

— Пойдемте спать, — позвал Панкрашка, зевая во весь рот.

— А Степки нет?

— Придет.

— Да што он долго?

— А шут его знает!

— Покличьте!

Кликнули. Ответа нет. Опять кликнули, тоже нет ответа.

— Куда он запропастился? — говорили тревожно парни.

— Уж не повстречалось ли чего с ним?

В лесу какая-то птица крикнула. Все вздрогнули.

— Ух, как лес-от страшно глядит! — вскрикнула Паша и, побледнев, вся задрожала.

Лес действительно глядел страшно. Весь черный и высокий, стоял он неподвижно над оврагом, как бы грозный исполин какой...

Дыхание останавливается при виде этой немой угрозы... Слышно было, как слабо потрескивал на огне сухой хворост да журчала речка, струясь и ниспадая по камешкам. Вдруг, посреди этой невыразимой тишины, раздался в лесу жалобный девичий плач.

— Што это?

Плач в лесу постепенно усиливался, становился все громче и громче, наконец перешел в рыдания и всем ясно послышалось: «панок, родимый панок, милый панок!»

Все моментально вскочили. Девочка была лихорадка, а парни с ужасом глядели друг на друга и не знали, что делать.

— Господи, да где Степка-то у нас? — проговорил Василий. — Степан! — крикнул он громко.

Девичий голос в лесу замолк... Вдруг черный лес весь захохотал и грянул: «Сте-е-пан!»

С криком и визгом кинулись все от огня и побежали вниз по реке, а грозный лес гремел, хохоча им вслед: «Держи их, дер-ж-жи!»

Как добежали перепуганные и обезумевшие от страха до того места, где стояли телеги и шалаши, так и грянулись все на траву и долго пролежали в беспомощности. Когда же очнулись, то к ужасу увидели под одной телегой Степана, который спал крепким богатырским сном.

На другой день все знали о ночных чудесах леса. Утром на лугу только и разговоров было, что про страшный лес.

— Вот так лесок, — говорили мужики: — што он творит!

— Да, лесок, нечего сказать!

— Теперича нам, бабам, и подойти-то одним к нему будет страшно, — сказала сноха рыжего мужика.

— Где одним теперича! Умрешь с ужаста! — решили в один голос все бабы.

Один Терентий Захарыч отнесся недовольно к ночным проделкам леса. Он не верил, чтобы какая-нибудь нечистая сила водилась в лесу и пугала крещеный люд. А Степка все что-то улыбался про себя и говорил вслух:

— Да, нечист у нас этот лесок, нечист!

Но от Терентия Захарыча не ускользнуло Степкино коварство. Заметя, что тот все улыбается, он сказал:

— Степан!

— Ась?

— Вот что: ведь это твои штуки-то в лесу были...

Степан рассмеялся.

Но никто и верить не хотел Степану. Все крепко стояли на том, что с молодежью чорт так пошутил, а не Степка: где ему, молокососу!

— Да ведь ты дрыхнул вчера, как мы прибежали, — допытывался Василий.

— Вона! — смеясь, говорил Степка: — я, поди, видел, как вы все бросились, ровно безумные! Я тоже кинулся вам по следам, прибежал к телегам, а вы уж вверх решкой лежите. Я тихим манером и залез под телегу да и притворился, што сплю.

— Ах, чорт!

Мало-по-малу, однако, поверили и другие.

— Ай да Степка! — хвалили удалого парня мужики. — Задал всем страху! Молодец!

— Ну, штуку же ты с нами удрал! — с тоном укоризны говорили товарищи, но в то же время, как будто, и удивлялись ему, думая: «тебя на что, чорта, не станет!»

— И про панов, Степка, ты выдумал? — захотела узнать Паша. — Все, значит, не правда?

— Нет, тут от слова до слова все правда! — сказал Степка: — Это еще мне покойница бабушка Мавра рассказывала. Она — царство ей небесное! — много всего про старину знала... Любопытная была старуха!..

На селе ударили в большой колокол. Глухо отозвался этот удар в овраге и заставил мужиков уронить косы. Вздрыгнули мужики и перекрестились.

— Должно, попы обедню собрались служить, — проговорил лысый мужик, обтирая травой косу.

— Да што, робя, какой ноне праздник-от?

Никто не знал, какой праздник.

Иван Потапыч выбежал из оврага, поднялся наверх,

взглянул в сторону родной деревни и увидел над ней облако дыма. Подкосились ноги у Ивана Потапыча и зашатался он наверху, точно пьяненький...

— Православные! Мы... горим!.. — прохрипел он задышающимся голосом и покатился вниз.

Кинулись все из оврага. Кто успел, — сел на лошадь, кто не успел, — так бежал. Жена дяди Егора вскарабкалась на кручь оврага, ахнула да так тут и осталась: от испугу потемнело у ней в глазах и ноги отказались бежать.

А пожар в Голопузове между тем усиливался. Едва пламя обхватило крышу первой избы, как огонь перебежал к соседу; только что занялась соседняя изба, а пламя уже перемахнуло на середину посада и загорелась новая изба... Вот, точно свечка, затеплилась избенка Ивана Потапыча, тут запылал высокий с подклетом дом зажиточного мужика, а там уж огонь пошел гулять и по всему посаду. По нагретой соломе быстро пробегало пламя, а из соломенных крыш выскакивали огненные языки и словно дразнили кого... Вверху, над самым пожаром, кружились голуби и не знали, куда лететь; они долго кружились, все белые и облитые ярким светом: то скроются, пропадут из глаз за облаком дыма, то опять покажутся и заблестят, засияют в поднебесьи. А в озаренной пожаром улице все пустынно, все безмолвно... Одне собаки, взрывая под собою землю, поднимут на пожар головы и завоюют. На противоположной стороне виднелись в кучке ребятишки, с немым ужасом глядевшие на страшную картину деревенского бедствия. Как привидения, местами восставали перед огнем старческие фигуры, в бессилии размахивая дряхлыми руками...

Но вот деревня стала наполняться живыми людьми. На помощь со всех сторон бежал и скакал народ. Поднялся крик, вой, стон... Ребятишки, слыша баб, тоже принялись реветь. Все бегали, суетились и ничего не делали.

— Кушину, кушину! — закричал рыжий мужик, к избе которого огонь начинал уж подступать.

— Тащите мученика Трифона! — слышались голоса.

Терентий Захарыч, Степан и другие парни кинулись по избам таскать имущество. Бабы вынесли иконы: неопаленую кушину и мученика Трифона. Оне тихо рыдали и молились вслух:

— Трифон мученик... Матушка купина!.. Помилуй нас купина!.. Угодник божий, Трифон!.. Купина прелюбная!.. Антипий, зубной исцелитель!.. Господи!..

Мужики уж больше не бегали и не суетились; они молча стояли и глядели, как пламя разрушает их богатство — избы. Еремей Пахомыч, в качестве старосты, напрасно возвышал свой голос:

— Што ж вы православные, стоите? Спасайте именье-то!

Никто ни слова.

— Што же? Али и для себя нет охоты постараться?

— Да што тут стараться-то, — отвечали мужики: — домов мы не спасем, а прочее-то што!..

— Матушка купина! Чудотворец Трифон... ютврати... Ангел-хранитель... Честная купина!.. Никола... Трифон! — молились бабы и глотали катившиеся по лицу слезы.

Вдруг дядя Егор, взглянув на свою уже объятую пламенем избу, страшным голосом вскрикнул:

— Батюшки! ведь у меня в избе-то ребятишки!

Всколыхнулись все от голоса дяди Егора. Мужики кинулись в разные стороны, закричали, замахали неистово руками — и только...

— Родимые, болезные, — умолял прерывающимся голосом Егор, — спасите! Погибнут. Сгорят!..

Мужики из кожи лезли вон, стараясь помочь грозившей беде: они еще пуще стали кричать, заметались из стороны в сторону и даже вполыхах опрокинули бабу с мучеником Трифоном...

— Ай! — взвизгнула баба.

— Спасай, робя, спасай проворней!

Кто-то притащил кочергу, выброшенную из избы, другой — лестницу, третий ведро с водой...

— Ну, лезь! — раздался голоса, когда лестницу приставили к избе.

— Лезь! Да как ты полезешь? — говорил мужик, стоявший у лестницы. — Чай, тамotka огонь: поди, спалит всего!

— Ах, леший! Много тебя спалит: обожжет малость какую, и все!

— Ладно! Полезай-ка сам, коли есть охота.

Дядя Егор стоял, как одеревенелый, и не понимал, что около него происходит. Однако при последнем слове он пришел в себя.



— Господи! — простонал мужик и повалился на землю. Явился Степан. Узнав, в чем дело, он вырвал у Еремея Пахомыча топор, бросился к лестнице, проворно взобрался, вышиб раму и пропал в окне. Минуты через две Степан снова показался в дыму, держа в охапке мальчика и девочку.

— Примите! — крикнул он.

К нему на помощь явился Василий. Сдав ребятишек, Степан опять исчез. Между тем, крыша на избе давно прогорела, сгнивший потолок не вынес тяжести и обрушился. Густой дым так и повалил из прошибенного окна.

С покоса притащилась жена Егора. Поглядев на кучку ребятишек, стоящих особо от больших, она с невероятной быстротой проскользнула сквозь толпу, кинулась к лестнице и хотела уже лезть. Но тут выискались смелые мужики, которые оттащили ее и указали на спасенных детей. Мать и дети радостно и с плачем кинулись друг к другу.

— Мамка!

— Сердечные вы мои... Живы!

Пожар не утихал. Уж половину деревни обхватило огнем, пламя так и рвало, так и метало. Народ сгрудился перед Егоровой избой и ждал, когда вылезет на волю Степка. Из прошибенного окна попрежнему валил густой черный дым. Степан не показывался.

— Што он там замешкался? — посылшалось в толпе.

— Эй, Степ, а Степ! — начали звать мужики: — Пора!.. Вылезай!.. Сгоришь ведь, чорт ты эдакой!..

Но Степан не вылезал.

В толпе опять заговорили:

— Пропал, видно!

— Задохся парень!

Постояли еще, поглядели и махнули все рукой.

— Царство небесное! — проговорили наконец мужики и принялись креститься.

— Примите святыню! — раздался вдруг голос из окна и затем в дыму показалась фигура Степана. Одной рукой парень закрывал глаза, а другой придерживал две иконы. Мужики восторженились.

— Вот так Степка! — шептал кто-то в толпе, ошеломленный ужасами пожара.

Обгоревшие избы обрушивались. Пожар кончился: огонь дошел до широкого переулка и остановился на крайней избе.

Тут неожиданно раздался скрип телеги, и перед глазами всей деревни явилась пожарная волостная труба, которую везли на одной высокой и до невероятности чахлой лошади. Как только въехала пожарная команда в деревню, десятский, стоявший у трубы, во весь голос грянул:

— Воды! Живо у меня!

— Опоздал Никифорыч, опоздал!—заговорили мужики.

— Ничего! Мы свое всегда успеем сделать, — с необыкновенной торопливостью кричал Никифорыч, расправляя закорюзлую пожарную кишку своими еще более закорюзлыми руками. — Воды! Воды подавай... Идолы!

## II

### ПОСЛЕ ПОЖАРА

Горько плакалась на судьбу свою Матрена; лежала она на потоптанной траве и громко жаловалась:

— Ох-ох, житье наше бесталанное!.. Куда мы головушку свою денем?.. Ничего, ничего-то у нас нету-ти! Ох, горькие мы, горькие!..

От крестьянских изб остались одни головешки, которые продолжали еще дымиться, да кое-где стояли наполовину уцелевшие печи, казавшиеся такими печальными да тоскливыми... Место, где прошел огонь, превратилось в черный пустырь. Везде лежала раскиданная движимость, состоящая из разного тряпья, решет, кадок, икон с нераспознаваемыми на них ликами святых и пр. Бабы разбирались в этом добре и выли. Мужики столпились около пожарной трубы.

— Ни спала, ни видела, как снег на голову, беда пришла,—убивалась Матрена.—Ох, што нам теперича делать!

Она хотела встать; но опять повалилась, села, прижала к коленям голову и все-то жаловалась и не знала, как помочь лютой своей беде.

Иван Потапыч подошел к жене. Его рябое лицо, и без того худое, вовсе теперь осунулось и выгнулось, жиденькая бороденка висела сосульками, а на щеках не пропали еще пятна от недавних слез. Он зашел спереди Матрены и остановился; в руках у него была мутовка. Долго стоял рябой перед женою, оплакивавшей свою злую судьбу; наконец, собрался он с силами и заговорил:

— Матрена... Матрешь, полно!... Ну, што реветь-то, дура?... Будет!

Слова мужа еще подлили горечи.

— Ох, господи! — надсажалась Матрена.—Белянушка, голубушка! Придешь ты уже из стада, где тебе, кормилице, ночь ночевать будет?

— Ну, да што... пра, говорю, перестань!—успокаивал Иван Потапыч.

Матрена вскинула голову, поглядела на мужа и с таким порывом отчаяния снова опустила ее, что даже слышно было, как голова стукнулась о колени.

— Ничего... поправимся,—утешал муж. — Еще, слава богу, осталось кое-што... Глянь-ка ты, што я те покажу!

Матрена подняла голову.

— Мутовочка! — сказал Иван Потапыч, показывая жене мутовку, и сказал таким голосом, что словно у него в руках нивесть какое сокровище.

— Ах, да уйди ты с глаз моих! — вскинулась на него баба.—Господи! за што ты это только меня наказываешь?

Десятский Никифорыч, стоя у пожарной трубы, говорил мужикам:

— Ежели бы теперича не я да не энта машина, — прощай Голопузово! — ни единого, то есть, кола бы не осталось! Сичас издохнуть!

— Ну, это ты, брат, врешь, — сказал лысый мужик.— Ты коли приехал? — добавил он, обращаясь к Никифору.

— Это все едино; коли не приехал, да приехал! А вам не грех бы меня водочкой поподчевать.

— За што?

— Как за што? А кто деревню-то спас?

— Не ты ли уж это спасальщик-от?

— А то кто же? Известно я! Вы теперь, миряне, как думаете насчет этovo дела, — повел речь Никифорыч ко всем мужикам: — нешто пожар бы притих, ежели бы я с огнегасительной не приехал? а?

— Да ведь погорело уж все, как ты наехал, — ответил один из пожарных, по прозванью Зайчик.

— Как есть все! — подхватили мужики.

— То-то вот и дело, што вы ничего не понимаете, — просвещал Никифорыч мужиков. — Разве вы никогда от умных людей не слыхали, што какой бы где страшный

пожар ни был, а как только эту огнетасительную двинуть с места, — хоть бы она за десять верст была от пожара, — тою же минуту пожар кончится: огонь ее по ветру слышит.

— Не слышали, диковина! — говорили мужики.

— А ты, Никифорыч, по ветру али другим манером слышишь водку? — ввернул слово Степан.

Мало тебе, Степка, рожу-то опалило! — накинулся десятский на Степана. — Погоди, сгоришь еще коли-нибудь, подлец!

— А ты на што? Чай, дашь мне помощь по ветру.

— От чего это у нас деревню спалило? — слышались голоса.

— Да, глядеть, подложили со стороны?

— Беспременно. Кроме — не от чего!

Терентий Захарыч разговаривал с дядей Егором.

— Плохо дело, Егор Кузьмич, — говорил он погоревшему мужику: — остались без ничего... Ты ребяток своих веди ко мне в избу, да и скотинку-то вели на мой двор загнать. А там, после покоса, и сам просим милости — место будет!

— Спасибо, Терентий Захарыч, — промолвил дядя Егор. — Сами-то мы пока как-нибудь перебеьемся, а детишек-то уж не оставь... Эх, наказание божье.. Обгорели до нитки...

— Не робятенки ли уж как, играючи, подожгли? — пукалась в догадки одна баба.

— Нету, тетушка, мы огнем не играем, — вступилась за всех случившаяся тут девчонка Пашка: — мы все в прятки да в ловички играем!

— Это, я полагаю, пастухи, — сказал рыжий мужик, — от них, шельмов, скоро житья нам не будет. Глядеть, они-то и подожгли.

— Ну, им поджоги на што делать, — заметил Терентий Захарыч.

— Нет, уж это верно, — настаивал рыжий.

Действительно, трудно было узнать о причине пожара. Загорелась изба, в которой не было ни души, и понятно, что голопузовцы после разных догадок и соображений пришли к тому, что был поджог, и ни от кого, как от пастухов.

— Так неужели же, братцы, за все мои старания от

вас и напраждения мне никакого не будет?—не переставал усовещивать погорельцев Никифорыч.

— Прохор Никифорыч, — заговорил нетерпеливо мужик, приехавший с пожарной трубой из Андреевского: — поедем! Ты знаешь, какая ноне пора-то; всякий час дорог. Поедем!

— А для меня разе не дороги часы-то, а? — начал строго Никифорыч, обращаясь к мужику.—Да ты как же, однако, смеешь так говорить со мной?—продолжал десятский. — Ты нешто не знаешь, што начальство всегда почитать должно? За грубости эвти повинен ты теперя мне полштоф купить!

— Ладно, полштофы-то нам и самим тоже не противны, — отвечал мужик.

— О тебе и слов нет. Ты должен мне выставить!

— Выставлю, только, сделай милость, поедем в село поскорее!

Но на счастье Никифорыча половина голопузовцев решили, что сегодня о покосе и думать нечего: что бог даст завтра, а сегодня надо итти проведать хорбшего человека, Ивана Николаева.

— Может, што там и про поджог узнаем, — говорили некоторые.

— А главное дело, — с горя выпить надо,—напрямик объявили другие.

— Беспременно надо! — весело ободрял благое намерение мужиков десятский.—Как же после такой страшной планиды да не выпить? Садись, кто слабже ногами, ко мне на машину! Подвезу.

На предложение Никифорыча мужики полезли на телегу.

— Нехристи! — озлился на голопузовцев мужик, исправлявший обязанности возницы: — Нешто экой груз под силу животу-то? Слезьте!

— Ничего, всех свезем! — кричал Никифорыч.

Эко, Никифорыч, как ты падок на чужое-то винище, — обличал десятского Степан: — рад лошаденку замучить, благо не своя. И не совестно тебе опивать погорельных?

— Ну, уж ты, Степка, погоди, я тебе припомню! Помняни ты мое слово: пропадешь, сторишь подлец! — прозил Никифорыч.

Был полдень. Весело сияло на небе солнце, разливая по всей земле ослепительный свет и оставаясь безучастным к людскому горю. Белые облака, насквозь пронизанные солнечными лучами, стояли на прозрачном голубом небе; незамеченные они пришли откуда-то и остановились, стали неподвижно на месте, как будто застыли; а вдали, на самом краю горизонта, поднималась целая группа больших облаков, но уже не белых, а темных и хмурых.

Целая ватага, предводительствуемая Никифорычем, ввалила в кабак.

С выражением сердечного соболезнования встретил голопузовцев целовальник Иван Николаевич.

— Ах, какое несчастье! Ах!.. — зачастил целовальник. — Садитесь садитесь, мужички! Что же это за попушение божеское на вас! Вдруг, нечаянно... Ах, создатель! И в какое время-то, в самый покос!.. Вам винца, что ли? Извольте, извольте!.. Экое несчастье!.. Ах, господа голопузовцы...

— Сколько же вы, миряне, полагаете взять? — прервал сердечные излияния целовальника Никифорыч.

— Да сколько, — промолвил лысый мужик: — надо четвертку. Отпустишь, Иван Миколаич?

— С моим удовольствием! Извольте... Деньжонки сейчас отдадите или после?

— Вестимо, после. Какие тебе теперича деньги!

— Миряне, возьмем-те полведерка, — посоветовал десятский: — ей богу, вам теперя, при этакой-то горести большой, и полведра не хватит!

— Ну, сперва четвертку-то разошьем.

В кабаке сидел какой-то посетитель. На вид ему было лет под пятьдесят, с загорелым лицом, с длинными русыми волосами, на которых лежал слой пыли, и такую же бороду; одет был незнакомец в длинный нанковый кафтан, значительно пострадавший от долговременного ношения, и подпоясан кожаным ремнем. На столе перед ним стояла косушка, подле которой лежала суконная шапочка и кожаная с ремнем котомка.

Рыжий, взглянувши на незнакомого посетителя, отозвал в сторону целовальника и тихо спросил:

— Што это у тебя, Миколаич, за человек тут сидит?

— А бог его знает! Должно быть, прохожий какой...  
А что?

— Так... Глядеть, это поджигатель-от самый и есть,— решил вдруг рыжий.

— Какой поджигатель! Да он и идет-то не со стороны вашей деревни, а от Андреевского.

— Ну, значит не то... Однако, надо его повыспрошать.

Голопузовцы уже присуседились к четвертной посудине. Никифорыч успел стаканчик выпить.

— Гаврилыч, поди! — кликнули рыжего мужики.

Странник вылил из склянки остаток водки в стакан, осенил себя крестным знаменем, неторопливо выпил и тяжело вздохнул.

Затем с грустью возвел он свои очи на четвертную посудину и испустил новый вздох.

— О чем странней человек, вздыхаешь? — обрадовался случаю рыжий мужик, чтобы начать выпрашивание незнакомца.

— Ох! — вздохнул снова странник: — Скорблю я и сетую, человек честной, о напастях и невзгодах людских, — сказал странный человек и поник головой.

Мужики оборотились все к страннику и уставились на него глядеть, а Никифорыч, пользуясь столь благоприятным случаем, незаметным образом изловчился не в очередь налить себе стакан и выпил.

— Божий человек, значит, — сказал он вслух и тут же сейчас убрал целый огурец.

— С чего же ты печалишься? — спросил рыжий у странника.

— Как с чего, человече? — востосковался божий человек, вознося свое скорбью исполненное лицо то на мужиков, то на посудину: — страна наша час от часу нищает, грады и веси огнем попадаемы, нивы и злаки добрые градом побивает... Ох, могу ли я не скорбеть и не сетовать! — заключил странник и испустил вздох на весь кабак.

Мужикам становилось жалостно, но никто ничего не понимал.

— Божий человек, — проговорил Никифорыч, нагнувшись к собеседникам. — Наливай, Иван Потапыч, наливай! — присовокупил он тоже не без грусти, видя, что из сосуда все убывает.

— Откуда же ты, добрый человек, путь держишь? — продолжал спрашивать Гаврилыч, но далеко уже не так подозрительно, как сначала.

— Был я, человече, во славном граде Костроме, покло-

нился там чудотворной иконе федоровской божьей матери, а теперь направляю грешные стопы свои во святой град Иерусалим. Слышал ты, раб христов, про сей великий град?

— Как не слышать, слышал. А ты впервой туда идешь?

— Нет, царь небесный уж дважды сподобил меня посетить град христов, а теперь гряду в третий. О-ох!

— Сысой Гаврилыч — заговорил таинственно Никифорыч, вытягиваясь через стол и нагибаясь к рыжему мужику: — как же эвто мы сидим, бражничаем, а божий человек — он, може, в святые скоро угодит! — сидит тут в одиночестве и глядит на нас с печалью? Надо ему поднести!

— И то дело, — согласился Гаврилыч. — Страннѣй человек! не хочешь ли ты с нами выпить?

Странний человек с кротостью взглянул на предлагавшего и смиренно отвечал:

— Бог спасет, раб христов, на твоём предложении брашна. Выпил я здесь две малые чарочки, и довольно...

— Ах, што ты, божий человек, говоришь! — возопил Никифорыч, приходя в отчаяние за новую четверть. — Да ты знашь ль може, через тебя господь нам милость великую пошлет? Как же ты отказываешься? Подойди и выпей.

Странник приподнялся.

— Велику ты, человеце, честь мне воздаешь! — с должным смирением произнес он, приближаясь к брашну: — Недостоин я, прешный, таковых похвал ниже от человек, ниже от скотей и всякой твари земной... Да будет по глаголу твоему, — прибавил странник, принимая стакан и обращая глаза на образ, светившийся в переднем углу.

Никифорыч торжественно обвел глазами мужиков и проговорил:

— Божий человек!

— Присядь к нам, страннѣй человек, — сказал Гаврилыч, давая место рядом с собою.

Странник молча поклонился и присел.

— Миряне честные, — заговорил несколько нерешительно Никифорыч: — с нами теперя сидит человек, кой всю святую землю своими ногами исходил. Потребуете другу четверть?

— Што ж, можно и другую.



Иван Миколаич! еще четвертку! — велел Сысой Гаврилыч.

Иван Николаич, несмотря на то что мужики у него ли в кредит, не отказал в требовании гостей: он хорошо знал, что его никогда и ни за кем не пропадет.

— Закусочки тоже, Иван Миколаич, подай, — распорядился Никифорыч: — огурчиков, капустки, ну и рыжиков или груздочков, ежели у тебя есть!..

Сельский мужик, также не забытый погорелыми, вспомнил, однако, что пора отправляться в Андреевское.

— Прох Никифорыч, поедем! — сказал он десятскому.

— Што ты, што ты, нечестивец, говоришь! — почти с испугом закричал на мужика десятский. — К нам в канпанию такой человек вошел, а ты вздумал домой звать? Поезжай, коли хочешь один, а я—гори там все Андреевское! — ни за што теперя с места не двинусь.

— Ну, так я один поеду. Прощайте, добрые люди! Спасибо вам!..

— Ты только смотри у меня! осторожнее будь,—наказывал десятский вознице. — боже тебя сохрани, ежели ты да как попортишь эту огнегасительную! Навеки пропала твоя голова!

Вторая четверть пошла по рукам. Голопузовцы забыли про недавнюю беду, водка на время выгнала тяжелое воспоминание из голов, все были в самом благодушном состоянии и внимательно слушали печальника за землю русскую. Один Иван Потапыч, успевший скоро захмелеть, подпер обеими руками свою горемычную голову и бессмысленно глядел в стол. В открытое окно кабака несло, точно из раскаленной печи.

— ...И плыли мы по морю-окиану, рабы христовы, — рассказывал странник, пропустив уже стакана три. — На корабле все были странники и богомольцы. Плыли мы два месяца денно и ночью и не видели перед собою ни единого клочка земли, — кругом одна вода, везде океан-море. Плыли еще долго и увидели, что наш корабль в пучину морскую несет. Восплакали тогда все странники и богомольцы: «Господи, не дай ты нам, грешным, без покаяния погибнуть!» — возопили на карабле все гласом великим. Ох, рабы христовы, страшно, вельми страшно!

— Выпей, божий человек, выпей! — торопился рассеять страх паломника Никифорыч, наливая ему стакан, при чем не забыл и себя.

Странник перекрестился и выпил.

— И бысть тьма на окиане-море, — продолжал странник, — такая тьма, что ни единого лица человеческого невозможно было рассмотреть на корабле... Поднялась ужасная буря, загредел по всему небу гром и забушевало океан-море. Все мы тут, грешники, пали ниц и с часу на час ждали себе лютой смерти... Вдруг ударила молния, разверзлись небеса и послышался нам глас самого саваофа: «Восстаньте, окаянные!» Но ни один человек не дерзнул главы свои поднять: все лежали ниц, яко мертвые. Тут, — не считите, рабы христовы, за похвальбу или кичливость, — глас саваофа сугубо возгредел: «Хотел, — говорит, — погубить вас, злоязычное племя Каина, но ради единого праведника моего, Илариона, помилую всех!..» И ту же минутую, рабы христовы, все утихло, просиял свет и корабль наш пристал к святому граду Иерусалиму...

— Кто же такой это был у вас Ларивон? — спросил рыжий мужик.

Странник потупился.

— Меня, грешника, сим именем нарицают, — с невыразимым смирением и кротостью ответил странник. — Только я, по греховности своей, не смею сей глас божий на свой счет принять, — добавил смиренный Иларион.

Все выпучили глаза на праведника. А целовальник, прислушивавшийся к разговору, махнул рукою за перегородку жене.

— Божий человек, праведник! — закричал вне себя Никифорыч: — пей, пей ты больше! Никто из нас, слушаючи такие слова, не достоин теперя пить с тобою...

И Никифорыч, превратившись весь в самоотвержение, под влиянием благоговейного чувства к праведнику, стремительно налил стакан и, позабывшись, моментально выпил сам.

Целовальник, когда к нему вышла из-за перегородки жена, вполголоса сказал:

— Послушай-ка, жена! Давишний прохожий какие истории рассказывает... Я полагаю, что ради этих историй голопузовцы скоро затребуют еще четверть: уж очень они занялись прекрасно. Присядь немного да послушай: уж очень любопытно!

— Что ему не рассказывать, — проговорила целовальничиха, вскинув глазами на водку и закуску, стоящую перед мужиками: — ведь около этого вина куда хорошо!..

Вишь, как раскраснелся, ровно зарево! — прибавила она, посмотрев на странника.

А странник, между тем, рассказывал все про святые места, какие он посетил, да различные чудеса, очевидцем которых господь сподобил его быть в сей преховной жизни. И по мере того как передавались чудеса, странник глубоко вздыхал и прикладывал десницу к склянице, в чем он превзошел всех голопузовцев, которые до того заслушались сладких рассказов, что даже про водку позабыли. Один Никифорыч, видя, как подвизается великий праведник, подвизался и сам: он то-и-дело наливал стакан и беспрестанно твердил:

— Божий человек, божий человек!

— Ну, а как много мощей в Ерусалиме? — осведомился рыжий Сысой.

— Много, много и честных мощей во святом граде, — отвечал странник. — Одни угодники опочивают на вскрытии, другие — под спудом. Великое благоухание от них исходит.

— Слышишь? — шептались за стойкою.

— Слышу!

— Какие же там угодники опочивают, странней человек?

— Разные... разные святители и сподвижники, кои вели свою честную жизнь по заповедям господним. Пребывают в нетлении мощи архангела Гавриила... Жаль, рабы христовы, одно только правое крылышко осталось на вскрытии, а все прочее, от мерзостей человеческих, паки в землю изыде и теперь под спудом!... Удостоился я грешный видеть и часть лестницы господней, по которой сходил бог во сне к праведному Иакову в пустыне. И ныне на приступочках видны стпы ног божиих. Также почивает в нетлении и египетская тьма... О-ох!..

— Больно бы гоже к ним приложиться, — проникся усердием лысый мужик. — Чай, от них, батюшков, исцеление есть?

— Великое исцеление! При мне одна прокаженная, вся изъязвленная покрытая власами, яко зверь в лесу дикий, прикладывалась к столбу Даниила пророка. В мгновении ока исцелилась!

Зайчик, услышавший про лес и любивший сам втихомолку съездить за деревцом в соседнюю рощу, по причине

малою запаса дров, вздумал навести справки о состоянии лесов в святой земле.

— А каковы в той сторонке леса, странничек? — спросил Зайчик.

— Леса?.. большие леса!

— Ну, а как, примерно, береза али сосна больше? — допытывался Зайчик.

— Нет, таких деревьев там мало. Больше произрастают кедры ливанские и дубы, — отвечает странник, приближая к себе сосуд.

— А крупное дерево?

— Да такое крупное, человеке, что ты себе и в помышлении не можешь представить! В толщину каждое дерево будет аршин двадцать, а в вышину даже измерять невозможно.

— Го-го-го! Вот куда съездить-то! Знатную бы тогда можно избу себе выстроить.

— Деревя важные! — позавидовали и другие мужики.

— Што ж, поди, в тамошних лесах сторожа везде поставлены? — добивался до последнего Зайчик.

— Никакой стражи нет, человеке, — отвечал странник: — леса там вольные: кто имеет потребу в древе, тот приезжает и рубит.

— Съезжу, непременно съезжу! — одушевлялся Зайчик.

— Одно только поведаю вам, рабы христовы, что и леса в святой земле чудеса разные совершают, — продолжал странник, обтирая бороду и обводя глазами приятную компанию. — Раз вошли мы в такой-то лес, вошли, — и конца нет тому лесу! Поднимешь глаза кверху, — и неба не видно; посмотришь вокруг, — мрак и тьма, яко ночь во дни. И узнали мы, что нет-то ни единого средства выйти нам из того леса. Горько восплакали тогда все и стали молиться... Прошел час, — и другой... Поднял я главу свою на древо и вижу: сидит на верху древа птица большая и вельми красна. Узрела и меня сия птица, узрела и заговорила: «Ты ли это, праведник Иларион?» Содрогнулся весь я от сего гласа и отвечал со смирением: «Аз грешный!» А птица паки возглаголет: «Гряди, праведник!» Смотрим, — а леса и нет, исчез, стоим мы перед Иосафатовой долиной и на близком расстоянии от нас протекает священная река Иордан...

— Ах, божий человек! — воскликнул Никифорыч.

— Какая же это птица была, что по-человечьему умеет говорить? — полюбопытствовал рыжий мужик.

— А птица эта называется Ибрагим-птица... Много в лесах святой земли сей птицы обитает...

— Удавлюсь! — закричал вдруг Иван Потапыч и вскочил с места, страшно поводя кругом широкими зрачками.

Никифорыч, испугавшись и не помня себя, схватил Ивана Потапыча за волосы.

— Што ты, што ты, шальной, выдумал? — закричал десятский, когда опаматовался, не переставая трясти из всей мочи рябого мужичонку и пригибая его к скамейке. — Здесь праведник божий про Ибрагима чудотворца рассказывает, а ты вздумал давиться. Выпей поскорее, выпей! исцеление получишь!

Иван Потапыч последовал совету Никифорыча, взял стакан, поднес к губам, но, не отпив и половины, судорожно отбросил от себя.

— Што же ты льешь, свинья? — крикнул на него десятский. — Коли не хошь сам, другие выпьют... Ато, натка, льет, рябая рожа!

— Господи, што за жисть моя! — выговорил рябой и закрыл лицо руками.

Странник, с большим прискорбием взирая на горемычного мужика, вздыхал и пил.

— Поддержи себя, человеце, поддержи! — ободрял странник Ивана Потапыча. — В уныние христианину не подобает вдаваться, ибо уныние есть грех смертный. Воспряни духом и здрав будеши телесы своими! — прибавил странник и налил стакан.

— Да ты что же, божий человек, за всех пьешь? — не вытерпев, наконец, заметил Никифорыч.

Странник посмотрел на своего обличителя, испустил тяжелый вздох и прорек:

— О, человеце! почто ты порицаеши мя? Или не видишь, злонравный, что я скорблю и сетую за убогого брата моего?

— Скорбеть ты волен, сколько хошь, а вино один не пей!

Мужики вступились за странного человека.

— Што у тебя за ненасытная утроба, Никифорыч? Пьешь, пьешь, а все те мало, все не доволен!

— Божий человек, да ты што же, однако, делаешь? —

не глядя на мужиков, выходил из себя Никифорыч, видя, что странник снова берется за посудину. — Не стерплю, — с места не сойти! — не стерплю такой обиды!.. Всю бороду я тебе, божий человек, измочалю!..

— Ну, шалишь, за странного-то человека и мы те бока пощупаем, — заговорили мужики.

По всей вероятности, борода странника пострадала бы от руки Никифорыча, пострадал бы и сам Никифорыч от рук погорельцев, начинавших чувствовать хмель в голове, если бы в это самое время не вбежал в кабак мужик и не крикнул:

— Што вы тут сидите! За овинами поджигателя видели!

Эта весть приостановила в самом начале имеющее произойти побоище. Голопузовцы быстро поднялись, а Иван Потапыч открыл лицо и проговорил:

— Поджигатель?.. Убью!..

— Сичас ребятенки на деревню прибежали и сказывали, — продолжал мужик. — Они играли на задворках и заметили, што по овинам шныряет какой-то человек.

— Так бежим проворней, — закричал рыжий Сысой: — ато улизнет как раз!

Странник, находя настоящую минуту как нельзя более удобной для спасения своего грешного тела, прошмыгнув к столу, за которым беседовал до прихода голопузовцев, схватил котомку с шапочкой и, не говоря слова, пятком, пятком и прямо в двери, — только его и видели!

— Не много же у вас осталось, — промолвил мужик, принесший весть о поджигателе, тряся посуду и выливая последки в стакан.

— Божий человек! да где же ты? — хватился странника Никифорыч. — А, убежал!.. Догоню, — утроба моя тресни, ежели не догоню!.. Ах, подлец! — и Никифорыч, слегка пошатываясь, отправился догонять божьего человека.

Голопузовцы тоже удалились из кабака вслед за Никифорычем.

— Хорошо, что пришел этот мужик, — сказала по уходе гостей целовальничиха, — ато исполосовали бы они друг дружку!.. Досталось бы и прохожему!.. Трезвы, — сидят смирно, а выпьют, — и пойдут себя уродовать да кровянить. Не надивлюсь я, гляючи на этих мужиков!

— Хошь ты дивись, не дивись, а выпили бы они еще

четвертку, если бы не прибежал этот мужик, — сказал Иван Николаевич. — Поставь-ка, жена, самоварчик, — прибавил он и полез поправлять светильню в лампадке, висевшей перед образом.

Тихо стояла высокая рожь в поле; налившийся колос словно заснул и не шелохнется. В знойном воздухе ничто не дунет, ничто не пахнет. Солнце так и палит, так и обливает. Порой наплывает на него облачко и скроет на время, но потом оно снова выглянет, опять все выйдет и сильнее, ярче обольет землю своими золотыми лучами. Вдали задымилась черная туча. На селе благовестят к вечерне.

На задах деревни Голопузова, у овинов, толпится народ. Человек пятнадцать больших и малых с кольями и лопатами ходят из одного овина в другой и выслеживают поджигателя.

— Да куда он, проклятый девался? — говорили мужики, чувствовавшие угощение Ивана Николаевича. — Ищем, ищем и найти его не можем!

— Смирней, православные, смирней, — предостерегал толпу дядя Егор. — Вы легонько! Эк станете кричать, он, пожалуй, и зароется где, тогда совсем уж не сыщете.

— Уж только бы нам найти его!

Не находят однако и следов.

— Где вы видели-то его, сопливые? — спрашивает лысый мужик у ребятешек.

— Здесь-тка, — отвечает один: — вон тут-тка все шмыгал! — показывает мальчуган на овины.

— Весь он черный, да шаршавый! — пояснил другой.

Только успел проговорить мальчуган, как из овина выбежал какой-то мужичонка без шапки, весь лохматый, в худом зипунишке и в дырявых лаптях; он увидел перед собой грозную силу и кинулся во всю прыть бежать.

— Вот он! вот он! — закричали ребятенки.

— Лови, лови! — заревели все и бросились за беглецом.

— Ты што за человек, а? — строго начал допрашивать рыжий Сысой, ухватив мужичонку за шиворот.

— Пустите меня к нему! — кричал Иван Потопыч, прорываясь сквозь толпу и засучивая рукава.

— Подожди! — остановил рябого дядя Егор; — сперва надо узнать, што он за человек!

— Што ж ты молчишь! Говори: кто ты такой? — спрашивал Сысой.

Мужичонка весь трясся и не отвечал ни слова.

— Не говорит. Ну-ка, обыщем его, Гаврилыч! — сказал дядя Егор.

Мужичонка тотчас был обыскан. За пазухой у него нашли коробку спичек и несколько лоскутов бумаги.

— Поджигатель! — заревел Сысой. — Это што у тебя, подлец, а? — И затем, не дожидаясь ответа, рыжий хватил поджигателя по затылку.

Иван Потапыч вынырнул из толпы и прямо на мужичонку; впелся рябой в лохматую голову и посинел от злости.

— Ты... изверг! — шипел он в бешенстве, вырывая целые клоchy волос из головы мужичонки. — Ты избушку мою спалил!.. Бобыль я теперича стал...

Другой мужик хватил поджигателя лопатой.

— Провославные, погодите! — стал унимать начинавшую уже свирепеть толпу дядя Егор. — Отведем его в деревню, там и расправа ему будет.

— Нет!.. я загрызу его, — прошептал рябой с налившимися кровью глазами и пеною у рта.

С большим трудом оттащили рябого.

Повели в деревню.

Ребятишки первые туда прибежали. Сильно запыхавшиеся, они кричали:

— Мужика... ведут! Чужого... мужика ведут!

— Ай, это поджигателя-то видно? — спрашивали бабы.

— Да, его!..

Между тем черная туча незаметно росла, раздвигалась во все стороны и медленно подходила к Голопузову. Солнце попрежнему ярко сияло.

Толпа с кольями и лопатами вступила в деревню.

— Поджигатель! поджигатель!.. — каким-то зловещим гулом переносилось с одного конца улицы на другой.

Густой массой обступили лохматого мужичонку.

— Анафема! што ты сделал? — голосили бабы.

— Отдайте нам его! — кричали другие: — Мы с ним по-своему распорядимся!

Рыжий Сысой допрашивал поджигателя.

— Сказывай перед всем миром: по своей ли ты воле поджег деревню али подослал тебя кто? Ну, говори!

Мужичонка, бледный и дрожащий от страха, все мол-



чал и так глядел на допросчика, что у дяди Егора невольно вырвалось:

— Господи! Да што он как глядит?..

— Врешь, подлец, не разжалобишь! — рычал огненный Сысой.

— На кол его, на кол!

— Дайте нам волю над ним! — упрашивали бабы. — Мы знаем, што с ним, анафемой, сделать... Дайте!

— Да говори же, дьявол!..

— Притворился, злодей! Молчит!..

— Братцы, в воду его!

— Нет, православные, не делайте этого! — испугался дядя Егор.

Но толпа расвирепела.

— В воду! В воду!..

— Топить я его не дам, — выступил Степан, молча до того следивший за ходом дела.

— Не дашь? Велик ты человек: не дашь!..

— Не дам! — повторил Степан и загородил собою мужичонку.

— Послушайтесь его, православные, — уговаривал дядя Егор: — не берите вы на душу такого греха!

Напрасно. Степаново заступничество окончательно привело толпу в неистовство.

— И Степка с ним заодно! Ах вор! Мошенник!..

— Што вы, миряне, он у меня не таковский, — вступился было отец за Степана.

— Знаем мы: не таковский! По роже его, по роже!

— Принялись за Степана. Посыпались удары...

— Так черт с вами, олухи! — проговорил избитый со злостью и вышел из толпы.

Управившись со Степкою, толпа снова принялась за поджигателя.

— Тащи его в пруд, в пруд!

— Дело! В воду, в воду!

Мужичонку поволокли к пруду.

— Ну, бери его за руки да за ноги!

Взяли, связали веревкой по рукам и ногам и, подняв на воздух, опустили на землю.

Поджигатель силился что-то сказать, лицо у него судорожно задергало, губы шевелились и рот искривлялся, но ни одного слова, ни одного звука не произнес несчастный.

— Раскачивай!

Подняли опять мужичонку и стали раскачивать... Но тут вдруг грянул сзади голос Терентия Захарыча.

— Православные!

Все оглянулись: мужики, раскачивавшие поджигателя, опустили руки. Терентий Захарыч был весь бледный и встревоженный.

— Что вы делаете?..

— Поджигателя хотим топить!

— Да если вы его утопите, то все до одного на каторгу пойдете! Подумали ли вы об этом или нет?

Слова Терентия Захарыча несколько образумили толпу.

— И то, в воду его не след! — заговорили голоса.

— Што же делать-то с ним? Ведь он поджигатель!

— А вы наверно знаете, что он поджигатель? — спросил Терентий Захарыч.

— Как же! его поймали в наших овинах... Спички и бумажные листы при нем нашли...

— Ну что же? бумагу со спичками можно найти и не у поджигателя!.. Что, он вам сказывал, что поджог деревню?

— Нет, он, иродова душа, немому на себя напустил, молчит.

Терентий Захарыч подошел ближе к мужичонке, нагнулся и заглянул в лицо.

— Царь небесный! — выговорил Захарыч и отступил назад: — Ведь это нищий из Замятихи, он немой от рождения...

— Ну?!

— Загляните-ка ему в рот!

— Нищему открыли рот. Оказалось, что язык у него прирос к нижней челюсти.

Мужики так и ахнули, а некоторых по коже даже мороз подрал.

— Ужли нищий из Замятихи?! — заговорили в толпе.

— Кто ж его, жидя, спознает: сколько годов не казал нам рожи!

— Вот так отмочили было штуку! Кабы не Захарыч, быть бы ему в пруде, ловить бы рыбку!..

— С этой рыбки глаза бывают прытки, — заключил Терентий Захарыч: — такую бы уху сварили, что и век бы не расхлебали! Развяжите его беднягу, отпустите засветло

в свою деревню, — вишь ведь что на небе-то собирается! — прибавил он и направился домой, вполне уверенный, что нищему больше не предстоит никакой опасности.

Действительно, нищего развязали и хотели было уж отпустить, как рыжий мужик остановил:

— Отпускать не след, — сказал он: — надо его допытать, может и узнаем што! Може, немой пастухами подослан!

— А што ты? пожалуй и так! — согласились те, у которых еще не вышел из головы сивушный чад. — Поведем его к амбарам!

От пруда все отхлынули и повели нищего к амбарам.

Грозная туча все ближе и ближе подходила к деревне. Слышались уже глухие удары грома и по временам на почерневшем небе сверкала молния. Кругом все насушилось и стемнело... Место пожарища глядело угрюмо и мрачно. Бабы на деревне трепетно крестились, а ребятишки торопились скорей убраться с улицы, чтобы забиться куда-нибудь подальше, к кому-нибудь на полати или на печь.

— Какая воля-то господня находит! — говорили по оставшимся избам, глядя на тучу: — труба-то закрыта ли у нас?

И все спешили осмотреть печи, закрыть в трубах заслонки, перекрестить выходы, двери, отдушины и окна.

Немого привели к амбару.

— Как же мы из него выпытаем? — заговорили мужики.

— Надо прежде к столбу поставить, а там и станем пытаться, — сказал Сысой.

Поставили нищего к одному из столбов, поддерживавших навес амбара, и начали выпытывать посредством знаков. Мужикам только хотелось узнать, в сообществе ли он с пастухами. Для достижения этой цели они принялись за выделывание разных штук: махали руками, кивали головой, показывали в сторону Андреевского и ревели коровами. Нищий глядел на мужиков своим безнадежным, страдальческим взглядом, хныкал и время от времени жалобно вздыхал.

— Кабы пастуший рог, али трубу какую: сичас бы узнали! — сказал рыжий Сысой. — Да постойте, я придумал: становитесь вы, робя, на кукурдыши да жохом, а я

приставлю к губам кулак и буду трубить. Эдак може скорей узнаем!

Половина мужиков повалилась на землю и стали на четвереньки. Сысой, как сказал, приставил оба кулака к губам и принялся выводить нечто на подобие настоящей трубы.

Немой неподвижно уставил глаза на новое зрелище...

Вдруг огненной змеей сверкнула молния и раздался страшный удар грома.

Мужики остановились и принялись креститься.

На улице поднялась пыль, закрутил страшный вихорь, снова ударил гром, снова засверкала во всех сторонах молния и, точно из ведра, хлынул проливной дождь...

Мужики опрометью кинулись от амбара и разбежались все по избам...

Гроза разыгрывалась: молния то упадет на землю и осветит улицу и всю окрестность, то блеснет ослепительной стрелкой в воздухе, мгновенно разорвет на две половины небо и разом обдаст его белым светом огня. И кажется, что все небо тогда горит и трепещет!.. Но мгновение одно, — сгустилось все и кругом стемнело, как ночь. Слышен только глухой ливень дождя да отдаленный гул громовых раскатов... Но вот опять сверкнуло, снова зияет небо и с оглушительным треском раздается удар над самой головой.

— Как освечает, господи! — говорили по избам. — Экая планида божья!

— Свят, свят свят! — молились бабы и спешили осеять себя крестом при всяком новом ударе.

В избах светло без огня.

— Помилуй бог, как бы опять пожара не случилось. Ишь, ведь, мольня так и палит!

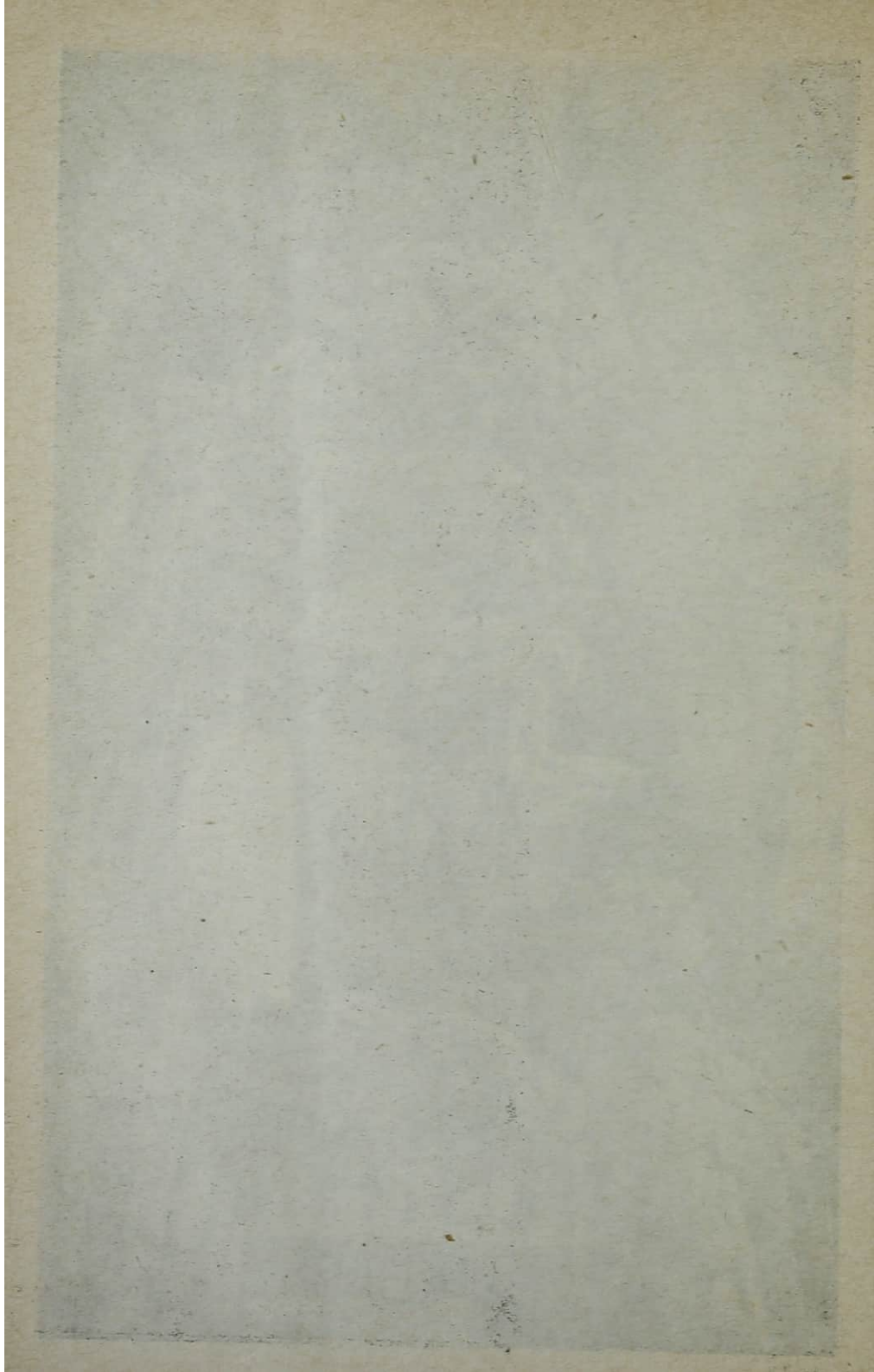
— Долго ли до греха! Избави только, владыко милостивый!

— Батюшки! Уж не света ли представление? Все небышко горит пламенем!

— Свят, свят, свят!..

Через час гроза прошла. Дождь унялся, и небо очистилось; в деревне посветлело. Ребятенки, как увидели, что дождя нет, выбежали на улицу, чтобы пробежаться по дождевым лужам и поглядеть, сколько воды прибыло в пруде. Вышли и мужики посмотреть, что сталося с поджигателем.





Поджигатель, ни жив, ни мертв, прижался к двери амбара и не шевелился. Одежонка измокла на нем до ниточки, с бороды и волос текла вода, зубы стучали один об другой...

Поглядели мужики.

— Ну, теперича и пытать его жалко!

— Убогой он человек, — прибавил Зайчик: — отпустим его, православные! Пашка! — крикнул мужик босоногой девчонке с медным крестом на груди: — бегай домой да тащи сюда краюшку хлеба!

Нищий боязливо озирался.

— Ступай домой, христос с тобой, оглашенный! — сказал рыжий Сысой. — Греха мы с тобой только напринались!..

Нищий не понимал и стоял на одном месте.

— Што глазища-то выпучил? Поди домой... Туда! знаешь?.. Тю-мо-мо? — и мужик замахал рукой по направлению к деревне нищего.

Немой должно быть догадался. Он сделал несколько шагов, приостановился, обернулся и стал глядеть на мужиков, не погонятся ли за ним.

— Поди, поди! Только смотри, вперед не моги бродяжничать! — наказывал Сысой и махал рукой.

Немой совсем понял и хотел пуститься, но к нему подлетела Пашка и протянула большой ломоть хлеба.

Нищий выхватил из рук девочки хлеб, закивал ласково Пашке головою и ударился бежать со всех ног.

— Ишь, как обрадовался, — говорили мужики, провожая глазами нищего: — откуда ноги взялись! Удирает, што твоя лошадь добрая!

С дороги нищий еще раз оглянулся.

— Валяй, валяй с богом! — махнули ему голопузовцы.

Нищий скоро совсем из вида скрылся.

— Што-то с нашим сендом теперича делается, — проговорил один мужик: — поди все взмокло?

— Как есть! Да чай и рожь-то все повалило! Беда наша!

— Э-эх, жисть, жисть! — со вздохом сказал рыжий Сысой и пошел спать в сарай, куда переселилась вся его семья после пожара.

Наступила ночь. Над деревнею, на небе, все чисто и мелькают чуть видимые звездочки. В стороне чернеет уносящаяся туча.

Где-то далеко виднеется зарево, слышны унылые, слабые удары доносящегося набата. Земля как будто стонет и жалуется...

\*

К утру опять собрался дождь и весь день лил: перестанет на время и опять приударит. Небо заволокло густыми массами серых облаков; ветер ревел в улице и завывал в трубах. Ненастье грозило разойтись надолго. Хлеб в полях лежал поваленный, трава мокла и бурела...

Повесили головы мужики, глубоко запала в сердце кручина и сказала она белому дню тяжелым вздохом.

— Пропали наши головы, пойдем все помиру! — печалилась деревня.

— Видно, зиму-то придется есть магазейский хлеб! — говорили одни.

— А, може, как и поправимся... Бог не без милости! — обнадеживали себя другие!

— Знамо дело: не без милости! Што говорить!

— Да што это дождь-от какой льет? Коли он перестанет?

— Бог его ведает.

По сараям, где поместились погоревшие, говорит опять то же горе:

— Везде пролило! Места нигде сухого не найдешь... Хоть беги!

— Матвеюшка, — слышится старческий голос из угла: — нет ли чем одеться? Нешто знобит всего...

Раздается кашель, плачут грудные дети.

— Господи, што за жисть наша разнесчастная! — вопит баба.

На следующий день к старосте, Еремею Пахомычу Стручку, приехал чиновник.

— Здравствуй, здравствуй, Пахомыч! — здоровался чиновник с отвешивающим поклоны старостою, проворно вбегая в просторную избу мироеда. — Что, у вас пожар был?.. Жалко!.. Самоварчик поскорее, самоварчик!.. Брр!.. Озяб...

Еремей Пахомыч помог чиновнику стащить шинель и почтительным образом просил его благородие садиться.

— Хорошо, хорошо, сяду! — говорил чиновник. — Да ты не забудь чего-нибудь, этак сердцекрепительного к



чайку-то подать! Видишь, как всего вымочило!.. Эх, служба! В дождь и слякоть нет тебе покою!.. А много, однако, у вас сгорело, — прибавил чиновник, заглядывая в окно.

— Да, порядком таки, — ответил из-за перегородки староста, распорядясь на счет самовара и сердцекрепительного.

Спустя полчаса, чиновник сидел за самоваром и бутылкой рома. Изба была полна народу. Чиновник, согреваясь пуншем, производил следствие о пожаре.

Мужики сильно робели.

— По своей неосторожности или кто поджог? — спрашивал он у мужиков.

— Не можем знать, ваше благородие! — отвечали передние.

— Как не можем? ведь от чего же nibудь да сгорела деревня?

— Точно так, ваше благородие!

— Ну, какая же причина?

— Неизвестно, ваше благородие!

Чиновник взъелся.

— Черти! Я вас спрашиваю: от чего загорелось?

Мужики не отвечали.

— Да говорите же: от чего?

— Я знаю! — вырезался Иван Потапыч.

Мужики со страхом обернулись в сторону рябого, некоторые стали дергать его за одежку.

— Знаю! — повторил рябой.

Чиновник ласково спросил:

— От чего, любезный, скажи!

— От чего? — переспросил Иван Потапыч. — От огня, — прибавил он и посмотрел на чиновника прямо.

— Ах, боже мой! — крикнул чиновник: — Что за дурачье набитое! Я сам знаю, что от огня, а не от чорта. Да кто огонь-то подложил?

Иван Потапыч замолк.

— Этого мы не знаем, ваше благородие, — ответили другие мужики.

— Боже! — простонал следователь и начал с отчаянья хлебать пунш.

Успокоившись, чиновник опять принялся за следствие:

— Мирно вы живете друг с другом?

— Ничего, слава богу, у нас все живут смирно... Драк нет, смертоубийств тоже.

— Ни на кого из своих подозрений не имеете?

— Никак нет, ваше благородие!

— Стало, поджог со стороны был?

— Надо полагать так, ваше благородие.

Следователь опять прихлебнул из стакана.

— На кого же вы думаете?

Мужики переглянулись.

— Ни на кого не думаем, ваше благородие...

— Ах, боже мой! — огорчился чиновник.

Выступил дядя Егор.

— Прямо мы не можем указать, ваше благородие, начал он: — мало ли со стороны лихих людей, а кто, — как ты спознаешь? Понапрасну мы не хотим на человека клепать...

Чиновник совсем омрачился.

— Ну, однако же, есть на примете лихой человек? — спросил он, подумав.

— Не можем знать.

— Я знаю! — высунулся в другой раз рябой мужичонка.

Следователь злобно посмотрел на знающего.

— Я тебя велю вытолкать, животное! — сказал он.

Староста!

— Здесь, ваше благородие.

— Знаю! — не унимался рябой, выступая всей своей фигурой вперед.

Следователь остановился в распоряжении.

— Постой!.. — сказал он старосте. — Ну, говори, если знаешь!

Иван Потапыч не заставил себя долго ждать.

— Поджог сделал немой...

— Какой немой?

— Мы вечер его поймали... Беспременно он и спалил!

— Где же поджигатель?

Егор не дал продолжать Ивану Потапычу.

— Это вечерось мы нищенского одного нашли, ваше благородие, — отвечал дядя Егор: — по своему незнанью и приняли было его за поджигателя. А он ходит по деревьям, христовым именем побирается...

— Он содержится у вас?

— Попридержали-было, да отпустили...

— К-а-ак?! Отпустили поджигателя?!

— Какой поджигатель, ваше благородие! Он и без то-

го обижен от бога, без языка и без разума, а тут еще поджигать станет!

Но чиновник и слушать не хотел.

— Да как вы только смели это сделать? Скрывать преступление? Отпускать мошенников, разбойников, поджигателей, — кричал следователь, колотя себя в грудь и топая ногами. — Ну, дружки, попались! Теперь я вас всех под суд упеку!

Мужики не знали, что говорить, перепугались и молчали. Иван Потапыч удрал из избы.

— Ваше благородие! — начал Егор, собравшись с духом: — немой живет в Замятихе, его можно оттоле ссячи, коли вашей милости он нужен.

— Стану я время терять! Что раз сделали, того уж не воротить, — сказал чиновник. — Ну, да я зла не хочу вам делать. Соберите мне сейчас по двугривенному с дому, — и бог с вами!

Мужики задумались. Хоть не велика контрибуция, а все жаль: двугривенный на земле не поднимешь.

— Нельзя ли как поменьше, ваше благородье, — заговорили в толпе.

— Неблагодарные свиньи! — выругал следователь. — Вы должны молить бога, что я больше не потребовал! Знаете ли вы, какое дело-то вы сделали. Уголовное!

Мужики чесались.

— Оно так, ваше благородье... Да мы ноне сами погорелые... Не грех и сбавочку сделать...

— А я разве бы взял с вас по двугривенному, если бы не знал, что вы погорели? Не разговаривать больше!.. Вон! Голопузовцы повалили за двугривенными.

Терентий Захарыч во время следствия был на мельнице.

Возвращаясь домой, он увидел на улице мужиков, бегущих к старостиной избе.

— Куда вы, православные?

— А! Терентий Захарыч!.. Скорей бери двугривенный да неси к старосте... Следователь велел! Скорей! — кричали в ответ, не останавливаясь, мужики.

— Пойдите, пойдите!

Один мужик приостановился.

— За что двугривенный? — спросил у него Терентий Захарыч.

— А за пожар-то!

Чиновник, собрав двугривенные, вышел на крыльцо и велел подавать лошадей.

Подъехала тройка.

Чиновник, закурив папироску, сказал Стручку: «Прощай, Еремей Пахомыч!» — и взобрался на телегу.

— Здравствуйте, ваше благородие. — сказал подошедший Терентий Захарыч.

Следователь взглянул на мужика.

— Ты что же мне двугривенный не принес?

— Виноват, ваше благородие, не принес, — ответил Терентий Захарыч.

— Почему?

— Да потому, что не резон вам обирать нашего брата! Эх, ваше благородие! И не грех вам последние нитки с погорелых тянуть? Премудрый Еклезиаст сказал...

— К-а-к? — заревел чиновник, не дав закончить, — Что сказал премудрый Еклезиаст?! — Оскорбление начальства?! в тюрьму!

— Никакой тюрьмы не боюсь, ваше благородие, не страшайте! — спокойно ответил мужик.

— Сейчас акт составлю! Бумаги и перо! — приказывал возмущенный чиновник.

Староста кинулся исполнять приказание.

Терентий Захарыч и того не испугался.

— Пишите, а мы к ответу явимся. За правду не боюсь.

Староста возвратился с бумагой и чернильницею.

— Извольте, ваше благородие!

— Хорошо... Ну, да не надо, Пахомыч! Я этого мерзавца и так доеду. Жди через неделю бумаги от высшего начальства, — прибавил чиновник и велел ямщику ехать.

— Слушаю, ваше благородие! — насмешливо сказал Терентий Захарыч.

Колокольчик зазвенел.

— Ах, это мужичье необразованное! — говорил чиновник, перекидываясь из стороны в сторону в телеге. — Каковы! С ними скоро житья не будет нашему брату... Да нет же, — утешал он себя, — таких немного. Один только этот прубиян! А что один сделает? Ничего! Слава богу, что другие-то баранье... Ямщик, пошел скорее!..

Голопузовцы провожали глазами чиновника. Когда тройка скрылась, многие заговорили:

— Напрасно ты, Захарыч, эдак-то с ним говоришь... Загубит он тебя, да и нам достанется.

— Ничего он не сделает, нонича уж не те времена стали, чтобы человек ни за что пропадал...

— Это еще неизвестно. Пришлет он те эту бумагу-то, и увидишь! Сгниешь в остроге...

— Никакой он бумаги не пришлет... Эх, православные, ничего-то вы не ведаете! Темны вы! — заключил Терентий Захарыч и пошел в огород.

Мужики говорили:

— Удивленье, братцы, што это за мужик у нас Тереха!

— Што и говорить: одно слово, — голова мужик!

— Разговаривает мало, зато што ни слово — все дело!..

Помните, как он тогда с посредственником-то резался?

— Еще бы! Кабы не он, луга бы от нас совсем тогда отошли!..

— Ловко он в те-поры посредственнику сказал: «Вы, говорит, свечка, у вас меч, вы на правду представлены!..»

— Тереха — голова с мозгом, прамотей!

— Он во всех науках искусник. Попы и те не могут его загнать, а на што уж, кажись бы, они сильны в этих науках-то... Д-да, сила мужик!

— Сила...

Мужики призадумались над силой Терехи...

— Даром отдали по двугривенному!

— Известно, даром!

— Кабы не рябой, ничего бы не взял, — сказал рыжий

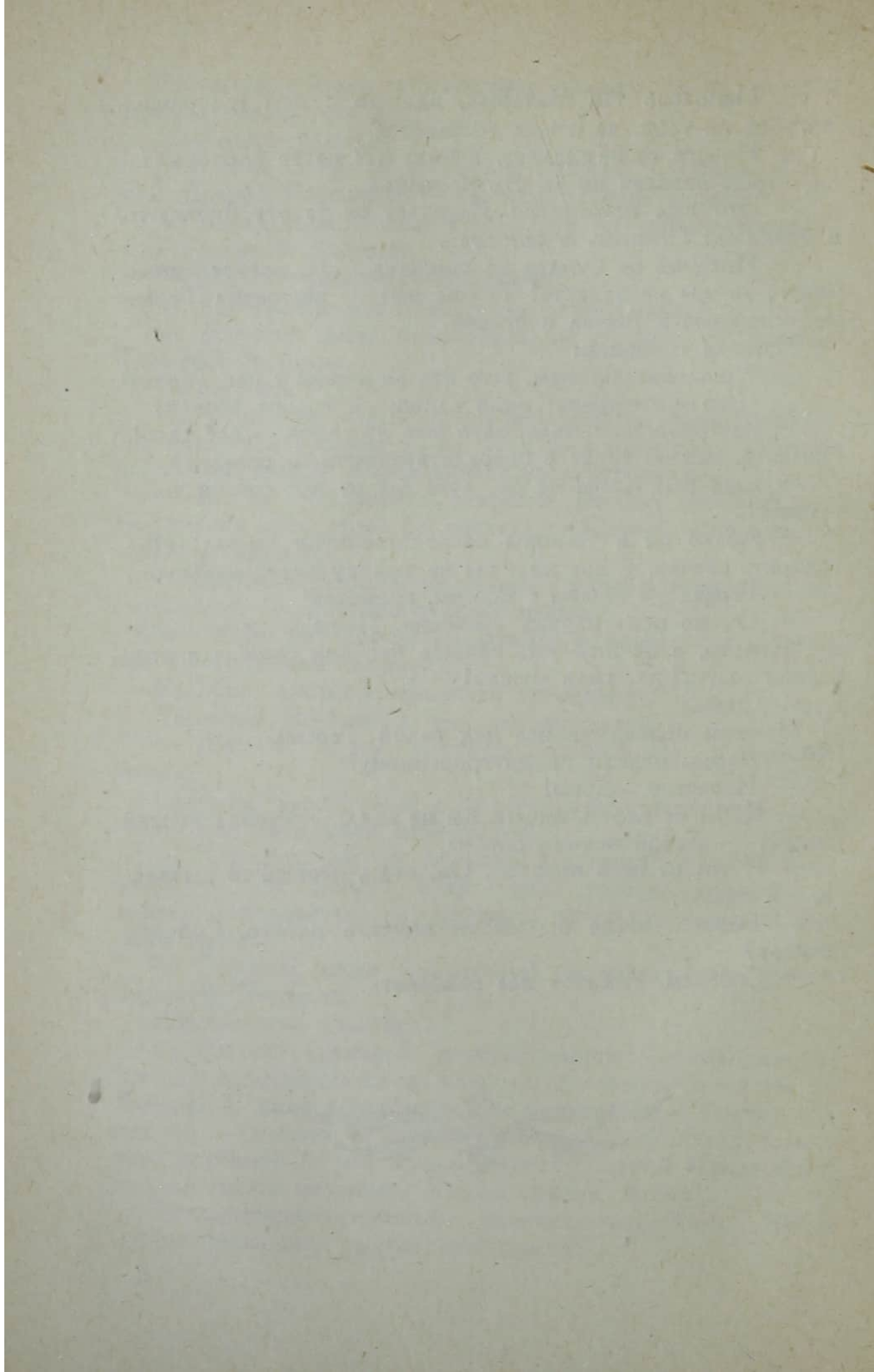
Сысой: — рябой всему причина.

— И то: от него вышло... Он, ведь, первый-то вызвался: «я знаю».

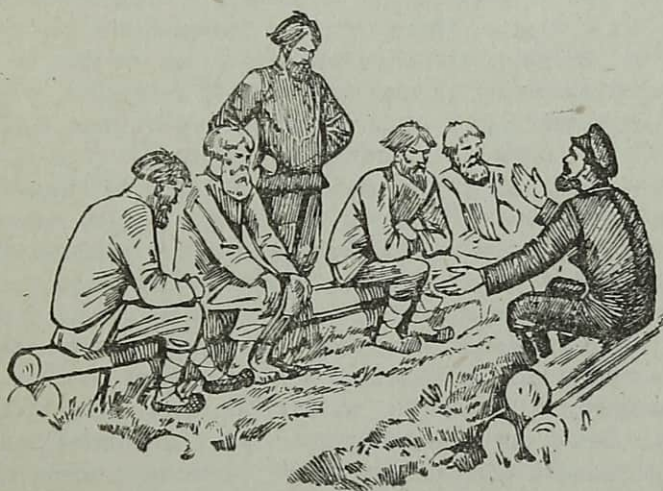
— Верно... Надо бы миром поучить рябого. Соберем десяток?

— Соберем. Десяток все разберет...

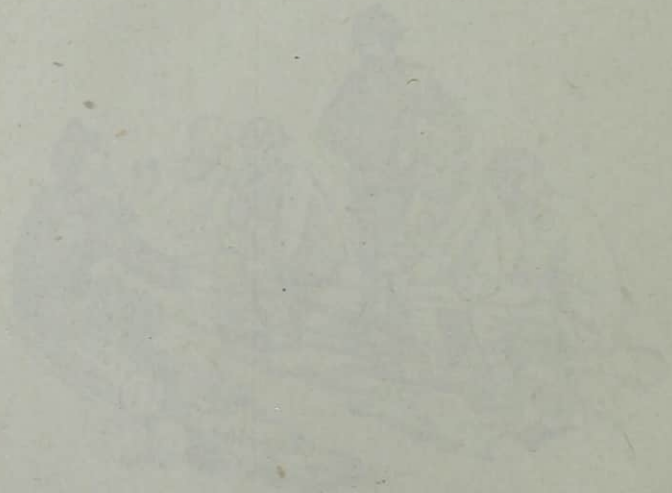




# ИВАН-ВОИН



BRITISH MUSEUM







ДЕРЕВНЯ наша не то что большая, но и не маленькая: дворов сорок, или больше, всего наберется. Прозывается она Никулихою. И нельзя сказать, чтобы деревня совсем глухая была, нет; только от села далеко и никакой по ней большой дороги никуда не проходит. Но случается, что и мимо нас когда пройдут добрые люди, — на богомолье, сказывают, идут, да прошиблись с большой дороги и вышли на нашу деревню. Еще аккуратно два раза в год заходят к нам офени владимирские с товарами: один по весне, а другой по осени. Вот от них-то да от богомольцев мы и знаем, что на белом свете делается. И чего-чего они не порасскажут нам: и про войну нашего царя с неверными, и про знаменья, какие где по небу ходят, и про чудеса угодников, — словом про все известимся! Одного только они никак поведать не могут: скоро ли нам жить будет лучше. Как уж мы об этом не спрашиваем усердно, всякий раз от них одно и то же слышишь: «про эвто, говорят, мы не можем знать. А по приметам глядеть, не к лучшему, а к худшему дело идет!» Ну, в этом немного нового: у самих все перед глазами. Назжают, правда, иногда к нам становой с исправником, да их приезде мало кто обрадуется, и всякий открещивается, как заслышит по дороге колокольчик: уж очень после них чисто везде делается, точно кто по всей деревне с хорошей метлой пройдет. Ну, о батюшке-попе говорить нечего, он у нас свой человек: праздник ли большой, или треба какая, — он и тут, редко когда запоздает. А чтобы пропустить со святой водой когда притти, избави Боже!

Долго что-то нынешней весной ждали у нас владимирца. Думали, что совсем не придет: либо грех с ним какой на пути повстречался, либо стороною где прошел. Только перед николиным днем глядим, а он и идет и тележку позади с двумя коробами везет, да и не один идет, а с то-

варищем каким-то. Так все на деревне обрадовались приходу офеней, что и сказать невозможно!

— Прохор Васильич, Прохор Васильич! — кричат со всех сторон владимирец: — Долгонько нешто ты к нам ноньче не жаловал! Здоров ли, приятель?

— Все слава богу, — говорит владимирец. — Вы здесь как, все ли по добру и по здорову живете, мужички?

— Ничего, бог грехам пока терпит, все живы...

— Ну и слава богу: эвто главное, што все живы, а прочее все пустяки...

— Не больно пустяки, — говорят мужики: — прошлый год хлебушка плох уродился, осенью солдат поставили, Семен, Петра племянник, в бега ушел...

— Пустяки, сущие пустяки! Стоит вам воззвать к всевышнему, с полным и чистым усердием помолиться ему, и все сторицею зараз вам от господи воздастся, — говорит владимирец, а сам проворно короб развязывает. — Ну, говорит, молодухи, белые лебедушки, и вы, красные девицы, товаров я вам всяких новомодных привез. Чай, вы таких-то и от роду своего никогда не видывали!

А молодухи с девками давно обступили короб и говорят:

— Каких же ты товаров привез, Прохор Васильич? Кажи-тка ты их нам скорее!

— Да таких я нынешний год товаров привез, што и в Москве эдаких надо днем с огнем поискать: наредкость где сыщешь, — говорит Прохор Васильич. — Оттого я и запоздал к вам, што две недели лишних в Москве прожил, ждал, когда подвезут эвти самые товары из азиатских стран. Вот у меня товары-то какие!

И точно, как развязал офеня свой короб, выложил перед девками и молодухами всяких сортов ситцы да серьги и кольца с камнями разноцветными, глаза у всех так и разбежались во все стороны и никто не знает, за что взяться, что купить, — все бы, кажется, закупил, если бы деньги были. Старостиха первая сделала почин: выбрала себе на платье.

Цветен ситец, больно мне люб, говорила она: — одного боюсь, Васильич, не полинял бы он как! Ты мне по совети продай!

— А я вот тебе как продам, Маремьяна Тихоновна, — сказал владимирец: — носи ты платье год, носи два, и ежели в два года ты износишь, назад возьму и деньги все

сполна тебе возвращаю. Эв тот ситец, я тебе скажу, настоящий аглицкий, изделия ивановских мануфактур. Только одно тебе посоветую: осторожность наблюдай, до воды много не допускай, ну и солнца он не очень любит.

Бабы товары закупают, а мужики все насчет новостей к офеням пристают:

— Ну-ка, Прохор Васильич, рассказывай, рассказывай скорее! што тут с бабами!..

— Все расскажу, мужички, только дайте немножечко сроку, — говорит офеня: — торговля уж очень замяла... Эй, девка, ты мокрыми руками за платок не берись: видишь, он какой нежный! Осторожней!..

— А у него какие товары? — спрашивают про другого офеню, что с Прохором Васильичем пришел.

— Я с божьим милосердием, — говорит тот. — Кому потребуется из вас божьяго милосердия? У меня всякого много.

Оказалось, что у всех божьяго милосердия своего было вдоволь, а потому и не потребовалось нового.

— Да вы не покупайте, а только посмотрите, — говорит офеня. — Благо, я такой человек, што за показ ни с кого денег не беру; ато нашему брату и за эвто не мало в других местах платят!

— Точно, помногу им платят! — говорит и Прохор Васильич.

Ну, отчего не поглядеть: на святыню всегда приятно взглянуть. Офеня начал из короба выкладывать один за другим всяких угодников и святителей.

— Вот эв тот угодник, — рассказал он, — прозывается Тихоном Задонским, — слышали, чай, мощи его, святого отца, недавно в Задонске открылись? А другой — Иван воин. Поглядите, какое письмо, ровно живой, праведник божий стоит и оружие в деснице держит!.. Дорогово эв тот образ стоит!.. Вот Егорий храбрый на коне, а на горке-то, вон тут, девица — царская дочь, которую он от змея-удава острым копьем спасает... Никола чудотворец, великомученик Христофор...

— Постой, милый человек, — перебил владимирца мужик Лука: — скажи, отчего у этого мученика Христофора голова не похожа на человечесью? Нешто вживе он с эдакой головой ходил?

— Нет, сперва он имел голову, как следует, человечесью и был из себя красоты непомерной, но видя, што женский

пол с лица его прекрасного очей не сводит, и многие жены и девицы купеческого и дворянского звания возымели к нему любовь греховную и стали предлагать сокровища разные, он восскорбел своим честным сердцем и к богу со слезами обратился: «Господи! — говорит — не хочу я губить род Еввин, дай ты мне голову лошадиную!» Бог услышал его праведную молитву и в ночи с ангелом послал ему голову лошадиную. Вскороности он тут и смерть мученическую за Христа принял.

— Экой угодник божий!

— А от чего ему молятся-то, батюшке? — спросила одна баба.

— От всего, а больше от родов...

— Иваныч, купи ты мне этого мученика! — стала просить баба своего мужа.

— На што он тебе? Ведь ты и так рожаешь?

— А може он, батюшка...

— Перестань!

Переказал ходебщик все божье милосердие, а там стал опять укладывать.

— Ничего, — говорит, — што покупщиков на мой товар не выискалось: — я и тем доволен, што вы хоть поглядели. По правде сказать, я весь почитаю товар на место несущи, запродан он у меня, — в селе Хомутове церковь недавно отстроилась, так для иконостаса.

— Эвто точно, — к нему сам преосвященный владыка писал насчет церкви, — сказал Прохор Васильич.

— А далеко отсюда село Хомутово? — любопытствовал кто-то из наших.

— Не близко, — в Астраханской губернии, отселе верст тысячи три с лишком, близ самого Хвалынского моря.

— Близ Хвалынского моря?.. Далеко!

Прохор Васильевич сбыт порядочный сделал: товаров его накупили почти все на деревне. Хотя деньгами он и получил только, что с одной старостихи, — за неделю мужики подати вносили, — но холстов и полотен деревенских много он завязал в свой короб.

— Плохи наши дела по нынешним временам, — говорил Прохор Васильич: — где ни ходишь, везде все денег нет!.. Скоро, я полагаю, придется совсем прекратить коммерцию, — в убытки себе торгуешь!

Такие слова от него не в первый раз уж приходится

Слышать: как у нас ни запомнят его в деревне, он из году в год все одно и то же говорит, а торговлю не бросает, ходит...

## II

Близко вечер. Молодухи и девки ходят по деревне, показывают старшим свои покупки: кто ленту алую, кто ситец цветной, кто другое что. Старики ничего, хвалят, а молодым-то и любо, на душе весело. Еще бы не весело им было, когда через три недели троицын день: каждая в церковь божию в обновке выйдет и будет в чем перед добрыми людьми показаться да перед парнями в хороводах покрасоваться. Бедно у нас в деревне живут, а порядиться — тоже их-как любят!

Офени хотели пуститься в дорогу, да забоялись, что до села засветло не добредут, а ночной порой итти проселком опасно, и решили переночевать на деревне, в Лукиной избе. Мужиков к ним набилась полна изба; даром что в избе духота стояла и все ручьями обливались от пота, а никто за дверь не вышел, — уж очень хотелось послушать, что станут офени про новости рассказывать. И староста наш, хотя он был мужик и гордый, тоже пришел к Луке. На столе, за которым сидели офени и староста с первыми на деревне мужиками, стоял большой жбан с пивом.

— В Россее ноне все пошло по-новому, — рассказывал Прохор Васильич. — Вот теперича везде новые суды заводятся, — чай, скоро и у вас по губернии будут. Денег приказные, как прежде бывало, ни с кого не берут, а все так, без копеечки делают...

— Это ладно! — говорят мужики.

— Как же так? За дело, поди, тоже и они берут? — спросил староста.

— Ни, боже мой, — строго-настрого от самого императора запрещено! Ежели кого только заметят, — прямо, без всякого суда, в Сибирь за такие дела!

— Трудненько же им стало!

— Это по-новому, а допрежде не так шло: бывало, нашего брата, как не дашь приказным, без вины лишали родной сторонки! — сказал Матвей, мужик уж немолодой и знакомый с судами по нашему городу.

— И зовутся они теперича не приказными, — продолжал рассказывать Прохор Васильич, — а также по-

новому: мировыми судьями, адвокатами да секретарями и членами разными. К примеру сказать, я провинился в чем-нибудь; меня зовут на суд. Прежде што? провинился ты али подозрение только какое пало, засадят тебя на два или на пять годов в острог, после вызовут на суд, — и пропал навеки человек! А ноне не так. Хоша и посадят меня в острог, только я завсегда оправдаться могу. Возьму я себе адвоката, защитника значит; приведут меня в суд. Сперва ведут тебя по мраморной лестнице; позади тебя идут вежливо солдаты али жандармы, а там и введут прямо в присутствие, где сидят все начальники и члены эвти с судьями. Комната, где самое присутствие, больше вашей церкви, и везде чистота непомерная, а кругом все — барыни, господа — эвто публика, значит, слушает, по закону ли будут судить тебя. Вот сичас мне главный начальник допросы почнет делать: кто я, какой веры, сознаю ли себя виновным. Я говорю: нет, ваше сиятельство, я невинно страдаю...

— А он за такие слова в рыло не заедет? — спросил Лука.

— Ни, боже мой, строго-настрого запрещено! И не то, штобы драться, — слова бранного никто не скажет. Самый главный начальник только и говорит: «вы», «Прохор Васильич», — я эвто говсрю к примеру, как дело ведется, а сам я под судом не был...

— Понимаем!

— Главный начальник даже вежливее, чем простой солдат. Вот снимут с меня допросы; тут поднимается другой начальник, член большой, и почнет говорить против меня, — обвиняет, значит. Ну, тут сердце и дрогнет: по его словам, я прямо, значит, в каторжную работу должен итти. Стоишь, читаешь молитву. Вдруг встает адвокат, защитник-то мой, и принимается говорить, — эвто уж за меня, значит. Говорит он, говорит, — ни слова ты тут не понимаешь, потому мудрено, а судьи и члены эвти все понимают и публика тоже, значит, понимает, слушает... Тут еще говорят: и тот, што против меня, и адвокат мой. Долго говорят; потом устанут оба, вытрутса декосовыми платками и замолчат. Главный начальник опять споосит меня: што я могу сказать в оправдание свое? Я говорю: ничего, ваше сиятельство. Он за колокольчик, позвонит, и все судьи и начальники с членами уйдут в другую комнату. Погодя выдут, бумагу с собой вынесут и прочитают: ни-

какой вины за Прохором Васильичем нет, и он свободен итти, куда ему угодно...

— Так и отпустят?

— Без всякого слова.

— Чудеса!

Мужикам всем, как нельзя больше, по душе пришелся новый суд.

— Стало, там уж никого теперя и в Сибирь не ссылают? — спросил Матвей.

— Как не ссылают? Ссылают, даже не в пример больше, чем прежде!

Матвей посмотрел на владимирца.

— Да, ведь, адвокаты, ты говоришь, какие-то есть?

— Што за дело, што адвокаты? Адвокаты только тех оправляют, кто не виноват, да кто может заплатить им деньги.

— А они нешто не даром?

— Чуден ты, я погляжу на тебя, Матвей Сидорыч, — с насмешкой сказал Прохор Васильич: — разве станет кто для тебя задаром што делать. Ну, подумай ты над эвтим хорошенько: ты человек сам с головой.

Матвей подумал.

— Верно говоришь, — сказал он и опять к владимирцу с вопросом:

— Ну, я думаю, теперя в той стороне, где суды-то эти новые, скоро и ссылать уж будет некого, всех разбойников и воров поуничтожат и ни одного не останется?

— Эвто не известно, — отвечал Прохор Васильич. — Слышно только, што год от году больше воровства и разбоев везде разводится; скоро нигде проходу и проезду не станет.

— А народ там лучше нашего живет?

— Ах, какой ты смешной, Сидорыч! — засмеялся опять владимирец и так чудно засмеялся, что вся борода у него затряслась. — Што спрашивает — лучше! Да с чего ему лучше-то жить? Поди нужду-то да бедность все ту же везде терпят!

— Ну, а я думал, што там лучше, — промолвил Матвей.

— Вперед не думай. Не токма што лучше, а в десять раз хуже вашего по другим-то местам народ живет! Вы еще што, — у христа за пазушкой живете, — ато такие ли есть люди, живут нето в избенках каких, нето в пеще-

рах, до половины в земле у них хижинны сидят, и вместо окон дыры поделаны; едят хлеб пополам с мякиной, а скотины домашней только и держат, што курицу одну...

— Немного. Ну, а исправники там со станowymi есть?

— Есть.

— Што же они, не рвут?

— Эвто не известно. Вот о письмоводителях, што при мировых судьях, слышал: те редко кого, штоб не ошипавши выпускали от себя...

— Ну, а ежели так, так, поди, их много и в Сибирь посослали?

— Не слышать... Да отстань ты от меня, смерть надоел! Матвей понурился...

Немало еще разговоров у нас было с офенями; много порассказали они нам о разных диковинках на вольном свете. Говорил больше Прохор Васильич, а другой, что с божним-то милосердием пришел, разве так изредка какое слово вставит, ато сидит все молча и попивает из жбана пиво.

Наговорились и стали расходиться.

— Прощай, Прохор Васильич!

— Прощайте, добрые люди! Бог даст, как на тот год я к вам опять приду, так, може, што и хорошенькое для вас принесу, — говорил владимирец. — По зиме мы хотим в Питер понаведаться, так там, ходючи около министерство близко, може, што и про важные дела узнаем. А главное, мужички, молитесь больше всевышнему!

— Похлопочи!.. Обрадуй... мы сами не забудем твоей услуги.

Ушли все, один староста остался.

— Прохор Васильич, — сказал он, — мне надобно с тобой слово перемолвить, — староста подвинулся ближе к офене. — Ты вот ходишь везде, все знаешь и во всем понятие имеешь. Не можешь ли ты сказать, какое есть лекарство от живота?

— У тебя што же с животом-то, Карп Петрович: ростет он што ли?

— Нет, пока этого, ровно бы, незаметно; а так нешто болит...

— Колет али схватывает?

— Нет, колотья и схаток не чувствую. Только по временам как будто бы там што на колесах начнет кататься, ато вдруг урчанье большое поднимется.



— Ну, счастлив ты, Карп Петрович, што сказал мне: эвто у тебя грыжа!..

— Грыжу я знаю: та наруже бывает, а у меня на видимости ровно бы ничего...

— Ничего не значит! Говори: давно ли эвто у тебя так с животом?

— Год, ато и больше.

— Коли так, благороди со слезами бога, што не запустил, ато беда бы твоя: у тебя — я прямо тебе скажу! — нутряная грыжа, и никакие лекарства не взяли б ее, ежели бы ты хоша на месяц еще запоздал!.. Сичас я тебе на полтинник нашатырного спирта отолью, — сыщи только посудину, — и от втиранья перед сном вся боль пройдет!

— Не врешь?

— Што ты? Да разве я такой человек!.. Може, народу от эвтой болезни я нивесть што вылечил, от пяти помещиков благодарность себе получил... А ты што говоришь!

Другой офеня подтвердил.

— При мне случилось, как одна женщина в эвтой же самой болезни каталась по избе, накрик кричала. Васильич сразу ее на ноги поставил. И по сие время отблагодарить его не знает как!

— Да вот и он свидетель был, как я эвту бабу от лютой смерти избавил... Я, ведь, и по эвтой части ходок, редкую болезнь не вылечу!.. Вот тебе и лекарство.

Староста заплатил деньги и пошел к двери.

— Пстой, Карп Петрович! — воротил его владимирец. — Позабыл слово тебе одно сказать. Вот што: при моем лекарстве не забудь о молитве: оно с молитвой пользительней и скорее действует! А ежели где поблизости вас есть икона чудотворная али явленная, — сходи завтра же: неделей вся болезнь кончится!

Староста на это даже вздохнул глубоко и сказал:

Тот-то и беда наша, Прохор Васильич, што ближе двух сот верст никакой такой иконы нет! Собираюсь давно съездить, да времени-то никак не улучу по своей службе: уж очень загоняла меня должность-то эта, покою себе просто не знаю!..

Нельзя сказать, чтобы староста наш по службе своей уж очень утруждал себя, нет, но он любил немного прихвастнуть, особенно перед чужими людьми.

Как только староста ушел, хозяева и офени легли спать. Бабке Лукиной — она была у него старуха ветхая

и хвоя — всю ночь не спалось, и она слышала, как один ночлежник осторожно выходил из избы и что-то долго не возвращался со двора.

— Знать и тебе, косатик, неможется, — спросила она у офени, когда тот вернулся: — который ты раз на двор выбегаешь?

— Да, не совсем што-то здоровится, баушка, — отвечал иконопродавец: — верно с дороги это меня прихватило... Надо у Васильича спирту взять да натереться хорошенько.

— Нешто, кормилец... А я вот и завсе так-то, по цельным ноченькам не сплю: всё ломит да везде болит... О-о-хо-хо! Скорее бы хоть смерть-то, што ли, за мной приходила, ато жизни своей не рада.

Утром, вместе с солнышком, ходебщики поднялись и пустились в дорогу. На прощанье Прохор Васильич дал старухе нашатырного спирта. «Втирай, — говорит, — как можно сильнее в те места, которые у тебя болят, и годов двадцать смело еще проживешь, старуха!» С тем и ушли.

### III

И великое чудо у нас тут случилось.

Солнышко высоко поднялось над деревнею. Зеленые всходы в полях казались еще зеленее, еще ярче, точно они радовались, что солнце обливает их своими лучами; вверху, над всем этим зеленым полем, раздавались веселые песни жаворонков, а из чаши молодого березника, что начинался позади деревни, лились уже целые сотни разных певчих голосов, от которых на сердце у всех становилось легче и веселее. Хорошо!.. И в деревне так светло, радостно...

Хотя день стоял и праздничный — воскресенье, но в деревне никто не спал и давно все были на ногах. Человек шесть пошли в село к обедне. По-настоящему, следовало бы всем итти; да у нас не всякий охоч за десять верст в храм божий ходить; разве очень праздник большой, ну, тогда пойдут и все. К тому же и Никола рукой подать: всего через два дня. На деревне принялись завтракать.

Лука сидел в своей избе и ел горячие ржаные лепешки, жена возилась перед печкою, а старуха беспрестанно натиралась спиртом и пуще охала.

Што, бабушка, аль нет легче-то? — спрашивала у бабки Лукина жена.

— Како легче! — стонала старуха. — Трусь, трусь, а боль ничуть не унимается, ровно еще хуже стало... А во-нища-то какая, — инды дух захватывает!

— Што делать, потерпи, — сказал Лука: — ты человек старый, баушка. Васильич вон што говорит: в костях, говорит, болесть-то у твоей бабки, скоро нельзя ждать, чтобы она прошла.

Только он успел это вымолвить, как дверь отворилась и в избу ввалились ходебщики: на обоих лица нет...

— Дома, слава Богу! — проговорил с иконами и прямо к Луке. — У нас к тебе, хозяин, дельце небольшое есть...

Лука как ел лепешку, так и остался: половину лепешки в руке держит, а другая изо рта глядит.

— Ты погоди пужаться-то, — начал Прохор Васильич: — мы тебе зла не пожелаем, коли сам не захочешь. Мы, видишь, одни пришли и десятского с собой не захватили...

— Не виноват! душа вон не виноват! — закричал Лука и вскочил с лавки.

Жена стояла у печки, глядела во все глаза и не знала, что делать: бежать ли ей куда или поднять рев на всю деревню.

Робкий у нас народ!

— Слушай, Лука Митрич, — сказал Прохор Васильич: — отдай ты нам без разговору, и Бог с тобой, мы и не скажем никому!

— Чего отдать? Я ничего не брал!

— А ты полно, не доводи себя до греха — ведь нечего уж запыраться, по всему видно, што твое дело...

— Коли так не хошь отдать, возьми заместо его любого угодника, — стал упрашивать и другой офеня: — я тебе отдам мученика Евстафия плакиду. Не хошь? Возьми, пожалуй, Христофора: вчера баба как добивалась, она у тебя купит его!

Лука наконец пришел в себя.

— Ну, право, в толк не возьму, чего вы от меня хотите!.. Разве спирт этот... да ведь ты же сам, Васильич, дал его баушке?..

— Не о спирте речь, Митрич, мы про Ивана воина говорим. Скажи по чистой правде: ты взял его, праведника?

Лука и руки растопырил.

— Господь с вами, да я нешто такими делами занимаюсь!..

— Отчего же ты давеча, как мы вошли, испужался так? — спрашивает Прохор Васильич.

— Да и сам не знаю, чего испужался. Не во гнев будь вам сказано, по рожам даве вы показались мне за разбойников...

— Добрый человек! — говорит офеня: — мало тебе одной иконы, я дам тебе еще Анику воина, тут его и житие все описано. Отдай мне только Ивана воина.

Лука божится и клянется, что нет у него никакого Ивана воина.

— Ежели вы не верите, обещите, — сказал он: — даю вам свободу везде искать!

Офени перемолвились по-своему, по-офенски, и говорят:

— Веди нас к той бабе, што вчера у мужа просила купить мученика Христофора: може, не она ли по ошибке заместо мученика Христофора взяла эвтого угодника. А ежели там не найдется, тогда не взыщи, Митрич: сходим за десятским и обыск у тебя с понятыми сделаем!

— Свести я васведу, только вряд ли толк какой будет: у нас в деревне не то, што на святыню, а и на простую вещь никто руки не подымет.

— Там увидим. Веди!

Пошли. На дороге встретились кое-с-кем из деревенских.

— А, купцы владимирские, вы опять к нам с товарами?

— Не до товаров, когда несчастье большое случилось, — говорит Прохор Васильич: — вот у моего товарища икона пропала; да, ведь, икона-то какая! што ни есть, дорогая! Нарочно и воротились!

— Как же она пропала-то?

— Христос ее ведает! Дошли до села, там купец проезжий в кибитке едет. Увидал нас и кричит: «Торговцы, торговцы!» Мы подошли. — Што вашей милости? — А он: «Нет ли, говорит, у вас картины о страшном суде христовом; где бы я мог видеть муки грешников, кто за какую вину мученье какое на том свете должен принять?»

— Есть, — говорю. Развязал короб, стал выкладывать иконы, — картины у меня внизу, под иконами, лежат, — глядь, а Ивана-то воина и нет! Завязал я наскоро ко-

роб, — не до продажи уж, — и ударился с Васильичем назад бежать...

— Не потерял ли дорогой?

— Где потерять! Короб здоровый и накрепко веревками завязан...

Говорят они так-то, вдруг, глядим, к старостиной избе народ что-то побежал... Слышим, — кричат:

— Икона явленная, икона явленная!

— Где, где?

— У старостина сарая, на березе!

— Все туда хлынули.

#### IV

Назади у старосты, где стоял его большой сарай, росла высокая береза. Почти что на самой верхушке, между распускающимися почками, стоит на веточке явленная икона и покачивается, от венчика сияние кругом... Дивились не мало у нас, каким только чудом держалась она на такой тонкой веточке!

Вся деревня собралась к березе. И офени подошли. Мужики стоят без шапок, бабы крестятся, плачут от радости, а ребятишки, закинувши свои головенки, стараются понять, что за чудо такое сделалось, что никогда и никто не ходил из них к этой березе, а теперь весь народ тут и все глядят на самую верхушку: не смысли, ничего-то они не понимают!

— Что же нам делать, миряне, — говорит староста: — самим ли нам ее, матушку, с березы-то снять или в село за священником послать, он с молебствием ее снимет?

— За попом лучше послать, — говорят одни.

— Боже вас сохрани! — вскричал Прохор Васильич: — нешто вы хотите, штобы у вас эдакую благодать отняли? Поп как приедет, так сейчас же ее, матушку, к себе в церковь возьмет.

— Нет, благодать нельзя отдавать, — заговорили мужики.

— Сколько мы годов живем, а еще ни разу у нас такого чуда не бывало... Да и отцы наши и деды ничего такого на своем веку не запомнят.

— Это правда, да штобы нам после хлопот не нажить,

— заговорил Матвей: — пожалуй, и отвечать заставят, што мы про чудо божие скрыли, начальству о том не донесли.

— Не надо про эвто много говорить, — сказал Прохор Васильич: — свой-то брат не выдаст, а штобы чужие только как не сведали... Эвто главное!..

Матвей хотел было что-то сказать, но ему и говорить не дали.

— Молчи, ради создателя, молчи!.. Ты против кого такие слова говоришь? Смотри, как бы она за слова твои богохульные языка не лишила!..

— Миряне, — сказал староста: — я весь страх на себя беру. Давайте снимать! Кто мастер у нас по деревьям лазить?

Выискалось двое парней.

— Да на вас чистые ли рубашки надеты? — спросил Прохор Васильич.

— Чистые, вчера только сменяли.

— А портки?

— Портки-то?..

Парни замялись.

— Ну, вам нельзя лезть...

А других смельчаков не нашлось, потому и решили явленную икону снять таким образом: принести несколько новин чистых, взять холсты в руки и держать кругом березы, а самую березу трясти с молитвою. Спасибо офеням, — это они научили, как сделать!

— Верно ты, Карп Петрович, молился усердно, — сказал Прохор Васильич, пока бегали за новинами: — какое чудо на твоей земле владыка небесный явил!

— Уж и не знаю, Прохор Васильич, чем я только заслужил у бога, што он так не по делам взыскал меня, — со смирением отвечал староста.

— Да, кого вот взыщет, а кого и накажет. Вон у мово товарища икона дорогая пропала, нарочно мы и воротились спросить, не взял ли кто...

— А мне и невдомек, как вы опять здесь очутились! Какая же это у него икона пропала?

— А Иван-то воин, што вчера показывал, еще письмо такое важное и венчик вокруг головки.

— Помню, помню. То-тс он, товарищ твой, и сумрачен так...

— Ах, да, ведь, икона-то чего стоит: за самый престол в алтарь ее преосвященный хотел поставить. Еще дивлюсь

я ему, как он жив остался, а другой на его месте сичас бы и руки на себя наложил...

Но тут принесли холсты. Развернули новины и приступили к березе.

— Трясти?

— Начинай, с молитвой!

Затрясли.

— Не сходит?

— Нет.

— Экое удивленье!

Принялись сильнее трясти. Ветви шумят, качаются; венчик на иконе так и сияет, так и блестит при солнышке.

— Не дается!

— Видно не угодно ей, матушке... Не достойны, должно, мы грешные!

— Не еще ли помолиться?..

— Ой, што это. Батюшки, да это она сама!..

— Сошла?

— Вот она!

Все кинулись глядеть на явленную икону.

— Господи, да это Иван воин! — проговорил староста и закрестился.

— Он, самый он и есть! — закричал Лука. — Васильич, гляди-тка, угодник-то твою товарища где очутился!

А владимирцы земли под собой не чуют: обрадовались.

Проخور Васильич повалился в ноги Луке и убивается, чуть не плачет, выпрашивая себе прощения:

— Забудешь ли ты, честной человек, ту великую обиду, кою я нанес тебе своим подозрением, своими неразумными речами! Простишь ли ты хоть ради сегодняшнего чуда господня?

— Бог простит. Я давно забыл, — говорит Лука, с умилением взирая на явленную икону.

Икону поставили к стволу березы на белую новину, — и стали все подходить и прикладываться. Многие стояли на коленях и молились в землю. Ребятишки заползли сзади березы и украдкой от больших пошевеливают пальчиками венчик на иконе.

— А он не тронет? — шептались за березой.

— Не бойсь, он, ведь, не живой!

— Дай-ко, я пощупаю, што у него это блестит!

— Вы што тут, вшивые, святыню трогаете! — закричал на ребятишек староста.

Одна баба говорила своей дочушке, девчонке лет пяти:

— Прикладывайся к ручке скорее, Танька!

— Ни, боюсь!

— Чего дура?

Офени дали приложиться, а потом и говорят:

— Ну, мужички, теперича мы угодника-то этова опять к себе положим. Надо его, святителя, в село Хомутово нам в целости доставить!

Все так и всколыхнулись.

— Што вы? да нешто мы отдадим явленную икону? Ни за што!

— Вот што, приятель, — начал говорить староста товарищу Прохора Васильича: — я знаю, што икона твоя дорогая, даром тебе отдать ее нельзя. Возьми ты с нас сполна ту цену, за которую продал в церковь, и уступи для благодати нам.

— Н-ни-как невозможно!

Если бы не Прохор Васильич, не видать бы деревне больше явленной иконы: он, спасибо, заступился.

— Отдай ты, — говорит, — им святителя христов! Уготовал он себе место здесь, в деревне Никулихе. Как же ты можешь наперекор воле божией итти?

Согласился.

— Делать нечего, — сказал, — знать страх божий во мне силен. Соберите вы с каждого дома по новине холста али домашнего полотна, и Бог с вами!

И прекословить не стали, собрали.

— Глядите, мужички, — наказывает Прохор Васильич: — держите ухо востро, не спознали бы как попы али становой: не дадут вам тогда святыней попользоваться.

— Станем остерегаться!

— То-то же, как можно, будьте осторожней! Эво главное!

## V

Так всем миром и порешили на деревне, что явленную икону надо соблюдать от всех в строгости и никому из посторонних не говорить, что царь небесный взыскал нас своею милостью и благословением.

У старосты взади стояла светелка; туда угодника хри-



стова и поставили в угол, зажгли пред ним неугасимую лампадку и закурили ладон. Народ каждый день сюда приходил, а больные старики и старухи до самой ночи не выходили из светелки: все молились да исцеления себе просили. Лукина бабка и про спирт забыла: велела себя внучатам свести к Ивану воину, и как привели ее к явленному, так и осталась тут и домой не хотела итти.

— Я лучше, говорит, — здесь и ночевать стану, да все на глазах буду у него, у батюшки: скорее он так-то от недуга меня освободит...

Однако не прошло и двух-трех дней, как со всех ближних деревень повалил к нам народ. Бог их ведает, как они узнали, что у нас явленная икона... Повезли на тележках увечных, больных, хромых и всяких прокаженных. Масла, яиц, холста и всякого добра нанесли — нивесть что. Староста принимает и только говорит:

— Ради Христа, православные, поосторожнее! Помилуй бог, кто из чужих спознает! Беда!

— Не сумлевайся, Карп Петрович!

Другие спрашивают:

— Как он, батюшка, явился-то, Карп Петрович?

— А вышел я в то воскресенье утром на задворки; иду к сараю, гляжу вверх, а на березе, почти што на самой вершинке, ровно солнышко какое играет. Я остановился, стал вглядываться: господи! А это сам угодник сияет. Жена подошла, закричала... тут народ сбежался, и сняли его, батюшку. Только не сразу дался.

— Не сразу?!

— Нет, долго не давался.

— Экие чудеса господни!

Привезли к нам и одну порченую. Руки и ноги связаны; вынули из телеги, развязали и поставили на землю. Молодая, из себя красавица; волосы распустились, висят по рубашке темными космами. Спрашиваем: откуда такая красавица?

— Из Жуковки, отвечают: — Ивана Герасимова дочь, бесноватая.

— Отчего это с ней приключилось?

— Известно, злые люди напустили. Девка была здоровая, умная; с лица, ровно маков цвет; да связалась нагрех с писарем волостным и сгубила себя на всю жисть. Сперва он, идол, надругался над девкой, кинул, а после и навел на нее порчу.

— Вот оглашенный-то!

С великим трудом могли ввести порченую в светелку: не шла, все отбивалась, да мужики насильно уж вволокли. Поставили ее перед иконой: она ничего, стоит.

— Молись, — говорят, — дура, святому: может, он и выгонит из тебя беса-то!

Она все стоит, смотрит пристально карими глазами на лик угодника и молчит. Глядят, что будет. Вдруг она как задрожит, вся забьется, да как закричит:

— Уведите меня!.. Зачем привели? Не будет от него моему сердцу никакой помочи!

Переглянулись только все.

— Бес-от в ней как!

— Ище так ли он ее ломает! — вздохнувши, сказал отец порченой.

— Тошно мне, родименькие, то-ошно! — в изнеможении, опуская на грудь голову, скорбно так жаловалась девушка. — Умереть бы мне...

Ничего с «порченой» не сделали. Бес не вышел из погубленной девичей души. Так и увезли бедную опять в Жуковку!

По всей округе, может не на одну сотню верст, разнеслась молва о явленной иконе. Рассказывали, что многим сам угодник божий во сне являлся, а некоторым благочестивым людям даже был глас... Раз в глухую полночь к избе старосты кто-то подъехал и тихо постучался; староста лежал на лавке и не спал. Вышел он на стук и окликнул приезжего:

— Кого там бог принес?

— Отопри, хозяин!

Струхнул наш староста, но перекрестился и отпер.

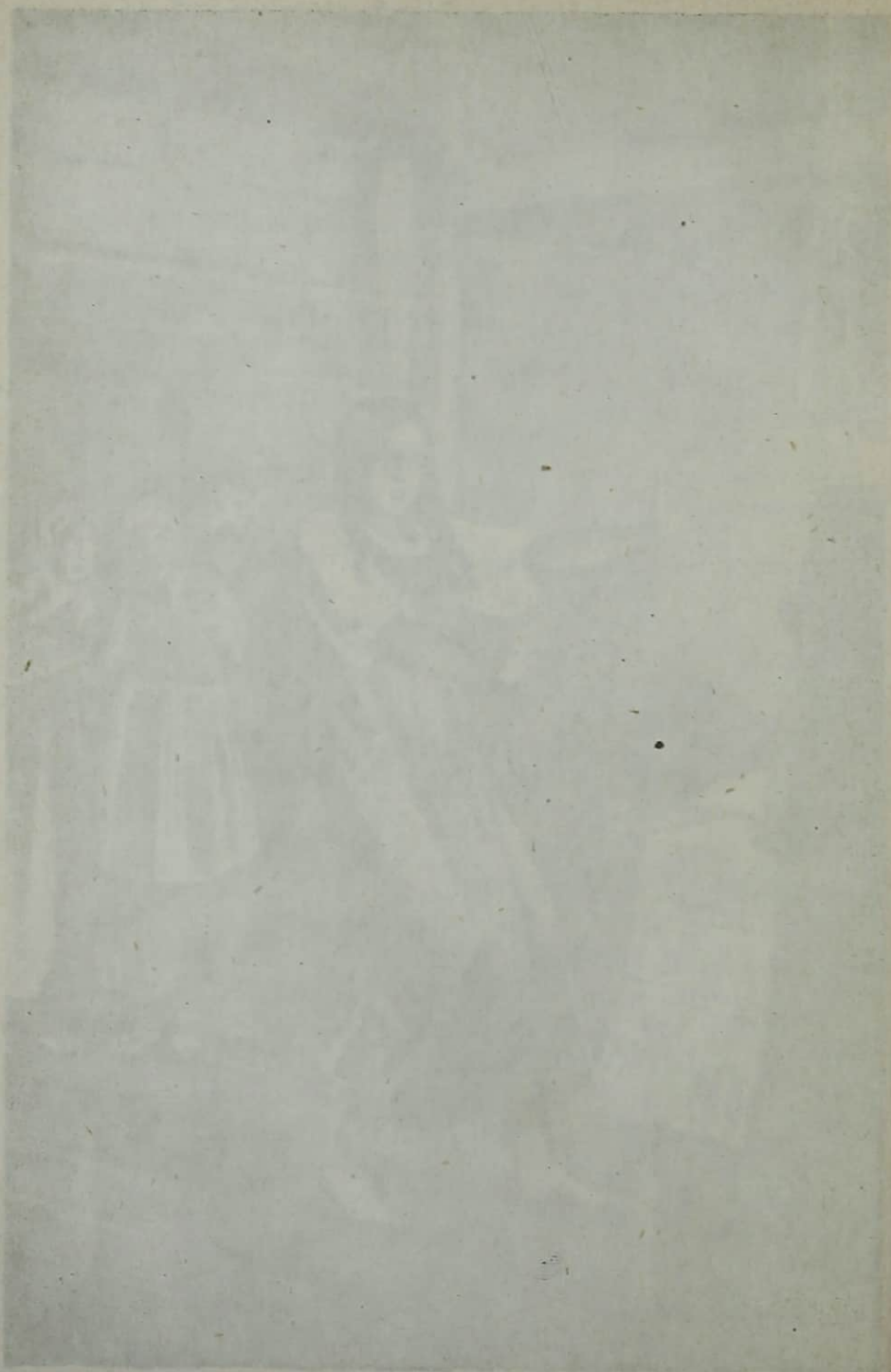
— Ваше степенство, Семен Гаврилыч! — выговорил староста, разглядев приезжего. — Куда вас Господь несет?

— Тихонько, мужичок, тихонько, — отвечал приезжий. — Я к тебе... Веди меня скорее, где можно бы с тобой об одном важном деле переговорить!

Староста ввел гостя в избу. Приезжий был купец, богатый и что-ни-есть первостатейный во всем нашем городе.

— Мне был глас с небеси, — заговорил таинственно купец: — «Иди, говорит, ты в деревню Никулиху и там обрящешь ты явленного угодника, кой окажет тебе великую помощь во всех твоих делах и торговле». Где у вас он, батюшка?





— Я удостоился этой благодати, — отвечал староста: — на моем гумне святитель христов явился!

— Ты?! Благословение божие, значит, на тебе почит, мужичок! Веди же меня к явленному угоднику!

Усердно просил купец уступить ему Ивана война; деньги большие давал, — староста не согласился, и икона осталась в Никулихе.

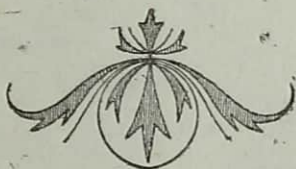
Народу к нам все больше и больше сходилось на поклонение, а по воскресеньям настоящая уж ярмарка собиралась. Мужики стали подумывать насчет часовни, да отложили постройку до осени, когда наступит свободная пора.

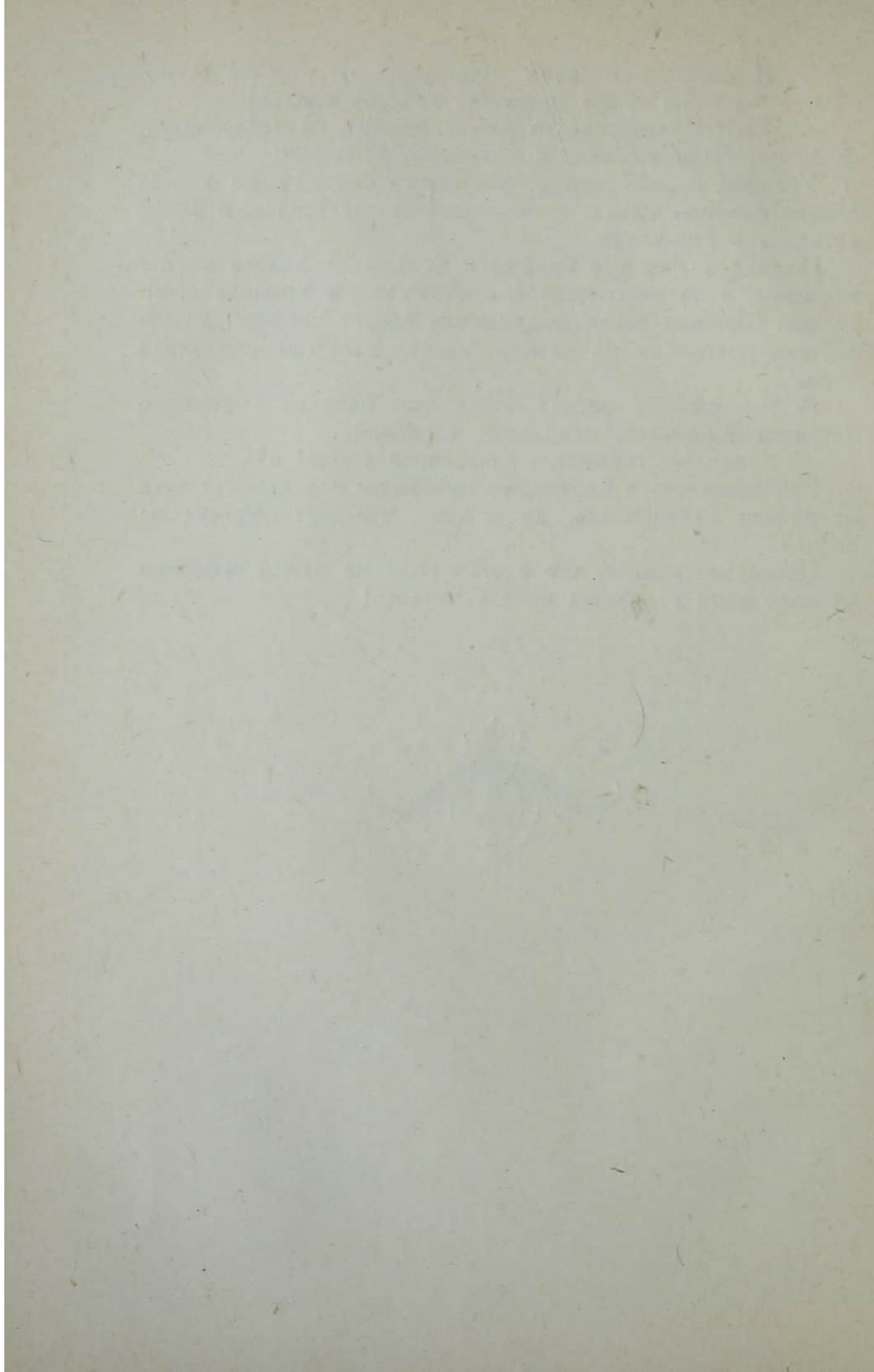
А тут, видимо месяца через два, наехали в деревню батюшка-священник, исправник, становой...

— У вас, — говорят, — явленная икона! а?

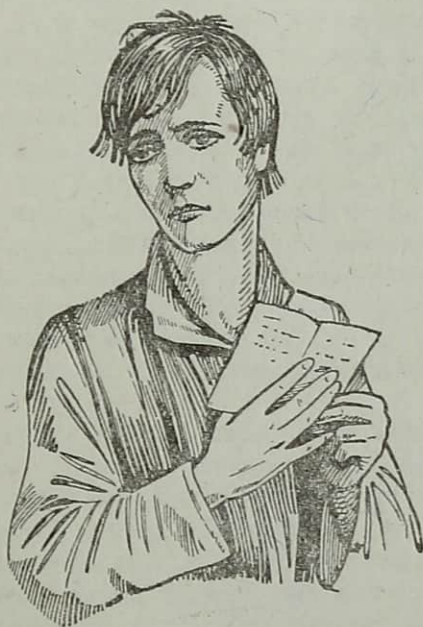
Ну, пришлось о часовне-то позабыть: вся деревня чуть не вконец разворилась, да хорошо, что еще под суд не попали.

После мы узнали, что в этом году по нашей губернии не мало икон в разных местах явилось!

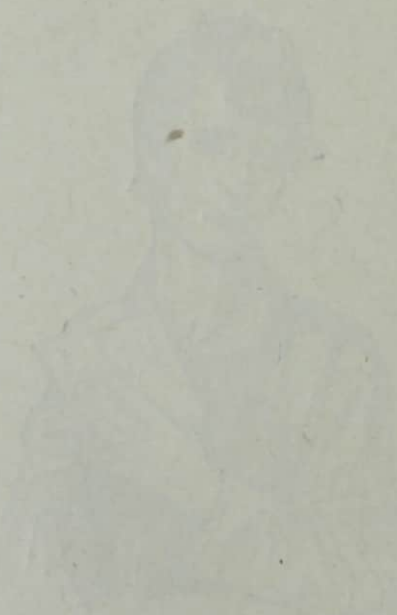




# БЕЗОВРОЧНЫЙ



THE UNIVERSITY OF CHICAGO







**БЕЗОБРОЧНОГО** кто не знал! Поискать да и не найти уж теперь в селе другого, кто бы еще на таком виду у всех стоял, как Безоброчный. На что, кажется, купцы, что всякий год по осени к нам в село с товарами приезжают, молодежи наших и девок ситцами яркими, платками алыми и кольцами серебряными разукрашивают, — в какой славе и почести они у народа! А и тем — куда! — далеко до Безоброчного: пока еще идет ярмарка, все купцов по имени и отчеству величают, каждый за честь большую для себя поставляет с приезжим купцом хотя словом перемолвиться; а как торговля кончилась, — ни один человек и знать их не хочет, и все о купцах позабыли!.. Разве что уж только иной купец, вздыхая громко о простоте сельских людей и жалеючи на всю ярмарку крестьянскую бесталанность, пожелает когда наших баб на ум-разум наставить и этак, от своего усердия, целое село нагреет гнилым товаром, — ну, того благодетеля за его добродетель великую редкий праздник, чтобы кто добрым словом не поминал...

Да что купцы, — они народ приезжий! Наш волостной старшина, Парамон Иваныч, свой человек и пуще всякой грозы небесной для мужиков; но и тому с Безоброчным в знати никак невозможно сравняться: взрослые, мужики и бабы, при встрече со старшиною всегда и чуть не до сырой земли отдают ему почтение; а сельские ребятишки и не знают даже, что есть за человек таков на свете Парамон Иванов, тогда как Безоброчного всякий малый ребенок знает, да еще как!.. Правда, Безоброчному никогда и никто во всю его жизнь никакого почтения не оказывал; зато самый, что ни есть в селе, последний мужичонка ни разу не опускал случая над ним посмеяться и похвастать, насколько он, то есть этот последний мужичонка и безответный гольщ, стоит выше Безоброчного, и какой он, мужичонка, важный человек в «обществе».

— Ах, Безоброшный, Безоброшный! — говаривал в подобных разгах такой мужичонка. — Пора бы тебе совесть знать и что-нито в оброк уплатить! На-ка, живет за мирской шеей и ничего он себе знать не хочет; а ты, хороший мужик, за него все тяготы неси, общественные по-слуги и подушное отбывай!..

— Так, так, — поддерживают со стороны мужичонку. — Пробери его, хорошенечко пробери!

— Да в правиле ли это, православные, по закону ли, а? — хорохорится пробиратель. — Ну, что ты, ровно попова свинья, только и делов делаешь, что зря по селу мычешься? Оглядикось хорошенько, так ли настоящий хрестьянин живет... Бери хоша с меня пример!..

Говорит эти слова мужичонка, обеими руками в бока подопрется, на Безоброчного глядит так строго и головою важно потряхивает; а сам, точно из пожара сейчас вылез, ничем не лучше с виду Безоброчного: весь замазанный и отрепанный! Смех!

Или, случится, подгуляет когда мужик, лежит он на голбце и тяжело ему по таким временам, а на дворе давно уж белый день стоит и в избе печь затопилась. Жена в который раз его будит:

— Вставай! Надо, чай, лошади свежего корму задать и скотину всеё напоить, — ведь заморилась она, поди, скитинка-то, ждамши своего хозяина хорошего! Видишь, мне самой никак недосужно... Подымайся!

Но муж, вместо того чтобы послушаться жены и встать поскорее, только простонет с голбца и единым пальцем не пошевелинет.

Жена опять к нему пристанет:

— Али еще не выпался? Мало тебе, видно, ночи-то ноченской, ты и день-то хочешь проклажаться! — не унимается она и с бoльшим сердцем подкидывает тоненькие поленца в пылающую печку. — Дрыхни, голубчик, дрыхни! Чего нам не покоить себя? Вишь, мы какие богачи, — скоро у нас и останную корову на базар сведут... Вот бы тебя с Безоброшным-то на одну доску: были бы вы два сапога пара... У-ух ты, бесстыжие твои глаза!

Эта еще только стыдит своего мужа и желает поставить на одну доску с Безоброчным; а из соседней избы выставилась в оконце другая баба и уж, что ни есть у нее голоса, кричит:

— Добрые люди, хрестьяне православные! Завсдомо

Ай вам, что у нас нонче в селе новый Безоброшный обзначился?

— Что ты?.. Кто?

— Неужели не слыхали? Как же! вот уж третий день, как мой-то, добрая голова, с Безоброшным на одном положении состоит...

— Ну?.. Ай, дядя Михей!

— И никто, ведь, его не нудил, а сам, по своей доброй воле, в этот чин записался: «надоело», говорит, «мне в мужиках целый век жить; хочу», говорит, «я ноне в новое звание выписаться и потому», говорит, «имею я крепкое мое намерение к Безоброшному под начал поступить!..»

— Неужто так и сказал, тетка Матрена? — смеясь и шутливо спрашивают у бабы с улицы.

— Слово в слово, — отвечает из окна тетка Матрена. — Да что!.. Ежели кому в охоту поглядеть на безобразничанья-то наши, запрету у нас никому нет, входите все в избу и глядите: вон он, Безоброшный-то новый, на печи карачится! Полюбуйтесь на него, добрые люди!

Вот в какой славе был у нас Безоброшный! Но так на него смотрели взрослые; а для малышей сельских, которые хотя тоже не прочь были на его счет поточить свои острые белоснежные зубенки и всегда охотно над ним смеялись, Безоброшный служил предметом неистощимого любопытства и — нечего таить правды! — великого их страха.

Помню, высыпем мы, бывало, — тогда еще беззаботные и резвые мальчуганы, — высыпем ранним утром на сельскую улицу и с неудержимой, какой-то будто бы звонко летящей и не знающей себе конца радостью отдаемся мы нашим ребяческим играм, позабывая про все домашние колотушки, вечные жалобы больших на нужду лютую и нескончаемые ссоры отцов с матерями, и наши маленькие сердчишки полны одним чувством, что ничего-то не может быть на свете краше и лучше нашего детского счастья и наших светлых детских радостей. А вешнее солнце, весело поднимаясь над сосновою рощей, из которой несется струя смолистого запаха, так любовно глядит на божий мир и своими яркими и рассыпающимися, но еще не жаркими лучами нежно целует нас в загоревшие щеки; а свежий утренний ветерок так ласково и так грациозно заигрывает с русыми и мягкими, как лен, волосами на наших

головенках. И все, охваченные чувством беспредельного восторга и здоровые, бежим мы навстречу ликующей природе с теми далеко разносящимися криком и смехом, от которых разглаживаются глубокие морщины на самом угрюмом челе седовласого старика и озаряют светлой улыбкою добрые лица наших матерей-работниц, — бежим мы и вдруг — остановились все и замерли...

Из-за угла одной старой избы показалась длинная и худая фигура человека, вся в лохмотьях и грязная, с босыми и окровавленными ногами... Минута — и вся наша ребячья стая рассыпалась уже по соседним дворам, забиваясь в разные углы, и только одни смельчаки оставались на улице, плотно теснясь к воротам, чтобы в случае чего последовать благому примеру своих товарищей и прямо во двор юркнуть.

— Идет, идет! — шопотом проносится тогда в кучке малышей, притаившихся у ворот и боязливо выглядывающих своими бегающими глазенками на страшную фигуру, словно туча грозная, медленно подвигающуюся в нашу сторону.

— Вот он, Гриша-то Безоброшный!.. Ти... Ти-ш-ше!..

У всех захватило дух в груди, и ни один из нас не шевельнется. Страшная фигура, чему-то улыбаясь и закрываясь опорышами, точно бы стыдась чего, проходит мимо и совсем не замечает наших стрелами вонзившихся в него глаз.

— Вишь, смиренный он сегодня, — возвышается смелый голос, когда фигура отошла от нас по малой мере шагов на двадцать. — Оказия, робятки, что Безоброшный сегодня не побежал за нами!..

— А хоть бы он и побежал, я бы ни чуточки его не испужался, — заговорил самый смелый, переставляя одну ногу через подворотню, а другою и сам весь еще оставаясь по ту сторону ворот, т. е. во дворе. — Это вы только боитесь Гриши-то Безоброшного, а для меня он нисколечко не страшен, и я его вот на столечко не боюсь, даром что он такой большой, а я эдакой маленькой!..

— Уж что про тебя и говорить: ты храбрый человек!

— Да храбрый и есть! — горячится мальчонка и выходит из-за подворотни. — Хотите ли, я ему сейчас закричу?

— А ну-ка, закричи!

Храбрый человек поглядел вслед за Безоброшным, —

уже где, далеко тот шагает! — и чуть слышно и один раз крикнул:

— Безоброшный!.. Ну что, не закричал я?

— Эка, ровно комар пискнул! — засмеялись мы все. — Да теперь что, — ты бы вот даве ему крикнул!.. А теперь, пожалуй, и мы закричим, да и не по-комариному, а как завсе кричим, шибко!..

И тут вдруг к нам возвращается наша обычная смелость, все оставляют свои засады, шумно высыпают опять за ворота, и в улице раздаются целые десятки тонких ребячьих голосов:

— Безоброшный!.. Гриша Безоброшный, оглянись! оброк-от у тебя весь назади висит!..

— Безоблостный! да когда ты свой облочик милу заплачешь? — кричит самый крохотный малыш и пускается своими махонькими ножонками догонять чуть видневшуюся вдали фигуру. — Не холосо тебе так делать, Безоблостный. Стыдно! отдай облочик!..

А какая-нибудь мать, не зная чем и как унять блаженного своего детища, только и спасается одним именем Безоброчного.

— Замолчишь ли ты, озорное! — взывает мать и изо всей мочи трясет качку, в которой благим матом орет младенец. — Господи! да что мне с ним делать!.. Нишни, говорю!.. Не слушаешь?.. погоди, коли так! Кажись, по улице Безоброшный идет? — нашлась она и, словно бы обрадовавшись, довольным голосом прибавила: — Безоброшный, а Безоброшный! поди-тка ты сюда да возьми у меня моего Гараньку, положи его к себе в кошель, — он мамы своей не слушает, озорничает все и никакого покоя маме своей не дает... Поди, Безоброшный!..

И ребенок, побагровев даже весь от усилий сдерживать болезненные свои рыдания, при имени Безоброчного тотчас затихает...

Что же это за человек, которому не было другого и прозвания, как Безоброчный, и христианское имя которого знали лишь мы одни, глупые мальчуганы, и порою еще называли его Гришею? Неужели он так с тем и на свет родился, чтобы целую свою жизнь видеть около себя одно людское глумление, и ничего уж лучшего не выпало на его долю, как только стоять безобразным пугалом перед светло улыбающимися личиками невинных малюток?..

Вот что, по долгим зимним вечерам слушаючи с пола-

тей, узнали мы о Безоброчном от матерей наших, и что я теперь сам расскажу вам про него, добрые люди, чтобы вы также знали, отчего у нас на миру заводятся Безоброчные и как разумное создание божие, человек, от злобы другого человека да глупости нашей круговой делается общим посмешищем.

## I

Не только наши отцы, — братья старшие еще хорошо помнят в селе Григорья. Работящий и старательный был этот мужик Григорий, а нрава такого доброго да тихого — не то чтобы обиды какой, — слова супротивного никогда от него никто не слыхивал. А собою что за детина был! Глядячи на его высокий рост, широченную грудь и могучные плечи, не мало народ дивился тому, как в таком богатыре и такая смиренная душа могла засесть? Но его голубые глаза, светившиеся всегда ровным и ясным светом, останавливались иногда на ребяческих лицах с такой глубокой печалью, и весь он глядел тогда таким беспомощным сиротою, что вчуже делалось жалко мужника: точно он молил кого, чтобы ему возвратили единственную и последнюю, ни за что отнятую у него радость, без которой ни одному человеку сама жизнь не в жизнь!

Рассказывали, что, будучи еще ребенком, Гришутка подружился с поповым сыном, сверстником по годам. И жили они все время в такой дружбе, что друг без друга просто дня не могли пробыть; где, бывало, один, там уж непременно и другой. Осенью, в заморозки, попович еще где поднимется и торопится бежать к Гришке.

— Гришутка! а, Гришутка! — кличет товарища попович, останавливаясь на всем скаку перед окошком Максимовой избы, отца Гришки: — Выбегай скорей на улицу! Ноне как заморозило, волчки станем пускать!

Гришутка, как только заслышит голос поповича, — стрелой в дверь и про краюху хлеба забыл.

— Погляди-тка, какой у меня волчок-от, — вытаскивая из-за пазухи, показывает свою утку попович: — новый с медной шляпкой на шейке! Мне это батюшка вечер из города привез: пятак серебра, говорит, за этот волчок я в лавке заплатил. Вот какой дорогой!

— Ну-ка, ну, Вася, дай мне его в руки, я на него хорошенечко погляжу! — просит Гришутка и с большим

восхищением повертывает из стороны в сторону выточенный из березы волчок, городскую попку. — Хорош!.. Вот это настоящий волчок, — хвалит он. — И видно, что в городе куплен, не чета нашим самоделкам! Небось, уж, как запустишь, так он у тебя так сразу и уснет... Мы, Вася, по очереди станем его запускать?

— Пожалуй... Да, ведь, я для тебя другой захватил; помнишь, что позалетось у меня был? Вот он, на! Ты его возьми себе, — он мне ненадобен.

Гришутка подпрыгнет от удовольствия.

— Вот спасибо тебе, Васенька! Ай, товарищ милый!

В начале весны, когда солнечные лучи распустят снег, и в улицах везде зажурчат десятки веселых ручейков, оба товарища хлопчут над устройством запруды и становятся мельницы.

— Вот так уж мельницу попович с Гришкой поставили — возвещают друг другу сельские ребятишки и снова, чуть не в десятый раз, бегут глядеть, как работает большое колесо на новой мельнице.

— Вишь, как оно вертится! — говорят ребятки. — Ловко! Да какие же они у нас, парнишки, до всего дошны!

А летней порою, лишь только заиграет пастух, ударятся товарищи в лес, забьются там в самую глушь и слушают пение веселых птичек. Ни одной души человеческой около них, а между тем кругом все полно такой кипучей, такой бодрой и неумолчно раздающейся жизни, что ребятишки невольно забудутся и молча лежат на росистой траве.

— А хорошо в лесу, Гриша! — промолвит, наконец, попович.

— Больно хорошо, Васенька, — скажет Гришутка и вздохнет.

— О чем ты вздохнул?

— Так... А вон векша прыгнула!

— Ну, Бог с ней!.. А слышишь? Чу!.. Это, видно, соловушко заливается!

— Нету. Соловьи теперь не поют; а это малиновка свищет... Знаешь, тоже всякая ма-ахонькая птичка, только роток и горлышко у ней красненькие?..

Так проводили годы своего детства товарищи, пока отец не засадил поповича за грамоту. Но и тут они виделись часто, хотя уж и не гуляли вместе по целым дням,

как это было до ученья. Сидит, бывало, попovich за книжкою, а Гришутка то и дело что шастает мимо хорошего, крытого тесом, с расписными ставнями попова дома и нетерпеливо поджидает своего приятеля. Кончился урок, — и попovich летит на улицу.

— Ты здесь?

— Давно. Ну, что, батя твой не сек тебя сегодня? — с живостью спрашивает Гришутка.

— Нет! Я ныне твердо знал урок, — с гордостью отвечает попovich.

— И не побранил тебя? — не отстает Гришка.

— Какое бранил! Хвалил и гладил по головке: «добропорядочно, Василий», сказал, «преуспевай».

— Вот как? Значит бате-то твоему любо, что ты хорошо у него учишься.. А скажи, трудно тебе учиться?..

— Сперва-то трудно было, а вот теперь, как попривыкнул — ничего, легко стало... А что, Гриша, не пойти ли нам теперь рыбу удить?

— Пойдем! Я даве и червяков накопал... Какой червяк попал, — рассказывает уж на ходу Гришутка: — крупный, да толстый червяк! Гляди, ужо большая рыба на этого червя пойдет.

Завернут они к Гришутке домой, достанут из-под застрехи удочки и пойдут на реку, засядут там на берегу и закинут в воду крючки.

— Смотри, не прозевай!—предостерегает один другого.

Пристально, не спуская глаз, следят оба приятеля за тихо колышущимися на воде поплавками, и каждый раз, когда поплавок вздрагивает, глаза мальчиков широко раскрываются.

— Клюет, клюет!.. Гляди: окунулся... Вытаскивай!

— Ай, сорвалась шельма!

Редко удавалось им за день вытащить какого-нибудь карася или плотичку; но они и этим вполне довольны оставались и со счастливыми лицами возвращались в село.

Выучился попovich грамоте, начал он и товарища своего учить.

В месяц Гришка читал почти по всей азбуке, а спустя еще месяц, он какую угодно мог прочитать книжку. Диву все дались на селе от талантов Гришки, и село о нем заговорило.

— Каков Максимов-то паренка, Гришка-то? По печатному валяет, да, ведь, как!.. Ты ему каку печатную



книжку ни дай, он тебе всякую прочитает и расскажет, что там в ней означает!. Голова, должно, будет малый!

— Чудеса! Уму даже непостижимо, как эдакой, можно сказать, сопляк и всеё грамоту зараз осилить смог?

— Эка, нашли кого расхваливать! — вопреки голосу всех отзывался один зажиточный мужик, Парамон Иванов. — Велика важность, что в Гришкину башку попов сын азбуку вдолбил, а вы и нивесть уж в какие грамотники Гришку произвели! А вы бы сперва-наперва спросили у поповича, чего это ему стоило! ведь, он, седешный, изнадселся весь, маямшись-то денно и ночью с Гришкой!

Как и откуда это узнал Парамон Иванов, — один сам он знал. Но что против Максима он имел постоянную злобу, — это всему селу было известно, и никто не сомневался в том, что Парамон Иванов возненавидел теперь и ни в чем неповинного Гришутку.

— Однако, Парамон Иваныч, — осмелится ему загвоздить посмелее кто из мужиков, — твой-то сынок никак два года ходит в науку, а что-то не очинно чтобы так успешно грамота в его голову вкладывалась, хоша дьячок и больно старается: дальше складов паренек не сможет уйти, хоть ты с ним тут лоб об стену расшиби! Видно, мастер-то плох задался!

Парамону эта насмешка пуще ножа острого!

— Нашел ты кого сравнять с моим сыном! — бесится он и от злости трясется сам. — Моему-то сыну, може, цены нет, — он у меня золотой! А Максимова-то сынишку я и с отцом куплю... Вот что!.. Я наперед сказываю, что из вашего хваленого Гришки проку никакого не выдет: либо вор, либо отъявленный пьяница он будет... Да-а!.. И ты мне николи перечить не смей, потому как ты выходишь известный свинья и тоже плут большой!..

— Ну, спасибо тебе на добром слове — ответит мужик. — Изволь-ка сам скушать, что другим подносишь, а мы и так завсе твоей милостью довольны... Не взыши!..

Много, рассказывали, Гришутке пришлось за свою славу всякой брани и язвительных слов выслушать со стороны злого мужика; не раз и не два бедняга плакал от Парамона Иванова и порою жаловался поповичу.

— Что я ему сделал? За что он меня обижает?

— А ты плюнь на него, — советовал товарищ. — Ты, ведь, умница, а у Парамона сын дурак, — нужды нет, что он старше тебя... Вот, значит, Парамону этому самому

и завидно, что не его сына, а тебя все зовут умником. Понял? Что ж ты плачешься, дурашка? Есть о чем горевать!.. Плюнь!

— Да от Парамона и бате моему житья нет!.. — закрывая раскрасневшееся лицо обеими ручонками и судорожно всхлиывая, продолжает Гришутка. — Всех бы он нас, кажется, поедом съел, ежели бы у него воля была!.. А за что?

— А ты вот брось только плакать-то, — унимает попович. — Пойдем-ка, милый товарищ, мы с тобой лучше в наш сад, там я расскажу тебе какую новую историю!.. Ах, что только за чудесная история!..

Гришутка отнимает от своего лица ручонки: еще слезы крупными и чистыми каплями дрожат на его длинных и густых ресницах; но он уже улыбается, выглядывая из-под темных бровей, и голосом, полным внезапно поднявшегося любопытства, спрашивает товарища:

— А ты... эту историю... от бати своо слышал, али сам где... в какой книжке прочитал?

— Скажу, как в сад придем, — уклончиво и смеясь отвечает попович. — А и что это, Гриша, за красота у нас теперь там: яблони все в цвѣту, — ну, вот, знай, словно весь сад как молоком облит! А пахнет опять как, — ну, вот ей богу, право, ни за что бы я оттуда теперь не вышел!.. Рай!

Гришутка весь сияет от близкого счастья: он пойдет в поповский сад, где Вася станет ему рассказывать какую-то чудесную историю, и он будет его слушать долго, долго...

Ах, как это будет хорошо!..

## II

Но вот пришло время везти поповича в школу, и в доме с расписными ставнями начались хлопоты; мать и сестры принялись за шитье рубашек и разных мешочков, в которые можно было бы напирать всякого добра, и стали понемногу снаряжать мальчика в отъезд. Чем ближе подходило это время, тем чаще и дольше останавливались на лице поповича тоскующие взгляды его матери и сестер, громче и больнее отзывались в его сердце их протяжные вздохи, и самому ему, глядя на них, так хотелось разре-

веться, что он проворно оставлял горницу и удирал на улицу...

Заслышало село про этот отъезд поповича, и наши улицы, доселе веселые и крикливые, тоже погрузились в какую-то безмолвную печаль. С чего это вдруг притихли сельские ребятки и с выражением непривычной грусти на своих детских личиках кивают в ту сторону, откуда идут попович с Гришкою? Почему собаки Жучко и Орелко, — эти закадычные друзья со всеми малолетками и участники во всех ребячьих играх, — не бегут при виде Гришки и поповича взапуски к ним навстречу и с радостным визгом не бросаются им на грудь, а сидят около завалин и слабо повиливают хвостами, уныло и моргающими глазами посматривая на товарищей? И о чем эти высокие и развесистые березы, под широкую и прохладную тень которых любят, в праздники собираться мужики и бабы, — о чем оне, эти зеленые березы, как будто бы плачут и жалуется на что, тихо пошумливая трепещущими листочками?..

Нет, не то уж теперь стало наше село, каким мы его знали и привыкли любить, — думают ребятки. — Нет! совсем не то...

Как первый цветок наших бедных долин, подснежник, ярко и вдруг блеснет посреди еще голой природы и так же вдруг и незаметно исчезнет, — так годы счастливого детства озарят своим лучезарным светом нашу крестьянскую долю и внезапно поbledнеют, померкнут навек перед густым и непроглядным туманом грядущих лет жизни...

— Через неделю, — заговорили в селе, — поповича от нас увезут. Поповича скоро никто уж больше не увидит на улице. Поповича через неделю в школу засадят, и Гришка один останется!..

Только неделя! Неделя одна, — и конец золотым дням!..

Всю эту неделю Гришка был неразлучен с поповичем; он решительно забыл про отцовскую избу и вовсе уж туда не заглядывал: Гришка и ночевал на поповском сеновале.

Заберутся они вдвоем с поповичем после ужина на сеновал, зароятся там в душистое, недавно еще скошенное сено и лежат; долго они не спят и все говорят, и переговорить всего не могут...

— Ах, никого-то мне так не жаль, как тебя, Гришут-

ка! — скажет вдруг попович, вспомнив о близком своем отъезде.

— Да, дурно мне без тебя будет, — глухо ответит Гришутка и затихнет.

Замолчит и попович.

— Вот, — начинает он, погодя, — если бы ты умела по-скарописному читать, я бы тебе из города письмо прислал... Да не умеешь...

— Нужды нет, что не умею, — говорит Гришка, — а ты все-таки напиши письмо: я покучусь твоему бате, — он мне и прочитает.

— А ведь, и то правда: батюшка тебе прочитает!.. Погоди, как приеду я тем годом на vacation, много, мно-го я с собой белых, хороших листов бумаги привезу! Тогда вот и писать тебя выучу....

— Выучи. Мне больно хочется писать!.. Maybe, коли я побольше-то вырасту, я отселе в пустыню уйду, — в пещерах буду жить, как жили святые... Ну, выходит, там, в пещерах-то, письмо мне и понадобится...

Проговорит он это и смолкнет, а попович:

— Кто тебе, Гриша, без меня истории будет рассказывать? — спрашивает. — Наши сельские парнишки не знают историй.

— Где им? И большие-то поди, не знают, — отвечает Гришутка и глубоко вздыхает.

Попович не вытерпит.

— Смерть жалко тебя, Гришка!..

— Расскажи-ка, Вася, опять про царевича-то того, Асафа, что ты онамедни про которого мне рассказывал, — говорит Гришка. — Maybe, я уж в останные про него слушаю?..

Попович начинает рассказывать про младого царевича Иосафия, как тот покидал свое царство, палаты белокаменные, казну золотую и уходил от юности своей прелестной в пустыню, и как он просит ее, мать прекрасную пустыню, чтобы она приняла его, младого царевича, и научила творить волю Божию и разверзла пред ним врата райские. Слушает Гришка и не наслушается дивной повести: люб ему этот молодой царевич Иосафий, и мила эта «мать пустыня, прекрасная раиня».

— Рассказывай, Вася, рассказывай! — молящим голосом просит Гришка, когда рассказчик ненадолго приостанавливался,

Сам батюшка, успевши порядком выспаться, выйдет этак перед зорькою на двор и к немалому своему удивлению услышит, что на сеновале еще разговаривают. Стоит на крыльце поп, послушает и промолвит:

— Изумительно, что отроки доселе бодрствуют!.. А, ведь, уже свет близко, — вон на востоке полоски заались... Ах, дети, дети! — прибавит батюшка, покачавши длинными своими космами, и пойдет часик-другой еще соснуть.

Настал день отъезда. Сколько ребятишек собралось перед окнами поповского дома! Сколько заплаканных лиц и личиков кругом глядели! А как плакал Васютка, прощаясь с матерью и сестрами, — просто рекой разливался! Гришка, весь побелевший, стоял около поповен и с немой горестью смотрел на своего уезжавшего товарища.

— Ну, довольно вам, будет! — проговорил громко батюшка с телеги, на которой он давно уже сидел и угрюмо так, точно бы сердясь на что, перебирал веревочными вожжами. — Василий, садись!.. А вы, мать и дети, ступайте домой и помолитесь господу, чтобы он, владыко и царь наш всемилостивый, помог мне поскорее в городе разделаться и благополучно сына в первый класс сдать... Перестаньте же малодушествовать, стыдно!.. Садись, брат, Василий!

Когда попович взобрался на телегу и сел, батюшка осмотрелся кругом, вздохнул и сказал:

— Теперь, кажется, все готово, ничего мы с тобою, Василий, не забыли?.. — и, наклонивши вниз голову, он заглянул под телегу, словно ища, не осталось ли там чего еще забытым.

— Родимый мой! Сыночек ты мой ненаглядный!..

— Да полно тебе, мать, дурить! — строго произнес батюшка, быстро поднимая голову и круто поворачиваясь к попадье, которая вскочила уж на колесо и, обливаясь вся слезами, спешила в последний раз прижать к своей рыдающей груди черноволосую голову сына. — Сказал тебе: не малодушествоуй!.. Ну, господи, благослови! — прибавил батюшка, снимая свою высокую и с длинными ушами шляпу, и начал креститься на сельскую церковь.

Гришутка, попрежнему стоявший белее полотна, тоже сдернул с головы шалчонку и наскоро закрестился.

— Прощайте, дети! Прощай, мать! — говорил поп. — Не забудьте же: молитесь, больше молитесь!.. Но, но!.. —

трогая вожжами, нешибко прикрикнул на меринка батюшка:— пошел с Богом!..

Телега тронулась. Раздались вопли и рыдания...

— Батюшка! — закричал Гришка и бросился за телегою. — Ост... остановись!..

— Что-о-о? Или позабыли что с собою захватить? — осаживая лошадь и оглядываясь назад, окликнул поп. — Тебе что нужно, чадо? — обратился он к уцепившемуся за телегу Гришутке и голос его зазвучал опять строгостью.

— Посади меня... Я... провожу Васю! — едва вымолвил Гришка.

Батюшка смягчился.

— Да это твой приятель? Кажется, Григорий... Ну, что же, садись, братец, ежели у тебя есть доброе желание проводить своего товарища. Это с твоей стороны чувство очень похвальное, и я вполне за него одобряю тебя, малыш!.. А вы — помните мой наказ, — крикнул поп семейным: — молитесь, молитесь!.. Но, гнедко, трогай!.. Помоги мне, боже!..

Телега застучала.

— Попадья, дети, молитесь! — снова раздался из-за стука телеги голос священника, еще раз обернувшегося назад. — Молитесь!..

Тут все бабы и ребятишки видели, как поповский сын и Гришка, крепко обхватили друг друга руками, проехали через все село с улыбающимися сквозь слезы лицами; а сам батюшка величественно сидел в телеге на большой вязанке сена, держа в руках вожжи, и то-и-дело, что покрикивал на мерина:

— Но, но, гнедко! Не ленись, пошевеливайся!.. В город едем, молодого хозяина в науку везем... Слышишь? Выучится — попом он у нас будет. Д-да... Поваливай, милый, поваливай! Но-о!..

А ребятишки сидели молча, не спуская один с другого глаз, и плотно жались друг к другу.

Выехав за околицу и проехав версты две, батюшка остановил лошадь и сказал:

— Ну, жаль мне вас, дети, а помочь ничем не могу! Слезай, мальчик, ато далеко от села отобьешься!.. Ах, дети, дети!.. О, Господи, владыко всемилостивый!..

И так, рассказывал после дома батюшка, отроки тут жалостно распустились, что даже он сам чуть не расслабался, как малое дитя, глядя на товарищей. А когда он

тронул вожжами и оглянулся, то Гришутка, стоя несколько времени на одном месте и провожая телегу глазами, вдруг всплеснул руками и снопом повалился на землю, крепко припав лицом к высохшей траве...

Один теперь остался Гришка, один... Что ему теперь без поповича делать в родном селе?.. Зачем он туда пойдет?

### III

Уехал попович, и вскоре после отъезда его в селе у нас заговорили, что будто бы с Максимовым сыном какая-то беда стряслась; Гришка с чего-то начал худеть, на всех глядел так чудно и ни с кем почти слова не говорил. Редко по тем временам кто видал Гришку на улице, — постоянно встречали его где-нибудь за селом; точно тень бродит Гришка один-одинешенек, понуривши голову, около леса или сидит на отвесном берегу реки и подолгу, не отрываясь, смотрит на ее, сверкающую золотыми искрами, поверхность... Но чаще всего Гришку замечали на большой дороге, где он расстался с поповским сыном: идет мальчуган по этой дороге, волосы у него на голове растрепались, глаза тоскливо уставились куда-то вдаль, — идет и этак тихо губами шевелит, точно говорит что.

Как мы, будучи неразумными детьми, всегда прятались от Безоброчного и не могли без страха на него взглянуть, так и в ту пору товарищи сторонились от Гришки и таинственно между собою переговаривались.

— Глядитко-те, парнишки, ровно он помешанный ходит!.. Да о чем это он все шепчет?.. Оказия, что у нас с Гришуткой сделалось!

— По Васютке, должно, все тужит, — догадывался кто пошмысленнее из ребят: — тяжело Гришонке без поповича, ну, вот он завсе и убивается по нем.

— Полно врать-то, — перебивал один балбес, сынок Парамона Иваныча: — чего ему по Ваське убиваться? Чай, тот не помер! Нет, мой отец вон что бает: «ты», бает, «не водись с Максимовым сыном, — Гришка его», бает, «зараза, чума синбирская». Вот что мой отец бает; а мой отец — мужик богатый, его надо всем слушаться!

Если Парамонову сыну немногие верили, что Гришка «чума синбирская», то все ребятенки были того мнения,

что он сделался каким-то «чудным» и что следует им по-  
дальше от него быть.

Взрослые, когда на беседе разговор заходил о Макси-  
мовом сыне, качали головами и как-то особенно между  
собою переглядывались.

— Плохо Максимово дело... Тут... не больно хвали,  
коли эдак-то... дальше пойдет,— глубокомысленно рас-  
суждали в праздники, на досуге, сѣльские мужики. — Тут  
что-нито, да не спроста...

— А то нешь спроста? Какже!.. Так, даром, нешь кто  
заблажит?.. И, ведь, хоть бы большой человек, ато, —  
накось, — кроха такая и юродивничает! Где это видано?..  
Беспременно с ветру на него что-нибудь напущено...

— Я так по себе теперича полагаю, — умствовал тут  
один мужик: Гришка занятен был к грамоте, — много с  
поповичем они всяких книг произошли... Може, как сгупа-  
то не ударились они в черную магею? Я слышал, повреж-  
денье ума у человека от черной магеи бывает...

— Ну, уж ты, Гаврилыч того... словно бы это... ты на  
дело не похоже толкуешь, — сомневались даже те из слу-  
шавших, которые сами разделяли мнение о допущении  
с ветру. — Потому как, по-твоему, выходит тут волшеб-  
ство?.. Ну, а сам посуди, какие ребятишки колдуны? Нет,  
с ветру — другое дело: лихие люди на девуку либо на  
парня напустили, а попал Гришка...

— Чего на свете не бывает, — шамкая, говорила на  
это одна старуха: — нечистый силен!

— Верное твое слово, баушка, — ухватился за древ-  
нюю бабку Гаврилыч. — Слышали? Вы, ежели не мне, —  
старушке божьей поверьте: она не скажет облыжно, — де-  
вятый десяток не даром тоже на свете маячит! А я гово-  
рю, как перед истинным господом, — мне лгать не прихо-  
дится, — у меня свои дети!..

Затем Гаврилыч с великим жаром принимался всех  
уверять, что если Гришка еще не совсем колдун, то уж, —  
не сойти ему, Гаврилычу, с места, — он «порченный», и  
что самое лучшее средство вылечить Гришку от колдов-  
ства, пока не особенно ушло время, — отчитывать его  
шесть недель по два раза на день, и каждую утреннюю  
зарю к курам под нашесть сажать, — как рукой снимет,  
заверял.

Много тоже сам Гаврилыч разумел: сольет какую пу-  
лю, — все бабы со смеху покатытся!



— Выдумает человек! — весело подхватывали на беседе: — Под нашесть малого сажать! Ха-ха-ха!.. Жаль, что Максима здесь не случилось...

— Я и Максиму такой совет бы подал... Только он мужик озорноватый, — не поймет своей пользы... обругает!

Хотя раз за день да сказал Гаврилыч правду: Максим был мужик характера строптивного и никогда не терпел глупых разговоров, а пуще — хвастовства и важничанья богатых мужиков. Таких советчиков и советниц, как Гаврилыч и ему подобные, он после двух-трех слов ловко умел из избы выпроваживать.

— Не суйтесь не в свое дело, — говаривал Максим вдогонку советчикам, быстро вылетавшим на улицу, и крепко прихлопывал за ними дверь. — На-ко, пришли отца учить! Своди, говорят, сына к ворожее, на него, вишь, злой человек черную немочь напустил! Народец!.. Небось, как в прошлом году у меня овин с хлебом сгорел, так никто глазом не заглянул и не полюбобытствовал: что мол, ты, Максим, имеешь теперь, чай, нужду в хлебушке? Возьми у нас, ссудим тебя на время, — поправляйся с нашей легкой руки, с богом!.. А дурацкие советы давать вы мастера, благо ни у кого они не куплены: у всех с излишком завсегда этого добра... Эх, люди-человечки!.. Жена!

— Что тебе надо?

— Гришка не вернулся ко дворам?

— Ох, нету-ти.

— Ну, нет так и нет, а о чем вздыхать-то? Глупая баба! Ты смотри у меня, не вздумай парнишке наговаривать, что он порченный. Сохрани тебя бог... Изругаю!

— А ну, как детища-то наше и взаправду поврежден?

— Дура! возьми ты себе в голову и пойми, что сколь горько, не токма робенку, — взрослому, когда он с близким себе человеком расстанется. А у робенка, если он только в разуме да с добрым сердцем, пуще от таких случаев печаль бывает, потому он на то и дите чистое, что никакой еще злобы у него против людей нету, — жил он на свете мало! Вот уехал попович, — Гришонка наш и затссковал: любили они крепко друг дружку и дня один без другого порозь не проводили. Какая же тут порча? Поныла, что я тебе говорю?

— Как не понять, — словечушка мимо уха не пропустила, все слышала... Только мне, Иваныч, сдается, что у не-

го, голубчика моего белого, рассудочек-то будто немножко эдак помутился...

— А поняла! Эх ты... Говорить с тобой, что в худое решето воду лить, — ничего не удержится!..

В селе, однако, насчет Максимова сына так умные люди порешили, что Гришка «испорчен» и вряд ли уж когда он настоящим человеком сделается: «потому», говорили, «на семи ветрах порча эта была на него напущена и от нее до самой смерти избавиться невозможно». Находились добрые люди, которые от всей души жалели мальчугана:

— Ну-тка, ну-тка, с эдаким-то малышом и что у нас попритчилось: злой дух в него поселился! Экие по нынешним временам страсти в миру пошли! Спаси и помилуй нас грешных, мать владычица, пресвятая богородица!

Тут-то, рассказывали, Парамон Иванов злорадствовал.

— Не говорил я: от Максимова сынишки, что от козла молока, проку нельзя ожидать? Не по-моему вышло? Вот вам и грамотник ваш хваленый! Полоумного, дурачка какого-то в первейшие умники произвели! Хо-хо-хо-о!.. Ну! уморят они меня, ей-богу, уморят! Гришка, Максимова отродье, умнеющая голова, великого смысла человек и первостатейный начетчик!.. Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!.. Да его надо для безопасности на цепь бы посадить, ато одного и жди, — на всех набрасываться почнет... Вот и грамотная, умная голова!.. Хо-хо-хо!..

— Оно это точно, Парамон Иваныч, миру следовало бы Максимова сына на веревку привязать, — выражал свое мнение и многоумный Гаврилыч: — для народа бы спокойствие да и малому польза: може, всю магею бы он вылаял, сидючи-то на железной цепи али на веревке.

А тот, которого предполагали на железную цепь посадить, как лютую собаку, бродит в то самое время за околицей и вслух говорит:

— Пустыня, моя пустыня, прекрасная мать раиня! Возьми, ты, пустыня, меня к себе и спрячь от злых людей. Васенька, товарищ ты мой милый! Где ты? Пошто ты оставил Гришку одного? Тошно мне без тебя, пропаду я один... Убегу, убегу я отсюда в пещеры! Зачем я стану жить на миру?.. Ах, пустыня — прекрасная раиня!.. Ва-ася!!

Убрались мужики с летними работами: весь хлеб с поля свезли и обмолотили. Дни, заметно, стали короче, солнышко показывалось реже, небо, еще недавно голубое и ласковое, с утра покрывалось сплошными и серыми облаками; поля кругом пожелтели, с деревьев всюду с шумом опадали красные листья, дятел звонко долбил загнивавшие стволы елей и сосен в лесу. Чаще лил дождь и завывал холодный ветер... К югу длинными вереницами тянулись журавли...

Наступила осень, холодная, неприветливая осень... Но не скуку и томящую тоску, как то зачастую бывает в городах, приносит к нам с собою в село осень, когда господь бог за лето хороший урожай пошлет, а сладкий отдых для мужичков и веселые посиделки для парней и девок. Тут же и ярмарка к Покрову подоспеет: все товаров, обнов себе закупать пойдут... Ах, ежели бы купцы поменьше простой народ надували, да каждый год хлебец у нас волю родился, да еще между нами самими любовь и совет всегда были по селам и деревням — куда! — не в пример бы легче жизнь пошла!..

Наехали к нам на покров купцы с товарами, раскрыли лавки, и народ из всех краев повалил к нам за покупками. К немалому удивлению на ярмарку вышел и наш «порченный». Смотрят: ничего, как ни в чем не бывало, малый гуляет и на картины любит, что офеня развесил по церковной ограде. Глазам не верили, чтобы то Максимов сын был: Гришка давно на цепи сидит, разблаговестил по селу Гаврилыч. Как же! Гаврилыч сам отцу и совет такой подал: «Упряма Максим, долго не хотел слушать, но под конец видит, что добра ему люди желают, вздохнул тяжело, перекрестился и пошел за веревкою — Гришку-то это привязывать»... То есть, без всякого зазрения врал этот Гаврилыч!.. Пристально все глядели на мальчугана: а что как он вдруг лаять начнет или кусаться станет? Может, он только притворяется смиренным?.. А тут батюшка-священник в рядах показался и, заметив Гришутку, к себе его позвал. Гришутка прямо под благословение к попу.

— Во имя отца и сына... — крестил батюшка. — А мне, мальчуган, надо тебе поклон от товарища передать. Василий, мой сын, велел тебе кланяться...

Гришутка весь так и встрепенулся.

— Что он, батюшка, как там может, все ли здоров? — спрашивает.

— Благодарение всевышнему! Василий жив и здоров, и в науках успехи оказывает весьма изрядные: третьим учеником в классе идет... Д-да, я и запомнил было совсем: к тебе от Василия письмо есть.

— Есть? — обрадовался Гришка. — Не забыл, значит... С тобой оно, батюшка? Ну-ка, почитай мне его...

— Нет, чадо; письмо у меня на-дому осталось. Приходи ныне ко мне, я тебе там и прочитаю его.

Наводили-таки усердно православные ухо, ожидая в этом разговоре от Гришки безумные слова услышать; но, прослушавши все до конца и не дождавшись никакого с его стороны полоумства, многие тут же сейчас такое свое мнение положили:

— А все-таки он не в своем уме: заметили, как у него глазенки-то бегают?

— Еще бы! Точь-в-точь как у Феклушки сумасшедшей, что в позапрошлом году умерла!

— Верно!

Много Гришке радости доставило письмо товарища. Выучил он его все до слова наизусть и часто, слышали, читал про себя вслух: идет ли он куда или сидит где, и вот сперва у него по всему лицу светлая такая улыбка пройдет, а потом и заговорит:

— «Дражайший мой друг и товарищ», — вот как меня называет! — «Уведомляю тебя о себе, что я, слава богу, здоров, чего и тебе также желаю. В училище я хожу по два раза в день и учится нас, мальчиков, в училище этом очень много: есть и маленькие, как мы с тобою, есть и большие, — таких больше, пожалуй, чем маленьких. У нас в классе есть один ученик, по фамилии Крестовоздвиженский... — Экое прозвище, насилу выговоришь!.. — «Ростом он будет с моего батюшку, и все он в одном классе, у самой двери сидит. Над ним у нас все смеются, а учителя зовут его азинусом, — это по-латыни, а по-русски значит осел. Но мне его жаль... Наказывают у нас каждый день, — все розгами секут и очень больно секут... Часто я здесь вспоминаю тебя, Гриша!..» — Добрый Васенька!.. — «Что ты теперь делаешь, с кем водишься?.. Хоть бы поскорее лето пришло, приехал батюшка взял меня с собою и мы опять бы вместе с тобой гуляли... Помнишь, как мы с тобою тогда в лесу птичек слушали?..»

— Ну, не дурак, не полоумный он? — указывал всем на Гришку Парамон Иванов, когда удавалось ему застать того читающим наизусть письмо попovichа.

— «Ах, словно и не дожدهшься, когда я опять в наше Егорьевское попаду!.. Прощай!.. Написал бы еще, да некогда: урок надо готовить из греческого — труден уж очень этот язык, Гриша!.. Жди меня на лето, непременно приеду! Прощай, Гриша! Остаюсь любящий тебя друг, Василий Марсов, третий ученик первого класса».

Гришутка задумывается, снова улыбка пройдет по его лицу и он шепчет:

— Приедет... «Любящий друг, Василий Марсов»... Марсов — это его прозвище!.. «Любящий друг», — вслух продолжает Гришутка.— Любящий друг, Василий Марсов! — смелее и громче говорит. — Марсов! — кричит уже мальчуган. — Василий Марсов!..

— Что ты орешь-то? Блажной! — осаживают его со стороны. — Ну, долго ли до греха! человека испужаешь!.. Полоумный!..

Не видали, как вслед за ярмаркою подкатила к нам зима и покрыла кругом все чистым снегом, точно бы какой ризой серебряною, унизанною бесчисленным множеством драгоценных камней... По таким временам куда как прекрасно бы сидеть в теплой избе и глядеть сквозь окошко на поле, особенно когда денек выдастся солнечный: так вокруг и блестит, так и сверкает на полях, даже глазу становится больно смотреть. Но как только установится дорожка, бог даст зимний путь, мужички уж и катят во всю рысь на санях за дровами. Вместе с отцом стал ездить в лес и Гришка: Максим накладывает воз, а сынишка от него не отстает: тоже таскает поленья на дровни.

— Будет тебе, Гриша, — говорит Максим: — поди, измаялся, отдохнуть хочешь? Присядь, а я без тебя докладау...

— Нет, батя, я еще не устал, — отвечает мальчуган. — Мне хочется помочь тебе, ты не останавливай меня! На-ка вот тебе какое поленцо!..

Отец усмехается.

— А ты у меня молодец! — похвалит он сына, весело на него взглянув. — Добрый из тебя крестьянин выйдет!..

Дома опять Гришка во всем отцу помогает: и скотине корму задаст, и сбрую лошадиную починит и, словом, все сделает, что по крестьянству надобно, и что по силам

ему, малому. Утром Максим еще спит, а Гришка в одной овчинной шубенке нараспашку и валеных сапогах, без шапки едет уж за водою; сам налет полный ушат и возвращается домой с разругавшимися щеками, дую себе в замерзшие ручонки.

— Свежо ноне на дворе, — говорит он, внося с собою в избу стужу и кладя руки на печку.

— Али уж ты успел там побывать? — спрашивает отец.

— Да, я по водицу ездил!.. Матушка, тебе принести дровец?

И Гришка, не дожидаясь ответа, бежит уж за дровами.

— О-ох, грехи наши, грехи!.. — широко зевая и потягиваясь со сна, говорит мать Гришки.

— Чему ты? — промолвит Максим.

— Так... Нешь и вздыхать, по-твоему, нельзя о своих грехах? Ведь, мы тоже, чай, божьи, — не мало на душе всяких делов дурных накопилось!..

— Да не о грехах ты вздыхаешь: все дурь у тебя в голове ходит!

— Не всем же быть такими умными, как ты, — отвечает жена: — где его взять, ума-то, коли бог не дал?.. Поживем и дураками, — слава богу, не одни умные на свете живут!.. Эх, Максим, Максим!.. Помяни ты мое слово, что с нашим малым лихая беда стряслась: где видано, чтобы десятигодовалый ребенок, да большим был? Нешь у Гришонки робячий разум?.. Не даром, ведь, на селе чуть не в колокола трезвонят, что он у нас немножко попорченный, головой тронут...

— Так, так!.. Ведомое дело: на Гришутку с семи ветров напущено!.. Испорчен!..

— Ай, не говори ты этого! Ай, спокаешься! Ведь, Гринька-то — детище нам родное... Какие ты слова говоришь? Оте-ец!

Баба вдруг начала всхлипать.

— Ну!.. Теперь пошла машина... Дело сказано: с дураками пива не сварить, — утешает жену Максим.

— Ну, я дура, дура!.. Я и останусь душой... я не лезу в умные, — блажит неугомонная баба. — А ты вот, умник-то, много ли чего себе нажил!.. Двенадцать-то годов живучи с тобою, много ли я светлых-то дней знавала? Опрочь нужды одной да черного хлеба, я ничего от тебя не видала: ни цветного платья у меня, ни лакомого куса, — ничего в цельную жизнь не бывало!.. И за все от тебя

только одно: дура, да дура... А дураки-то вон как живут — припеваючи! Господи, хоша бы денек один так пожила, как жена Парамона Иванова!.. А тут — на-ка! — и останного сына сгубить хочет...

— Баба, замолчи!..

— Нечего мне молчать-то! Будет... намолчалась я век-то свой вечинский... Я мать,— добра хочу своему детищу.

— Мамка! — подает голос с лавки девчушка: — на улице девчонки вон что бают: Гришка-то ваш, говорят, дурачок, полоумный! Мы, бают, его боимся; он, того гляди, бросится на кого да укусит...

Максим стоит уже по середине избы и сам в лице меняется.

— Ну, что, закажешь ты это всем говорить? — обращается к нему жена. — Нет, на чужой роток не накинешь платок!..

— Баба! Да перестанешь ли ты? — гремит Максим, а у самого лицо все белое. — Дура!.. Ежели ты еще хоть слово одно...

Дверь отворилась и на пороге показался Гришутка с вязанкой дров...

— Батя, что у тебя даве с мамой было? — спрашивал он после, когда оставался с отцом вдвоем: — ты весь бе-елый стоял, и глаза у тебя страшные были, а у матушки слезы...

— Ничего не было, Гриша. Надо тебе по правде сказать: дурковата твоя мать, сплетен разных бабьих слушает...

— А ты, батя, с мамой не бранись: грех браниться, надо жить в мире, — со всеми в мире!..

Отец глядит на сына, гладит его своей мозолистой жесткой рукою по голове и, словно про себя, говорит:

— Гриша, Гриша!.. Больно ты сердечен, мой голубь... На миру с лядьми жить — не то надобно... Эх, каким-то талантом тебя бог благословил?..

## V

Прошло семь лет. Много, как говорится, воды утекло за эти семь лет. Жизнь шла своим заведенным порядком и тихо, почти незаметно, как большая и спокойная река ка-

тит свои могучие воды, уносила с собою куда-то далеко, далеко наши небольшие радости и не трогал лишь несчастий людских и горя, как бы давая этим знать, что не совершенно же все она отнимает у человека, но и оставляет ему по себе крепкую память... Да, жизнь идет! И чем, кажется, незаметнее она идет, тем скорее и быстрее совершается ее таинственное шествие. Плохо тому человеку, который ни разу не останавливался мыслью над этой великой рекою, жизнью, и не сделал ничего истинно-прекрасного, за что помянули бы его добром все простые люди!..

Много за семь годов в селе у нас перемен разных произошло и дел всяких случилось. Если взглянуть на наше Егорьевское, то кажется — и происходить-то тут бы нечему: люди весь свой век изо дня в день работают до кровавого поту, платят оброк и несут повинности, едят, что бог послал, спят — и только... Ну, разве это жизнь?... А между тем, на деле-то, если заглянуть поглубже да подумать, то и тут есть жизнь, да еще какая жизнь-то! Сердце содрогается и кровь в жилах стынет... Начать хоть с того, что нашего батюшку-священника из Егорьевского в монастырь перевели: у него на втором году школьной жизни помер сын в городе, и он так смертью его был огорчен, что запил и три года по селу «за уши медведя водил»... Дошло, конечно, дело до начальства: батюшку и наказали, — в монастырь на покаяние услали... Гришка, рассказывали, как услышал о смерти попovichа, пропал, и две недели о нем никакого слуха не было: одни говорили, что он убежал в город, чтобы в последний раз взглянуть на своего умершего товарища и проводить его до сырой могилы; но большинство и, в особенности, Парамон Иванов, готовы были даже присягнуть, что Гришка в то время безвыходно жил в лесу и кричал филином: «Сколько народу крещеного, полумный, перепужал, страсть!» — говорили. А когда он явился в село, то на первых порах не только ребятишки, но и большие опасались поодиночке на улицу выходить: боялись, чтоб он после своего выкрикивания-то в лесу филином, не перегрыз на селе всех до единого.

Однако скоро все убедились в том, что Гришка вовсе не страшен и бояться его не следует: он стал еще смиреннее, чем, был, и глядел на всех так печально, что бабы по своему мягкосердечию не могли удержаться, чтобы не сказать:



— Владычица! да что это у паренки-то за взгляд разжалостливый! Ровно он, сердешный, к смерти приговорен.

— Полоумный, потому и глядит так, — объяснили им мужа.

Но этот «жалостный взгляд» так и остался навсегда у Гришки.

На самого Максима столько бед разных обрушилось, что — и господи! — как только человек все перенести на себе мог? То у него последнюю лошаденку со двора свели, то коровушка пала, то изба сгорела, — да всех бед и не перечесть, сколько с мужиком стряслось!.. Но Максим все перенес и выстоял.

— Крепкий мужик, — говорили о нем на селе: — идрав у него строптивный, потому и петли на себя не накинул, жив остался.

За Гришутку своего Максим горой стоял, и с Парамоним Ивановым резался не на живот, а на смерть. Когда сын в бегах находился, то есть был в городе на похоронах товарища, Парамон Иванов так радовался, что раз при всех на беседе вздумал посмеяться над отцом.

— Слышно, Максим, — завел он речь, — твой-то сынок в странствие пустился?..

— От тебя впервой слышу, — отвечал Максим, и сам глядит прямо так в глаза богатому мужику. — Это ты что же, Парамон, своего ума выдумку сказал, али сообща с Гаврилычем пустили, как вы допрежде по селу о полоумстве моего паренки рассказывали? Вы ведь оба на это мастера: супротив вас, полагаю, по всей России не сыщешь человека, который бы умел так врать, как ты с Гаврилычем.

На беседе слушают и никто — ни гу-гу. У Парамона нижнюю губу подергивает, но он удерживается и старается принять на себя спокойный вид. Только Гаврилыч, когда услышал свое имя, пересел с прежнего своего места на другое, подальше, и совсем пропал за спиною одной широкоплечей бабы.

— Врать мне пока нет надобности, — говорит Парамон: — слава богу, при моих достатках я могу и без вранья прожить век. Но ежели я тебя спросил о сыне, так единственно лишь потому, что хотел узнать, правду или нет на селе у нас толкуют. Может, рассуждал я, Гришка не клад ли какой пошел где отыскивать: оно, при вашей

бедности-то, очень бы к пользе найти кадушку с рублеви-ками... Что ж, давай бог всякому!

— На этом благодарю покорно тебя, — не отстает в свою очередь Максим. — Ну, а ты, все-таки, скажи мне по чистой совести, — хоша, по правде, у тебя этой совести ни на копейку медную нет, — скажи, Парамон, будь друг, поскольку ты платишь Гаврилычу, чтобы он всякие твои паскудства на чужих детей разносил по добрым людям? Али ты еще с него за это что дополучаешь?.. Пожалуй, чего доброго, Гаврилыч по своей глупости тебе отдаст последние свои животы.

Гаврилыч при словах Парамона высунул было свою бородажку; но как только заговорил Максим, он снова весь за бабу ушел и притаился.

А Парамон позеленел, от злости трясется и, задыхаясь, говорит:

— Мне с тобой, Максим, и говорить не следует... так, значит, как я имею капитал, а ты немногим чем от последнего нищего разнишься, то лучше разговор нам этот прекратить...

— И никогда я тебе, Парамон, в другой раз не посоветую такие разговоры со мной заводить, — режет неугомонный Максим. — А что ты насчет своего богатства все толкуешь, так мне на него ровно наплевать: денег просить я к тебе не пойду, хлеба занимать тоже не стану... К чему же твоя речь о капиталах?.. Я беден, — слов про то нет, — может, беднее другого человека в селе у нас и не сыщешь... Да зато, Парамон, я все один на своих плечах выношу, оброк помещику за целое тягло плачу, подушные — тоже за две души, и недоимок за мной не состоит, всегда я чист. Что ж ты хотел меня бедностью моей уколоть? Так ты, Парамон, ошибся на этот счет. Давай мне во сто раз больше, чем скольким ты владеешь, да только скажи: возьми, мол, в придачу еще душу и совесть Парамона, — я бы от всякого богатства отказался и скорей помиру с сумой пошел, чем согласился твою совесть иметь. Вот что, друг милый, Парамон Иваныч!..

У всех на беседе души в пятки уходили, как Максим этого Парамона Иванова пробирал.

— Как такого богача и он с грязью смешал! — недоумевали мужики. — Хуже он его всякого мошенника поставил. Экой мужик озорной этот Максим!

— Ну, да Парамон его достанет, уж достанет!

Действительно, на что только Парамон Иванов не подымался, чтобы зло Максиму сделать!.. А Максим только одно говорил:

— Увидим, увидим, кто пересилит! Еще это неизвестно, кто поборет кого... Главное — вольный дух завсегда надо иметь... Он своим богатством, а я правдою... За Гришку моего я тоже постою, по-остою! Не дам я мальчишку в обиду. Подожди маленько, Парамон Иваныч!.. Поборемся.

Через несколько времени, рассказывали, в село приехал от нашего барина управляющий и сменил бурмистра. На место сменного управляющий назначил бурмистром Парамона Иванова.

— Этот мужик богатый. Он станет блюсти интересы своего господина, — сказал управляющий. — А в случае чего, — с Парамона и взыскать есть что.

Так вот, к концу-то седьмого года, какая большая перемена у нас случилась: Парамон Иванов сделался выше всех и столь возвеличился, что до него никому рукою не достать, а Максим...

— Заест, заест теперича Максима бурмистр, — заговорило в один голос все село. — Не даст он ему теперича никакого вздыха...

— Да, одно Максиму приходится: ложись живой в гроб и зарывайся в землю!..

А сам Максим несколько не унывал и, потряхивая только головою и сдвигая плечьями, не переставал говорить:

— Увидим!.. Новый бурмистр... Парамон Иваныч... знаем мы вашу милость!.. Поборемся, пока еще руки не отсохли да голова на плечах цела, — постоим за себя... Только вот за кого мне страшно: Гришутку он мово, боюсь, как бы не смял... Хорошо деревцо, да больно еще оно молодо: не устоит!.. Вот за кого у меня сердце падает... Ну, да еще там увидим. Посмотрим!.. Пословица говорит: «бог не выдаст, — свинья не съест»...

— Припади, припади скорее к ногам Парамона Иваныча! — советовал Максиму великий умник Гаврилыч. — Принеси ему повинную: прости, мол, благодетель, по глупости, смолоду тебе супротивничал... Максимушка, послушайся ты меня: Гаврилыч никому злых советов не подаст... Припади скорее к ногам Парамона: ей-богу, — по душе говорю, — простит он тебя!..

Никто не заметил, как в продолжение семи лет поднялся Гришка. Был все мальчишка, ничего себе незначущий, так полоумный какой-то, и вдруг, смотри-ка, настоящий парень стал, да какой парень: не было изо всего села красивее молодца, как Григорий; а что насчет роста и силы, то у нас и не привидывали, чтобы в восемнадцать годов где еще такой богатырь водился! Чудеса! И с чего все, подумаешь, взялось у Гришки? С измалых лет привыкли его видеть за работою, никогда он не знал, что за отдых такой сладкий бывает у добрых людей, изо всех сил вместе с отцом выбивался из нужды и каждый грош, каждый кусок хлеба брал себе с боя. Год за годом проходили в тяжелой работе, непрестанной колотне с бедностью и одних заботах... А нужда с заботою — кто из нас этого не знает? — не в пример хуже, чем всякая работа пригнетает да сушит человека. А Гришка, ни на что не глядя, все рос и поднимался, могучее становились его плечи, шире грудь, гуще и ярче выступал здоровый румянец на его свежих щеках и как-то смелее, веселее глядел взор его ласковых глаз...

Вот что значит молодость-то! Как там судьба-злодейка ни тешилась бы над человеком, как ни издевалась над его бесталанностью и какими звучными подзатыльниками ни награждала, — молодости все нипочем! — она и в ус себе не дует, знай идет вперед и, точно бы дикой конь на всем приволье необозримых зеленых степей, весело вскидывает головой да все больше набирается силами. Эх, золотое времечко!..

— Полегче, Гришуха, полегче! — шумит, бывало, Максим, гляючи на сына, как тот примется бороздить сохою полосу, взрывая на поларшина вглубь землю. — Эк, эк он ее, матушку, вздрал-то как! Н-ну, бороздка...

А Григорий, поналегши грудью на соху, знай себе изо всей мочи напирает да лишь изредка покрикивает на лошаденку, которая у него так-то ли бодро и легко выступает, как словно какая заезжая барыня с Москвы; пот ручьями сбегает по щекам молодого пахаря и частыми, крупными каплями падает на только что взрытую кормилицу-землю.

— Дотягивай, буланушка, дотягивай, родимый! — ободряет лошаденку Григорий. — Немного уж нам с то-

бою осталось сегодня поработать... Ну, веселей!.. И-их ты, конь, мой добрый!

Слушая эту речь и по-своему глубоко ценя хозяйскую ласку, добрый конь высоко поднимает свой хвост и начинает им как-то необыкновенно благодарно помахивать: много-де я доволен тобою, хозяин, и ты уж на меня крепко надейся, — заслужу вот как!

— Животина-то, вишь ты, что она знает! — смеется Максим. — Значит чувствует.

С соседних полос глядят и переговариваются.

— Ведь эдакие они у нас, отец-то с сыном, лешие, прости господи! Мало на них всяких бед, ничто их не берет: им и горюшка ни до чего нет!

— Да Максиму за всяко время должно бы плакаться на свою судьбу, не токма, чтобы о веселье думать, а он все грохочет... Кажись, можно бы понимать, — худо ли, хорошо ли обстроился с божьей помощью, избенку себе новую изладил и скотинкою, какой ни на есть, пообзавелся... Ну и надо бы ему жить со смиренством да в уничижении перед всеми добрыми людьми: оно, може, бог-то бы и лучше тогда...

— А то нешь не лучше? — откуда-то, чуть не с самого конца поля, доносился осторожный голос великого разумника Гаврилыча. — Сколько раз я ему говаривал: смирись, Максим! ой, загубишь свою душу!.. Сперва, будто, возьмет это себе в разум: «спасибо» скажет, «я ввек не забуду твоих умных слов, ты один всегда только меня на добро да на хорошее наставляешь»... Слава тебе господи! — думаю я и радуюсь всею душою за человека: мужик на истинный путь находит. Глядь, а он опять либо с Парамоном, либо с кем другим грызется!.. Ну, вот и жалей его, учи!

Благо Гаврилычу, что его умных речей Максим не слышал! Но что с того времени, как стал подрастать Гришутка, Максим потерял всякую чувствительность к разным невздам, — это истинная правда. Что бы там над его головою ни деялось, он всегда одно говорил:

— Ничего, не первая беда на голову. Тоже, благодаря создателя, видали этого добра, немало всякой дряни на своем веку вынес... Один справлялся, а теперь, с Гришухой-то, вдвоем, да не совладать? Бог милостив, как-нибудь да откозакаемся... Справимся!..

Перед тем как Парамону засесть в бурмистры, по две

зимы сряду Максим с сыном пускались в извоз и к весне были с деньжонками и семенами; по два года у нас был урожай, и Максим лишний хлеб в городе по хорошей цене продал.

После пожара выстроил он себе новую избу, да какую знатную избу! Две осени возили лес и только к весне второго года отделались начисто; плотникам, впрочем, не особенно много дела было, сруб только один срубили и поставили, ато все сами хозяева доделывали: и тесом покрыли, и всю избу взомшили, и печь склали... Нельзя сказать, чтобы самые хоромы уж очень высоки и обширны были, нет; новая изба Максима всего тремя окошками глядела на улицу да двумя на восполье. Зато ни у кого не смотрела изба так нарядно и весело, как у Максима: что за хитрая резьба украшала окошки, — просто загляденье! И как прекрасно разрисованы ставни: по светлоглоубому полю написаны цветы — да ведь что за цветы! — настоящие живые! Вся эта искусная работа оказалась делом рук одного Григорья. Но что больше хитрой резьбы и живописных ставней занимало любопытство взрослых и малолетков, так это — огненного цвета петух, которого Григорий посадил на самом коне своей новой избы, и петух этот с непостижимой тайною для простых умов мог верно показывать, откуда когда ветер дует!

— Замысловат малый, замысловат! — говорили мужики, глядя, как на Максимовой избе чудная эта птица во все стороны повертывалась. — Вот ты и поди, толкуй, что знаешь про Гришутку, а он какие дела мастерит!

— Да они, порченные-то, на все большие выдумщики!

Сам Максим, рассказывали, поставивши новую избу, поглядел вокруг себя так довольно и потом с улыбкою сказал сыну:

— Теперь надо женить тебя, Гриша. Назади у нас горница светлая, просторная, — есть куда молодайку привести. А? Хочешь, — женю?

— Не хочу, — отвечал сын.

— Не хочешь?! Как? А к девкам ластиться — твое дело? — шутил Максим. — Нет, парень, подожди, дай только лету пройти, а там я тебя, по осени-то, беспременно обкручу... Что тебе попусту баловаться...

— Ах, что ты говоришь! — всплеснулась жена, стоявшая у печки и до сего времени не сводившая умиленных

глаз то с белых и светящихся стен, то с чистого потолка. — При детище и что он городит!..

— Хорошо детище! — подхватил Максим, раскатываясь на всю новую избу таким громким и от самого сердца выходящим смехом, что в светлой избе стало как-то еще приветливее, еще светлее и радостнее. — Малый отца головой перерос, а она — детище!.. Ах, ты, Маланья, Маланья Сидоровна!.. Парню баба нужна, а она — детище!..

Тут и сама Маланья Сидоровна засмеялась, — давно она так не смеялась, как замуж вышла, — но тихо так засмеялась, словно боясь, что своим неуместным смехом она спугнет общую радость семьи, и та, на миг осветившая их своими радужными лучами, покинет новую избу и улетит далеко, за тридевять земель...

Если и теперь у нас девки с парнями любят повеселиться, то прежде, по рассказам, в десять раз больше молодежь веселилась. Как только, бывало, зазеленеются наши родные поля и станут убираться цветами луга, так в праздник молодые и повалят к реке и рассыплются по берегу. Игры, песни и хороводы весь день ни на минуту не прерываются; по домам тогда уже разве с луга расходятся, когда ночь настанет и на всем темном небе зажгутся большие яркие звезды.

Никогда у нас не видывали на этом лугу Григорья; а тут, в николин день, говорят, он вышел. Подошел к хороводу и остановился позади; но его тотчас увидели: высокий рост и красивое лицо всем бросились в глаза. Девки первые начали переглядываться между собою и перешептываться; ребята тоже заметили Григорья.

— Что ж, ступай с нами карыван<sup>1</sup> водить? — позвала его одна девка.

— А вот дай сперва послушать, — ответил Григорий.

Стоит он и слушает; а сам, как приметили девки, точно с мыслями или духом собирается. Песня кончилась, хоровод приостановился; ребята переговариваются, какую новую песню заводить. А Григорий, не промолвив слова, как вдруг затянет:

Что за травушка, за муравушка!

Все подняли головы, а девки так и впились глазами

<sup>1</sup> Карыван — хоровод, круг.

в Григорья: от роду никто из них не слыхивал подобного голоса!

Она день растет, ночь алеется...

пел Григорий, и голос его рос и ближе подходил к сердцу тех, кто слушал парня. Стихнул весь луг, затаил дыхание и слушает. Поет Григорий, грудь его высоко подымается, голубые глаза сияют каким-то особенным светом, и сам он стоит перед изумленным лугом совершенно иным человеком, каким его до сей поры видали. А песня льется, шире и могучее становятся звуки, западая в самую глубь души человеческой:

Не косцы траву косят,—  
Косят добры молодцы,  
Не гребцы траву гребут,—  
Гребут красны девицы...

Но тут голос певца дрогнул и лицо его побледнело.

Гребучи, они призадумались,  
Грабли бросили, горько плакали...

Когда Григорий вывел последнее, так, казалось, бесконечно долго и такую невыразимую печалью разносившееся по всему лугу «горько плакали», то несколько времени никто опомниться не мог...

Помню, помню и я эту чарующую силу нашей родной песни! Раздастся она, порою, в тихий час ночи, — и не уснешь от нее, бывало, до самого утра. Вот уж она и замолкла, унеслась куда-то с предутренним ветерком, а ты все еще не перестаешь слушать ее, все еще как будто звучит она, стонет и разливается горячими слезами...

Так и в тот раз: Григорий уж кончил, а на лугу еще слушали, ждали чего-то... А он — прямо в середину хоровода да как заведет:

Селезень по реченьке всплавливает,  
Свои сизы крылышки встряхивает;  
Молодец у девицы спрашивает:  
Скажи, скажи, девица, кто те мил во роду?

Случилось так, что на этот вопрос выступила из круга самая, что ни есть в селе, первая красавица и, вместо того чтобы отвечать, как следовало по песне, что ей мил родной батюшка, так-то ли, поднявши на парня глаза, задушевно ему пропела в ответ:



Мне мил-милешенек ты, молодец!

А хоровод, объятый неудержимой удалью и снова тронувшийся на месте, не заметил ошибки и громко одобрил такой ответ девицы:

Вот ты правду, девка, баешь,  
Вот ты речи говоришь!

— Братцы, да, ведь, мы не так поем! — спохватился один парень, когда уж песня окончилась. — Где же песня-то? Это конец!

— Ито: песня вся!... Как же это так вышло?

— Вот оказия-то!

Громко засмеялся хоровод.

А красавица, что обмолвилась словом и по чьей вине скомкали песню, стояла по середине круга, опустивши низко голову и стараясь скрыть яркий румянец, покрывавший ее щеки. Григорий только взглянул на нее, — и опять залился... Расходясь по домам, ребята говорили:

— Удивленье, что ноне с Григорьем сделалось! Завсе он от всех прятался, а сегодня — на-ко! — вышел и как расходился! Уму непостижимо!

— Да видно, как большаки-то у нас толкуют, порча эта не совсем из него вышла. Заприметили, как он молчал, молчал, да вдруг — «травушку»? Но поет лихо, дьявол!

— Да уж поет, — вмешивались в разговор девки: — не вам чета!

— Вот парень-то, так парень! Уродится же на свете эдакий пригожий, да приветливый молодец!

— А мы нешь чем хуже Гришки?

— Вы-то? Да уж далеко ему не родня.

— Дуры!

— Вы больно умны!

А красавица Груняша, вернувшись с хоровода, долго сидела у окошка и не спала до третьих петухов. Это видел собственными своими глазами Гаврилыч, а ему, известно, как не поверить, — человек самый правдивый.

— Пропала девка, — говорил он потом вздыхая: — теперича ей от Гришки не отстать, и-ни з-за что! Приворожил к себе девку, околдовал...

В ту же самую ночь доносился откуда-то голос Григорья:

Ты зоря моя, зорюшка вечерняя!  
Высоко ли ты взошла, звезда полуночная?

Это было вешним Николою, а спустя, видно, так с неделю времени, приехал в село управляющий и посадил в бурмистры Парамона Иванова...

Засел Парамон на почетный стул бурмистра. Какую важность он на себя напустил! И раньше Парамон высоко заносился, а тут никто уж к нему и не подступись, точно он стеной каменной себя от всех на пять верст обнес. Прежде хоть говорил со своим братом-мужиком, а теперь и слово молвить за низость большую для себя почитал: больше молчаньем да взглядами старался к себе уважение и страх внушить. Даже походка у нового бурмистра стала другая: выдет из ворот своего дома, заложивши руки назад, бороду задерет к небу и так, не торопясь, грудью выступает по сельской улице и ни на кого внимания не обращает. Говорят, бурмистр тогда очень на журавля походил, только легкости у него журавлиной в поступи не хватало.

А когда приходилось ему с миром говорить, — тут уж никак нельзя было не говорить, — то у мужиков от его речей затмение какое-то в головах делалось; ничего понять не могут. Только и слышат: «Я... как значит... в лице господина, как все равно, что сам помещик для вас... я...».

Чтобы поскорее эту надсаду и томленье для себя прекратить, мужики одним только и спаслись: крикнут «согласны!» и совсем одурелыми разбредутся по селу с мирской сходки.

Первым делом, благослови господи, новый бурмистр полтягла оброка на Максима прибавил.

— Мне, — сказал Парамон при целом сходе Максиму, — следовало бы полное тягло наложить, так как, выходит, у тебя сын теперича работник, и я, значит, имею на то полное свое право. Но чтобы добрые люди обо мне дурно не говорили, а ты сам господу на меня не жаловался, делаю тебе великое снисхождение: пускай на миру все знают, что Парамон Иваныч, хоша и взыскан за свой ум и богатство от помещика, в высокий сан произведен и в силе теперича находится большой, — милосерден к своим врагам и никому он не притеснитель!.. Ступай с богом, мужичок!

— Так, так, — говорили на миру: — бурмистр тепе-

рича сядет да и поедет на Максиме... Поделом ему: с сильным не борись, с богатым не тягайся!

— Известно! Что говорить!.. Однако как бурмистр все это явственно да толково ему насчет оброка выложил. Расчудесно!..

Екнуло тут сердце у Максима.

— Эх, Гришутка! — выговорил он, потряхнувши шапкою и в первый раз, может, уныло направляясь к своему новому дому. — Не надолго, видно, господь нам с тобою счастьецо-то это послал!.. Жисть!..

Но у себя дома, когда вернулся, и вида никакого не подал, что бурмистр его тяжко обидел.

— Зачем на сход звали? — спросил отца Григорий.

— Да так, за малым делом, — отвечал шутливо Максим: — оброчку на нас с тобой набавили.

— Много?

— Полтяглышка.

Маланья Сидоровна, всегда любившая послушать разговор отца с сыном, не преминула навострить ушко и, как заслышала про прибавку оброка, ту же минуту пожелала осведомиться:

— А сколько, Иваныч, с полтягла рублев-то будет?

— Не твое это дело, баба, — отвечал Максим: — для тебя все едино, рубль али десять.

— Одначе, все нелишне и мне знать.

— Тридцать рублей, матушка, — сказал Григорий.

— Ах, ах, ах! — подняла Маланья Сидоровна, — Ах, угодники христовы!.. Да где вы эдакую уйму достанете? Экой он кровопийца!.. Только было начали мало-мальски оправляться, а он, аспид, полтягла оброку наложил... Да накажи за это его, лиходея, тот батюшка великий мученик, что с багром сидит...

— Не мели пустого, баба, — осадил жену Максим. — Какого ты еще мученика с багром выдумала?

— Какого!.. Поди, ты сам не знаешь?.. А что на большой-то иконе написан, как взойдешь на церковную паперть: сидит он, угодник, один в уголышке, в правой ручке у него багорок этот, а на коленочках малого робятка держит... Такой он из себя, батюшка, гневный да страшный!..

— Дура!.. Разве это мученик?

— Ну, да, я уж знаю, от тебя кроме ничего не услышишь, как дура! — обиделась жена и побрела к печи. —

А я вот нарочно уже схожу, помолюсь ему, преподобному, да свечку поставлю! — пообещала Маланья Сидоровна.

Максим хотел было жене объяснить, но сын перебил его:

— Оставь, батюшка, сказал Григорий. — Так полтягла, ты говоришь, бурмистр наложил?.. Ничего, бог даст, справимся, — добавил он, немного помолчав, и с молодую, никогда Максимом невиданною, смелостью весело посмотрел в лицо удивленному отцу.

— А то нешь не справимся? — шумно отозвался Максим, поднятый чуть не к самому потолку взглядом и речью сына. — Н-нет, подожди, Парамон Иванович!.. Не поддадимся! Поборемся! Не пойдем к тебе в ноги кланяться, н-н-нет!.. Ты бы даве послушал, Гриша, как новый бурмистр передо мной свою важность показывал! Смех, головушка!.. Ну, да уж и зло же меня разбирало слушать его, как он, подлая душа, про добродетели свои почал вычитывать! Как я скрепился, и по сей час не знаю!

— А тебе бы, чай, сцепиться с ним хотелось?

— А ты почему знаешь?.. Угадал!.. Да я еще с ним поговорю, расчеты свои мы с ним подведем!.. Дай срок, откажемся!..

— Ну, уж ты лучше за это дело не берись, — сдержи себя. Я сам, может, с Парамоном разочтусь...

Глядит во все глаза Максим на сына. Что случилось с Григорьем — отец и в толк себе не может взять. Откуда у него вдруг эта удаля взялась? Где он смелости такой набрался?..

Не находит в своей голове ответа Максим.

Неделю Григорий работает, все у него в руках кипит и всякое дело спорится; а как наступит воскресенье, он и закатится на целый день, водит на лугу хороводы, гуляет и разве к полуночи домой воротится. А на другой день утром где проснется, всех раньше, — и опять за дело. Спокойный, веселый, работает он долгие летние дни и не знает себе никакой усталости.

— Что с ним сделалось? — недоумевает отец: — узнать нельзя парня!.. Дай-то бог, кабы он завсе так! Ато с его прежней кроткостью и безответностью — беда, ни за грош малый пропадет!.. Надо вольный дух иметь, и будешь молодец! — рассуждал вслух с собою Максим. — А без вольного духа не проживешь на свете... Невозможно! Измучат тебя, заживо источат... Тут либо

запьет человек, либо петлю на себя накинёт... Беспременно!..

Чьи-то тихие, но тяжелые вздохи прервали рассуждения Максима. Он повернул голову и увидел перед собою жену.

— Что ты?

— А я вот тебя все слушаю,— отвечала Маланья Сидоровна. — Ты это насчет детища?.. Глядеть, Иваныч, на него, голубчика белого, не опять ли это стало находить...

— А, ну, тебя! — махнул рукою Максим.

— Матушка! — заговорила только-что вбежавшая в избу дочь, которой тогда было годов пятнадцать. — Что я те скажу!

— Что, Паранюшка, что ты скажешь, касатушка?

— А вот что, — отвечала дочь, уставив на мать свои смеющиеся глаза: — больно на Григорья наши девки зарются!

Паранька ни с того, ни с сего прыснула.

— Чему ты дитятко?

Но вместо ответа Паранька совсем закатилась.

— Господи помилуй, — закрестилась мать. — Даровье ли уж это с тобою? Сотвори молитву, глупая!.. Что ты, неразумная, хохочешь?

— Да как же, — удерживаясь от смеху и закрываясь рукавом, через силу выговорила Паранька: — больно, ведь, смешно!.. Груняха-то, Петра Митрева девка... так... к нашему Гриньке и льнет, словно он приворожил ее к себе...

— Неуж вправду говоришь ты, дитятко? Ах ты, мать пресвятая богородица!..

— Все заприметили... А Микитка-то, бурмистров сын, как зли-и-тся!.. Он, вишь, Груняху-то за себя прочит замуж взять... В карыване Микитка норовит как бы все к ней подойти, а она от него, он к ней, а она от него, да от него, да все к нашему Гриньке, да все к нему липнет... Смеху, смеху промежду парнями и девками — страсть сколько!.. А Микитка злится, зли-и-тся!

— Не по себе Микита забирает, — не утерпел ввернуть Максим: — Аграфена — король-девка! Куда ж ему?.. Где?.. Одно слово — не по его рылу!

— Ах, да и нашему-то она, глядеть, тоже не подойдет, — со вздохом сказала жена. — Митрич, эдакой бога-

тей, нешь отдаст свою дочку за нашего? Да он и не подумает!

— А вот увидим... Подождем, — закидывая голову, горячился Максим. — Посмотрим уж, как с хлебушком-то мы уберемся: за Парамонова ли сына, али за нашего Митрич свою дочь отдаст? За Гришуху да не выдать, — так что же он, Митрич-то, без глаз, не видит, что ли, ничего?.. Да когда ж это бывало, чтобы человек от счастья своего отказывался! Уж это что-то чудно, право.

Хотя и куражил таким манером себя на словах Максим, но в душе-то своей вряд ли сам он полагал, чтобы Петр Дмитриев обеими руками ухватился за это счастье: разве не прельстится мужик почетным родством с бурмистром да богатствами Парамона?..

Но что бы там ни думали за детей отцы с матерями, что бы они вперед ни загадывали, — все у молодости делается по-своему, и сердце девки не спрашивает совета у матери, кого надо да можно любить. Не спросила и Груняша отца с матерью, заслушавшись на лугу в первый раз песни Григорья, и отдалась своим молодым сердцем и душою жарню, пленившись взглядом ласковым, а больше того речами его хорошими да добрыми.

Рассказывали, будто бы тихими летними ночами, когда село спало уже крепким сном, в темной чаще вишен и смородины, густо разросшихся в саду Петра Дмитриева, порою раздавались жаркие поцелуи и слышались чьи-то сдержанные, но, тем не менее, за сердце хватавшие голоса.

— Любушка, ты моя дорогая! Счастье ты мое!

— А я уж отчаялась, что урву ноне времечко с тобою свидеться... Насилу-то я, милый ты мой, дождалась, когда большие в доме улягутся: просто измаялась вся, дожидаясь этой минуточки... Желанный ты мой, сокол ясный!..

И опять в саду звучали поцелуи, молнией обжигавшие спящие кусты смородины и вишен, от чего просыпались на ветвях листья и начинали испуганно трепетать. Вот эти-то, видно, изменники и выдали ночную тайну, рассказав как-нибудь праздничным утром селу про все, что они видели и слышали.

— Каков Гришка-то! Митричеву дочь к себе приспособил... Вот ты и знай его!

— Порченный — да за какие дела принялся. Ну-ну!..

— Да верно ли это?.. Так, може, по-молодости, парень с девкой играют, а чтобы чего там...

— Чего там... Чай, неоднократно видали, как он по ночам-то к ней шастает.

— Уж и шастает?

— Ну, да не верь, пожалуй!.. Мне что? А только все село про это знает, кроме отца с матерью Аграфениных...

Действительно, село заговорило про любовь Григорья с Аграфеною. Но вконец убедились в том все-таки не раньше, как одна старушка — старенькая такая — рассказала нашим сельским молодцам про одно ночное чудо, свидетельницею которого она была сама, старая.

— Сижу это я, бабоньки, вечер на верхней приступочке, — так рассказывала про это чудо божья старушка, соседка Петра Дмитриева: — по ночам-то я, почитай, николи не сплю, — от старости, что ли — не знаю, только сна у меня нет, родные вы мои, нету!.. А в избе-то духота, мухи это, блохи кусают, — моченьки моей нету, да и все тут! Все бока на печи у меня испроломило, да всеё меня изъело... Смерть! Вот я, бабоньки, выду на крыльечко, да и сяду, да и сижу на приступочке, — оно как-то и легче ровно, на вольном-то воздухе. Н-ну, милые вы мои, вот я это вечер сижу на крыльечке, да и гляжу в самую темь — прямо в сад-то Митрича. Гляжу, — и николи, ведь, это со мной, родные, не бывало, — страх какой-то на меня стал находить. Сотворила я молитву, перекрестилась. Ан страх-то пуще меня разывает. Господи, помилуй меня, грешницу! Молюсь это я да все и сижу на приступочке... Вдруг, бабоньки, в саду-то у Митрича как зашумит, зашумит — вот, знай, словно бы лес в непогоду!..

— Вот страсти-то!...

— Зашумит, милые, да через плетень как перемахнет, словно бы вот человек какой в сапогах! — продолжала рассказчица. — Не успела это я с приступочки-то приподняться, чтобы как получше-то разглядеть, что там, — стара уж больно я стала, глазоньки-то плохо видят, — как вдруг, родные вы мои, осветит весь прогон и дерева Митричева сада, как запольхает все небышко!.. Не помню, как уж тут я с приступочки скатилась; только когда опомнилась, — гляжу, лежу я на земле аршин на пять от крыльца: вон куда отбросило!

— Это нечистой-то силой тебя, баушка?

— Ничем милые, ничем, как ею, окаянною!.. Вот только, припомнивши все, как было, я после-то и вспом-

нила, что когда осветило, у плетня ровно бы Гришка, Максимов сын, стоял, а наверно, сказать не умею...

— Да он это, он, баушка!..

— Так вот, бабоньки, на старости-то лет что господь мне, грешнице, видеть привел!

— Да, изнадседалась, ты баушка?.. Как Бог спас, — не умерла ты от ужастей этих на месте?..

— Ну-ну, дела у нас ноне в селе завелись! — говорили по селу. — Д-дела!..

## VIII

Минула страдная пора, и незаметно как-то опустело наше поле, так недавно еще кипевшее работою и с утра до позднего вечера оглашавшееся и разнообразным говором человеческой речи, и скрипом тяжело наваленной снопами телеги, отъезжавшей к овину, и этими, так часто и с необыкновенной отчетливостью слышавшимися ударами цепов, колотивших на соседнем гумне, и, наконец, тем лошадиным топотом, покрываемым веселыми ребячьими криками, и гулким стуком, во весь опор несущейся из села в поле, телеги, набитой сверху донизу сельскими мальшамми, с загорелыми и оживленными лицами.

Безлюдное и глубоко молчаливое, оно исполнилось теперь какой-то грусти и тоски безысходной: жалело ли поле о своей красе, высоких и могучих колосьях, которые часто и весело любили о чем-то шептаться с летним ветерком, и над которыми звенели песни жаворонков, или, хорошо знакомое с мирской неправдою и злобою, оно всею своей широкою грудью сокрушалось теперь о тех добрых и бедных людях, на бесталанные головы которых невидимо вместе с темными осенними тучами надвигались новые беды и горе? Трудно человеку разгадать тайну этой великой печали, какую одевается сжатое осенью поле!..

Перед самым покровом в избу Петра Дмитриева нежданно-негаданно для самого хозяина ввалился один гость и, помолясь на иконы и отдав хозяину поклон, повел с ним такую речь:

— Я к тебе, Петр Митрич, с большим поклоном... дело одно у меня до тебя есть.

Гость приостановился и отер рукавом пот, выступивший



у него на лбу; лицо его было бледно, черные брови шевелились, а волосы на голове и бороде были тщательно расчесаны. Хозяин, не мало удивясь началу гостевой речи, посмотрел этак изподлобья и, неособенно громко крякнувши, спросил гостя:

— Какое-такое будет твое дело, Иваныч?

— Дело мое, Петр Митрич, будет до тебя самое, что ни есть, кровное, — отвечал гость и опять вытерся, а серые глаза его забегали по всей избе. — Вот мы с тобою изжили на белом свете без мала, ато и все сорок годов, и знать эту ведем с коих пор — когда еще оба по улицам без штанишек бегали. Знакомство наше, выходит, старинное, и знаем мы один другого, что называется, вдоль и поперек... Так я говорю, Петр Митрич?

— Кажись, так, — отвечал хозяин, не спуская с гостя удивленных глаз и перебирая у себя в бороде: — Ну?

— Ну, скажи ты мне, скажи по всей истинной правде, как перед самим господом, что ты про меня теперь знаешь? — продолжал уже смелее гость, очевидно поощренный добрым хозяйским словом. — Видел ли ты у нас в селе хоша одного мужика, которому бы еще столько, сколько Максиму, клала по загрявку судьба? Кого она еще так жучила, как не опять того же самого Максима! Был ли беднее на свете человек Максима?.. Так я говорю али нет?

— Справедливо, — промолвил Петр Дмитриев: — про бедноту твою мы очень известны. Однако за последнее время словно бы ты из нужды своей малость повыбился?..

— Подожди, об этом еще у нас речь впереди будет!.. Так вот, растабарывать нам с тобою попусту нечего, ты знаешь про мою жизнь... Слава богу, довольно!.. Что ж, записался Максим? Пустился он на дурные дела, чтобы разом богачом сделаться и отшибить бедноту эту? Просил у кого помочи и кланялся богачам?.. Скажи, лгу я?

— Нет, мы за тобой николи и никаких художеств не знавали... Да ты к чему все это ведешь, Иваныч?

— Обожди, не торопись! По правде жили, Петр Митрич! — больше и больше расходился Максим. — Вот теперь у меня сын, — и он станет жить правдою да по истине. Правда-то она, матушка, выше солнышка, Петр Митрич! И вот, буду я тебе прямо говорить, бог и про меня вспомнил: изба у меня теперь новая, двор хороший, скотинка есть и хлебушка вдоволь...

— Ну, ты и должен чувствовать, благодарить всевышнего...

— Ну, а как я справился? Кто у меня были помощники? — наступал Максим на хозяина. — Нешь один я поставил бы эдакую избу? завел такое хозяйство? платил исправно полтора тягла оброку?.. Все Гриша, сын мой, помог мне устроиться да отцу вздохнуть дал послободней... Слышишь? Вот кто всему рачитель-то, старальщик — сын, Григорий!..

Максим остановился, перевел дух, опять вытер себе лицо и лоб.

— Петр Митрич!.. Отдай ты за мово парня старшую свою дочку, Аграфену!..

Петр Дмитриев, как после сам он рассказывал, даже обалдел на минуту: сидит он бессловесный и только глазами поводит да моргает. А сват:

— Петр Митрич! — наступает: — во всю мою жисть я никому не кланялся и не поклонюсь, а тебе, видишь, кланяюсь я большим поклоном... Выдай дочку за Григорья...

Низко-низко поклонился Максим богатому мужику.

— Спасибо на чести, — опаматовался Петр Дмитриев. — Про парня твоего, я, точно, худого ничего не скажу, — парень он у тебя работающий, небалованный; но только Аграфену свою я за него пока погожу выдавать, потому как она у меня еще и в девках не засиделась, дома отцу с матерью не надоела...

— Да ведь и Гришуха мой не перестарок какой, — не хуже настоящего свата или свахи вел свое дело Максим: — оба они молоды. Что ж, а пока молоды, так и повенчаем их; небольшим пирком да и за свадебку! Право! Так что ли, Петр Митрич? — хлопал по плечу хозяина сват. — Ты уж погляди, какая парочка-то будет! Станем мы с тобою на них глядеть да только радоваться.

— Оно, може, и так, но все же надо повременить... Погодя, — я не отказываю тебе наотрез, — может, и надумаю отдать, а теперича — нет никакого моего намерения свадьбу затевать... Спасибо тебе, Максим Иваныч, на чести! Кланяйся от меня твоему сыну.

Петр Дмитриев, видимо, был мужик очень политичный: хотя жениху он и подал карету, но подал так благородно, что свату и обругать его за это прямо в глаза нельзя было. Но когда Максим нахлобучил себе на голову

шапку, хвативши по ней раза два кулаком, и господь благополучно вынес его из богатой избы за ворота, что не преминул тотчас же выбросить на ветер пару-две сердитых слов, — это слышали проходившие о ту пору по улице бабы.

— Вот тебе и сват!.. Усватал за сына невесту. Молодец!.. А, ведь, прел-то, прел сколько! Чего одну эдакую баню стоило вытерпеть?.. Дурак!.. Нешь они, брюханы-то эти, что понимают, нешь человек им дорог?.. Сатана, да будь только богат, — вот их и зять любезный, и человек первостатейный. Мироеды!.. Кабы в них душа была да бог... Кланылся!.. Эх, не так бы еще я Митричу поклонился, ежели бы он дочь-то за Гришуху моего выдал!..

А Дмитрич, выпроводив свата, вот что после рассказывал за обедом своим домашним.

— Был у меня сегодня Максим. Вот мужик-то несуразный! За сына свою, полоумного-то, сватом приходил: Груняху, вишь, не отдам ли я за него? Насмешил!

Аграфена чуть ложку из рук не выронила и потупилась.

— Какой же ты ответ ему дал? — полюбопытствовала жена.

— Да сперва-то я понять его не мог, туману какого-то напустил; ну, а когда узнал, в чем дело, хотел, было, гостя дорогова турнуть, как следует, да пожалел: бог, мол, с ним, что его трогать, он и так завсегда от господя обижен. Подумал так, да милостиво, эдак, и отказал сватушке. Ну, и пошел ко дворам, как не солоно хлебал! А бедовый мужик, смел и нахрапист. Не в него ли уж и женишек-то нареченный?..

— Видишь, куда заехал...

— Да оно ничего, бесчестья от их сватовства не будет: плохой жених хорошему путь кажет.

Белее первого снега встала из-за стола Аграфена и вышла из избы...

Петр Дмитриев не ошибся: скоро к его дому нашел путь и хороший жених. Этот жених был никто другой, как Никита Парамоныч, сынок бурмистра.

Еще с самой весны Никита приставал к своему отцу, чтобы тот женил его. Собственно говоря, насчет женитьбы-то он с родителем еще гораздо раньше заговаривал, но с весны от него уж никакого отбою не было: жени да жени меня, тятенька! Сперва Парамоныч не прочь был

женить сына, но потом, сделавшись сам бурмистром, он во всем селе не находил по себе человека, которого бы считал достойным чести с собою породниться.

— Женить!—говорил он сыну и домочадцам.—Долго разве мне женить? Да как я женю, где я по своему богатству и почестям большим для тебя невесту могу сыскать? Ну, положим, сыщем невесту, а родство я для себя почетное могу найти? Есть супротив меня кто другой в селе?.. Да не то что в селе, — в губернии подобного мне нет человека. Как же я могу тебя женить? на ком? Допрежде, я взял бы за тебя Петра Митрева дочь, но теперича для меня даже очень низко такое родство, хоша Петр мужик и с достатками...

Так сказывали, что бурмистр в мечтах имел за своего сына городскую взять, купеческого звания и чуть ли не самого градского головы дочку. Но этим его мечтам не суждено было исполниться. Прибежал к нему его сынок любезный и впопыхах говорит:

— Тятенька! Груняху-то усватали...

— За кого?

— Максим за свою Гришку!.. Срам моей головушке; робята совсем уж меня засмеют, хошь на улицу к ним не показывайся!..

— Как? Максим?.. Так не бывать же этой свадьбе! — взревел Парамон: — сичас засылаю сватов, — и Аграфена наша!.. Ах, негодный мужичонка, что он со мной делает? Через него с сынишкой я от какого родства теперича должен отказаться!.. Ну, это я им не спущу, будут они меня помнить... Все жилы я из них повытяну!..

В тот же день в Егорьевском все узнали, что бурмистр с Петром Дмитриевым по рукам ударили. Ахнуло село и зашело на разные лады.

— Да как же это случилось? Неужто бурмистр-от так-таки ничего и не ведает?..

— Ведь это что же?.. Курам смех! Гришка по ночам к ней шастал, шастал, а бурмистр за сынка надумал взять!

— Нет, каково, чай, девке-то? Что у нее на сердце-то?..

— Что девка! Сегодня поплачет, а завтра и позабыла все горе, опять стала веселехонька. А вот Гришка, надо глядеть, непременно взбесится!

— А ему что? Он брат свои дела-то почище нас с тобой обделал!..

Много говорили — всего не перескажешь...

Пошли у Дмитрича пиры горой. Жених то и дело, что все к невесте ходит, да гостинцы ей носит. По вечерам у них песни, игры, веселье так и разливается по ярко освещенной избе; целый вечер народ не покидает улицы и не отходит от невестиной избы, висня на подоконниках и стараясь как можно лучше рассмотреть не одного жениха с невестою, но и всех девок с парнями.

— А невеста, милые, невесела, — тихо переговаривались у светлых окон. — Глядит такой пасмурной и не усмехнется...

— Да, ровно она убитая сидит.

— Зато Микитка весел. Так — вишь ты — и ходит ходуном... Экой дурак-пострел!

Раз, будто бы, заметили и Григорья. Народу в тот раз, по обыкновению, толпилось под окошками видимо-невидимо, и никто не примечал его; как вдруг, смотрят, — точно бы вот сейчас из земли вырос, — стоит Григорий немного поодаль от избы, и оконный свет прямо ему в лицо. Отшатнулись даже, кто тогда вблизи стоял, увидевши этого богатыря с его страшной тоскою на молодом лице и немым отчаянием в глазах, неподвижно устремленных сквозь окно внутрь светлой и шумно веселящейся избы! Вот того и жди, что кинется он на эту избу, раскидает ее всю по бревну и вконец разнесет ненавистное ему чужое счастье... Но он тихо стоял на одном месте и только не спускал глаз с окна.

— Матерь божия, как он глядит! — проносился сдержанный шопот между девками, теснившимися в простенках. — Ровно у него, сердечного, душа с телом растается...

— Это он на Груняшу... Вон и та глядит, должно тоже увидала его!..

А когда жених и гости все по домам разошлись, и погасли огни в Петровой избе, то вот что среди глубокой тьмы осенней ночи увидели некоторые любопытные глаза, никогда не дремлющие, вечно зоркие и видящие то, что таится на самой душе человека и чего не видят многие другие глаза.

На задах Петрова двора поджидал чужую невесту Григорий. Долго он ждал. Наконец, заслышал Григорий в саду частые и поспешные шаги, как-то звонко раздававшиеся по голой мерзлой земле и прямо идущие на него;

у разломанного плетня мелькнуло белое лицо, и такие же белые руки, без слов и рыданий, повисли и замерли на шее парня. Крепко сжал он дорогую свою любушку и долго, долго не выпускал из своих могучих объятий убитой скорбью девушки.

Кругом была мертвая тишина, и только судорожное трепетание одной груди да тяжелые, с самого дна сердца поднимавшиеся, вздохи другой время от времени слышались в этот глухой час темной ночи.

— Ах, что они со мной делают! — каким-то вдруг стоном вырвалось и пронеслось в ночной тишине. — Силой-неволей велят за него итти... Куда мне только деться с печали моей великой, — тосковала и убивалась одна грудь. — Гриша, сердце ты мое, измучилась я за эти дни, исстрадалась вся, думаючи про тебя да про любовь нашу несчастную!.. Как мне век-от мой будет жить замужем с постылым?.. Вздумаю лишь я про это, — страх на меня сичас какой-то найдет, ужас всею мной обьмет и вся я тогда дрожу, точно бы вот перед глазами я самое смерть увидала... Гришенька, да убей ты меня лучше, чем мне маяться всю жизнь за бурмистровым сыном!

— Грунюшка, не говори ты мне этого, не говори, моя горленка! — будил ночную тишину другой страшный голос.

— Ато, ежели у тебя руки не подымутся, — сделай что-нито со мною! — сказала она тихо, но голосом отчаянной решимости, а черные глаза так и вонзились в лицо Григорья. — Силой они меня берут и силой выдают, наперекор моей волюшке они делают, так и я им всем назло пойду... Гриша, полюбовник ты, мой милый!..

— Груня!.. Какую ты еще беду на свою голову вздума-ла накликать?..

— Не хочу я мою девичью честь даром загублять, не хочу! — страстно ласкаясь к Григорью и покрывая его жгучими поцелуями, почти кричала Груняша. — Не стоят они этого... Подем, молодец пригожий, подем со мной, ненаглядный!.. Размычем по чисту полю всю нашу печаль-кручину, чтобы крепче нам обويم помнить было про эту любовь нашу прекрасную... Подем!..

Темны наши осенние ночи, а людские горя и того еще темнее. Заря прогонит ночную темь, опять выглянет с голубых небес красное солнце и вновь на земле засияет божий день; а людское горе никакой уж свет не прогонит

и оно посреди сияющего дня только еще черней перед людскими глазами стоит...

В самый праздник казанской была у нас эта богатая свадьба. С самого утра к невесте собрались подружки, набилось в избу парней, девок, баб молодых, — пройти негде. Все хотят взглянуть, как невесту станут к венцу наряжать. Вот одели Груняшу в дорогое цветное платье, вывели ее из светлицы и посадили посередь избы на деревянный стул. Подошли тут к ней подружки-голубушки и начали с песнями расплетать косу невесты. Нарядная и красивая, сидела она в кругу своих веселых подруг с опущенными глазами и сдвинутыми бровями; черная коса, расплетенная рукою близкой подруги, густыми и длинными прядями упала на ее высокую грудь и белоснежные плечи. Безмолвная и печальная, сидела невеста в кругу распевавших подруг и ни на кого не поднимала своего бледного лица, которое теперь от рассыпавшихся черных волос казалось еще бледнее, и горькие слезы медленно катились по ее увядшим щекам. Расплели косу подруги и опять заплели; разубрали невесту подруги лентами алыми и пересадили ее на лавку. Но не повеселела невеста, и в подвенечном своем наряде печальнее и грустнее глядела эта загубленная девичья красота...

— Легче бы мне, родимые батюшка с матушкою, живой в сырую землю лечь, нежели с постылым да немилым под золотой венец итти! — говорила она поутру своим родителям...

Обвенчали Груняшу с Парамоновым сыном...

— Словно к смерти она, голубушка, приговорена, — толковал народ, когда обряд венчанья окончился, и Никита повел из церкви за руку молодую.

— Гришка, Гришка один всему тут причина, — объяснял бабам Гаврилыч: — он, когда еще заколдовал ее? С ранней весны. Вот с того времени она и зачала, лебедка белая, сохнуть да вянуть... Я в то время это говорил, да не послушались моих умных слов. Ну, а вот после-то и пеняйте на себя, как на молодайку Гришка черной магией напустил: не увидите, бабочки, как она в скорости на помеле через трубу взвоется!

— Ну, уж ты... больно уж ты умен, Гаврилыч! — засмеялись бабы.

— Да я-то умен, мне ума не занимать стать, — заважничал этот умник, вздергивая своею бороденкою. — А вот,

скажу, вам не худо бы с мужьями-то да с детишками вашими позаняться, хоть бы малость какую, у меня умом-разумом! Ну, ато что вы? В лесу живете и пеньям богу молитесь... Однако неколи мне с вами толковать-то, — прощевайте! — заключил Гаврилыч, завертывая к кабаку.

Одна молоденькая бабочка крикнула ему вслед:

— Умный человек, а сам идешь ума занимать. А тоже хвастался!

Гаврилыч лишь бороденькой тряхнул и сделался невидим за быстро скрывшею его дверью кабака.

Рассказывали еще, что когда свадебный поезд из церкви с звоном и бубенцами прокатил улицею мимо новой избы с огненной птицею на коне, — Григорий, ухвативши себя обеими руками за голову, стоял у окошка и глядел за уносившею молодых лихою в светлой сбруе и разукрашенной кистями тройкою.

— Отняли!.. — выговорил он и прохнулся на стол...

— Господи, спаси и помилуй нас грешных! — выглядывая и крестясь из-за перегородки, шептала Маланья Сидорова: — вот коли я увидела, как на него, сердечного, понастоящему-то нашло... Ах, угодники!.. Экая болесть в нем лютая... Силантий, преподобный мученик, выгонь ты из нашего детища беса!..

## IX

Долго что-то в том году у нас стояла бездорожица. К михайлову дню выпал снежок и на недельку, было, установилась дорожка, а после заговенья и распустило опять, пошли дожди и не стало ни проходу, ни проезду сельским людям. Настоящая зимняя дорога установилась уж когда — после Николы, почти перед Рождеством. Сказывают по деревням, что так бывает всегда перед тяжелым годом.

Затих наш Григорий. Не слышать, не видать нигде, точно его и нет на селе. Было у него какое-то ружье — в городе по случаю задешево купил, — и с этим ружьем Григорий на целые дни уходил стрелять разных птиц и зайцев по лесам да болотам. Полюбил, говорили, он эту охоту до страсти. К ночи вернется домой, притащит с собою всякой дичи, и семья иногда всю неделю ест мясо.

— Экой у нас ужин-то отличный, — похваливает Максим, сидя за столом и убирая какое-то варево за обе щеки. — У кого еще такая пища есть? Ни у кого! Разе у ку-



печества али господ, может статья, а что у крестьянства, так ни один и в светлый христов праздник не увидит у себя эдакого кушанья... Сидоровна! — обращался он к жене: — вот ты все жаловалась, что я тебя дурно кормлю, а это неш не вкусно? — показывал Максим птичью кость жене. — На-ка, Паранька, скорее огложи!

— Да чего тут ей глотать-то, — вступилась Маланья Сидоровна: — одна голая кость?

— Какая ты у меня, право, неблагодарная, Сидориха, — расшучивал все больше Максим, искоса и будто ненароком взглядывая на молча сидевшего сына: — каким ты ее дворянским яствием ни корми, все она недовольна... Гринь, а ты что не ешь? Смотри, брат, отощраешь! — мимоходом ввертывал Максим и опять продолжал свою речь к жене. — Видно, в роду вашем уж, что ли, так ведется: ничем никто недоволен и все печалится да вздыхает. Вот, примерно, покойник, твой родитель, лежит, бывалочи, на голбце и по цельным неделям только и делов делает, что все на судьбу свою жалуется да вздыхает: «не привел», говорит, «господь бог мне и на старости моих лет отдохнуть и кусок хлеба иметь». А чего! Сухарь али корку дадут ему, старому, так он их сосет-сосет и дососать не может: на другое утро останется! Чудачок-таки не малый был покойник...

— Ах, что ты говоришь, Иваныч! — всплеснулась Маланья Сидоровна. — Неш можно чрево покойника тревожить?..

— Вот и она в покойника уродилась, — не унимался Максим. — Ну, скажи, чем это крыло худо? — показывая какое-то перо, спрашивал он у жены. — Сколько тут этого добра, мяса-то одного? Не покорыствуюсь. На, возьми, Маланья Сидоровна, кушай во славу божию и себе на доброе здорье!.. А вот эту, голову-то, — ловил Максим голову пичужки, — нет, уж не отдам никому ни за что! Сам я ее осилю!.. Э-э-э да осиливать-то должно не придется!..

Сын тихо и как-то горько усмехается.

— Да, право, ей-богу! — весело грохочет Максим. — Слава богу! едим чуть не по-барски — и все мы недовольны, все на господа ропот производим... Смотри, Маланья, не прогневи бога!.. Однако с разговорами-то этими веселыми я позабыл себя — самое-то вкусное да хорошее все по вам разделил, а себе и не оставил ничего, — заключил

Максим, подымаясь из-за ужина. — Одно теперь осталось: кресты на лоб!..

Чудак был большой этот Максим. Знал он сам хорошо, что Парамон зубищи свои огромные на них с сыном так и оттачивает, а ему и дела, как будто, до клыков бурмистра нет: знай себе воюет да от всего отшучивается. Особенно он это теперь, когда у него сын притих, много на себя веселости да храбрости принял.

— На свете все пустое дело, — говорит он сыну. — Надо только вольный дух в себе иметь, — и всякое горе тебе будет в перенос и жисть легка. Это я сужу так по себе: не будь у меня вольного духа, — ну, и беда, сгинул бы человек; а вот как вольный-то дух во мне есть, — я и ничего, да еще как, — слава богу! Пра-аво! Чего кручиниться? о чем?.. Пришла, было, по сердцу девка, больно тебе приглянулась, да не судьба, — ну и надо махнуть рукой, кручиной горю не поможешь, а себя изнадсадишь... Что в этом толку!

Молчит Григорий.

Да мало разе на свете этого добра, бабья-то? — утешал он сына. — В своем селе не найдем, поищем где-нибудь на стороне. Вот в слободе, — там запрету нет отдавать девок в чужие деревни. А девья там этого — пропасть сколько, и одна к другой на подбор: все такие здоровые, краснощекие да грудастые... Любо глядеть!

— Да мне-то уж не найти другой любой, — вымолвил сын: — не забуду я в жизнь Груняши!..

— Пустое!.. Ты прими только на себя вольный дух — и конец! Что тут жалеть о чужой бабе? Знаешь пословицу: что с возу упало, то пропало? Груняха теперь чужая жена, — и бог с ней, махни рукой и плюнь!.. От всякой дряни мы с тобой, Гриша, отбивались, а уж от бабы да не отделаемся?! Да еще хоть бы своя была эта баба, — тогда леший ее возьми! — по закону ты должен околеть, ато чужая жена, и ты из-за нее же погибай?.. Не след!.. Надо совсем из головы выкинуть... Право!..

— Да уж не взаправду ли я порченый, батюшка? — говорит в каком-то раздумье Григорий. — Помнишь Васю?.. Умер он давно, а я и теперь его помню и люблю, как бы вот он сейчас жив был и звал меня волчки по льду пускать.. Когда я встречу где на улице малышка, то вот мне так и представится Вася: и лицо его, и глаза, и голос, будто, — ну живой Вася да и только! Все истории, какие он,

бывало, мне рассказывал, я сразу тут вспомню... Пустыню эту, пещеры... Такая вдруг у меня жалость по нем подымется, что я скорее бегу от ребенка, ато разревелся бы... Так и с Груняшею: люблю я ее, да и все тут!..

— Пройдет! Это все от молодости... Пустое! Главное — имей в себе вольный дух!.. Погоди, уж, эдак об рождении, ты веселый-развеселый будешь, смеяться над собою станешь. Вместе тогда смеяться будем!.. Ей-богу!..

Но не пришлось Максиму смеяться... Вот что вскоре затем случилось.

Установилась зима, и Максим с сыном, по примеру прежних годов, в извоз пустились: они из нашего города в губернский хлеб доставляли, а из последнего обратно железо привозили. Наложили раз вместе с другими мужичками они железо на воза и поехали. Обоз собрался порядочный. Идут извозчики по сторонам лошадей, похлопывают рукавицами да перекидываются словами, а кто рассказывает смешное. Идут. Показалось и село, в котором останавливались кормить.

— Вон и кормежка близко, — говорят извозчики. — Поужинаем и чайку изопьем. Поди, дворник уж давно запалил про нас самовар?

— Как есть! Он уж знает, что извозчикам согреться надо: самоварину эту живо оборудует.

— А я, мужики, — заговорил один молодой парень, — как этого чайку напьюсь, живой рукой на печь! Там беспрерывно теперича спит эта Акулина, дворникова работница; так я к ней греться!

Взрывом здорового хохота оглашается весь обоз, и ему не менее громким хохотом откликается чернеющая даль и соседний лес.

— Экой чорт! Молвит, ведь, како слово, — живот инды надорвешь хохотамши!

— Уж он, Тришка-то, его на то и поискать! Мастер!..

— Так как ты сказал, Трифон, к Акулине греться?..

— Под тепленький бочок к ней, матушке.

Опять на все поле хохот и опять поощрения.

— Врать он — собаку съел!

Под самым селом была высокая и с крутым поворотом на половине гора.

— Ну, теперь садись, робя: спуск подошел!

Извозчики сели в сани и начали спускаться. Вот тут-то и пришла последняя беда Максиму. Как ни крепко дер-

жал он в руках вожжи, разбежалась с горы его лошаденка, раскатились сани на повороте и воз с железом перевернулся, — Максим очутился под возом. Закричали извозчики, но лошади с неудержимой быстротой неслись вниз по горе, и подать помощь нельзя было раньше, пока спустились к самому мосту. Первый кинулся на гору Григорий, за ним и другие побежали. Кое-как приподняли сани и вытащили оттуда раздавленного Максима... И в то же мгновение как эта покрытая снегом гора с темнеющими гольми кустиками по скату, так и спавшее по другую сторону реки село услышали раздирающий человеческую душу вопль:

— Батюшка!

Максим был раздавлен, но еще дышал. Сын и извозчики перенесли умирающего на постоянный двор, где через два-три часа и испустил свой вольный дух этот никому неведомый в божьем мире воин... Последними словами его сыну были:

— Умираю... час мой пришел... Ох, Гриша!.. Жаль мне тебя... Надежи ни на кого в мире!.. Нет ни друзей, ни приятелей... В петлю лезь — не вытащат, разве крепче захлеснут... Одни деньги... Не поддавайся!.. Борись, пока сил-мочи хватит... Женись — все помога... работница будет.

Перевел, рассказывали, Максим дух да как закричит на весь голос:

— Звери! пожалейте хоть вы сироту-то мово: ему мать и сестру кормить! Не поддавайся!.. Вольный дух... Гриша, да утри ты хорошенько Парамошке нос... Откозакаемся!..

Больше уж ни слова не сказал Максим...

Вскоре после святков Григорий один вернулся ко дворам. Опустились руки у Маланьи Сидоровны, когда она узнала про смерть мужа, и весь день изба не переставала слышать вопли и причитания вдовы.

— Поилец ты мой и кормилец, на кого ты меня, сироту горемычную, с малыми детищами покинул! — голосила Маланья. — Кто о нас позаботится, кто от людских напастей нам, сиротам, защиту подаст?.. Максим Иваныч, ба-атюшка!..

— Ай, ма-а-атушка, ай, роди-и-мая! — подвывала матери Паранька: — как мы без батюшки-то жить будем, что мы е-есть станем!..

Село тоже жалело о Максиме.

— Вот тебе и Максим: жил, жил да и помер!

— Значит, судьба его такая. Кабы не извозничал, так,

може, и долго бы прожил. А с извозом живота вот решился...

— Да, православные, никто заранее не знает, где кому какая смерть приключится... Поди, покойник себе не чаял, что его возом пришибет, а вот и пришибло досмерти.

— Ну, значит, откозакался!

Но больше всех сокрушался о покойнике Гаврилыч.

— Никого он, царство ему небесное, так не уважал, как меня, — отирая слезы, разносил по избам печаль свою Гаврилыч. — Строптивый был человек покойник, против всего мира шел и никого знать не хотел; а я, бывалочи, одно только слово молвлю: Максимушка... «Федор Гаврилыч! ты... да я тебя заместо брата, отца роднова... Будь по-твоему!» скажет и уж беспреречно по-моему сделает покойник...

— Что говорить! От Максима тебе большой почет был. Знаем...

— Уважал меня покойник — страсть, не приведи господи, как уважал и почитал!.. А за что, подумаешь? Что я за человек?.. За ум! Вот за что... Жалею теперича я много об одном, что Гришутку, сироту-то его, вряд ли буду я в силах справиться: уж очень малый сыздетства поврежден и ничего с ним поделать невозможно! А хотелось бы, больно хотелось, помнючи отца-покойника, какое добро и для сироты его сделать! Да ничего не удумаешь, как ты умом своим ни раскидывай...

— Это верно. Гришка пропадет. Один, круглый сирота! Где ему одному с чем совладать?

Что о себе думал сам круглый сирота, — этого никто постигнуть не мог, только бог один знал про эти сиротские думы и мысли... Если бы мать и сестра Григорья умели читать по глазам, то вот что, может быть, они прочитали бы в этих кротких глазах, смотревших на них обеих с печалью и в то же время с каким-то ободряющим выражением:

— «Не опасайтесь, я ничего с собою не сделаю. Мне вас смертельно жаль, и я останусь жив, даже не убегу никуда и стану работать, чтобы только все были сыты да не побирались с сумой помиру».

Но мать, как лишь замечала на себе этот взгляд, скорее торопилась или отвернуться, или уйти за перегородку, это верное прибежище для тихого излияния всех ее скорбей, сетований и вздыханий. Раз, увидавши, что сын не

сводит с нее глаз, она хотела уж по обыкновению убраться, но сын остановил:

— Матушка, — сказал он: — я хочу жениться.

Маланья Сидоровна осталась пришитою к месту.

— Теперь нельзя без хозяйки, — продолжал сын: — придет лето, одни мы не справимся.

— Где справится, — вымолвила мать и вздохнула.

— Да и батюшкину волю хочу исполнить... Благослови, родимая!

— Бог тебя благословит, детище... У кого ты на приеме взять держишь?

— Да кто отдаст — у того и возьму. По мне теперь все равно...

— Вестимо, голубчик, по сиротству, нам ли уж невест разбирать... Всякой радешеньки будем!..

Не нашлось, однако, во всем Егорьевском невесты за сироту. Девки, по себе, были бы от души рады вытти за Григорья, но отцы их с матерями воспротивились: «Как можно выдать свою дочь за круглого сироту, да еще вдобавок порченого!» Так и не нашел себе невесты Григорий в своем родном селе; взял он слободскую и перед масляницей обвенчался.

Тихая, истинно сиротская была эта свадьба...

— Экие на свете есть родители, — сокрушались тогда многие бабы: — нисколько им не жаль родной своей крови, выдали дочь за полоумного!.. Бога-то в них нет... Сгубили девку!..

## Х

Тихая, безответная и работающая попала Григорью жена. Все она делает по дому, постоянно в хлопотах, и никто ее никогда не слышит, точно и работе она сообщала свою тихость. К свекрови была почтительна, ни в чем ее не ослушалась, а с золовкой жила в полной дружбе, что редко у нас в крестьянском быту встречается. Мужа своего она любила и часто глядела ему в глаза, но и любила опять как-то тихо... В праздники по целым дням молодые сидят друг с другом и молчат. Григорий посмотрит на жену, и та на него взглянет, и так хорошо взглянет, ласково, и видно, что она любит своего Григорья.

— «Какая она у меня тихая», — думает Григорий, и отчего-то ему вдруг делается жаль своей молодой жены.

— Дуняша, подойди ко мне! — позовет он жену.

Авдотья встанет с лавки и тихо подойдет к мужу. Тот посмотрит ей с доброй улыбкой в лицо, погладит ее по русым волосам и промолвит:

— Голубка!..

— Родимый ты мой! — ответит она и тихо поцелует мужа.

— Минул великий пост и наступила святая неделя. В первый день светлого праздника пошел Григорий с женою к заутрени. Отстояли они службу и как-то тихо, радостно похристосовались и пошли из церкви. Не успели они пройти ограды, как их догнал Никита Парамоныч с женою; бурмистров сынок гордо пронесся мимо скромной четы, а жена его остановилась, вынула из бархатной шубейки красное яичко и говорит:

— Христос воскрес, Гриша!

Григорья пошатнуло слегка в сторону.

— Воистину воскрес... Аграфена Петровна, — едва проговорил он и поцеловался с нею три раза.

— Ну, давай и с тобою, милая, похристосуемся, — подошла Аграфена к жене Григорья и с ней поцеловалась.

— Аграфена! Чего ты стоишь? — окликнул жену Никита. — Ступай!

— С хорошими людьми повстречалась и стою, — отозвалась жена. — Вот где для светлого дня христово пришлось мне с вами свидеться, — говорила бурмистрова невестка, любовно глядя на Григорья и его хозяйку. — Привыкаешь ли ты, милая, к чужой семье, не скучаешь ли по родительскому дому? — спрашивала она и при расцветающем утре этого великого дня озаряла Григорья лучезарным взглядом своих черных очей.

— Я давно привыкла, — тихо ответила Авдотья.

— Аграфена! Я коли один уйду! — снова крикнул Никита.

— С богом! Кто тебя держит?

— Ну, ладно, я тятеньке на тебя пожалуюсь!

— Какая она у тебя тихая, — говорила Аграфена, не отвечая на мужнину угрозу. — Так привыкла, ты говоришь? А вот я, милая, с одного села взята, а привыкнуть никак не могу: день ото дня все противнее да постылее мне дом свекора...

— Ах, голубушка, — тихо пожалела красивую молодцу Авдотья: — знать, тебе в судьбе твоей не посчастливилось!

Аграфена шла между мужем и женою, одна рука ее незаметно сжимала руку Григорья.

— Помни... Знать так, милая! — громко отвечала Аграфена: — не задалась мне судьба моя... Ну, прощайте, мои родные! Дай вам бог счастья... Гриша, прощай!

— Прощай, Груня!

Они расстались. Григорий сделал несколько шагов, обернулся и увидел стоящую в стороне Аграфену, провожающую молодых своими черными глазами... Чудны показались Григорью эти глаза и чудны брови, из-под которых они смотрели, и прекрасно было это печальное лицо при дивном и все больше расцветающем утре!..

— Так вот бурмистрова-то невестка, — сказала мужу Авдотья — она не видала до сегодня Аграфены. — А какая она простая, — добавила Авдотья: — Гришей тебя называла и со мной так ласково обошлась...

Ни слова не промолвил в ответ жене Григорий.

После пасхи бурмистр приказал Григорью вместе с другими мужиками, кои на селе победнее, чинить на мостах гати, исправлять дорогу: Егорьевское наше на почтовом тракте стояло.

Летом, в самое рабочее время, Григорья то-и-знай донимали подводами. Не будь Авдотьи с золовкой, не помогай они, — беда Григорью! — сено все помокло бы, хлеб на половину остался не убран и не обмолочен... Только к покрову, и то с большим трудом и на великую силу, кое-как Григорий с бабами поуправился.

— Напал бурмистр на Гришуху, напал! — толковали между собою мужики. — Покойника-то, отца, теснил да и сына теперича всячески донимает...

— Такая уж, видно, им планида: назначено маяться всю жизнь и маются!.. Да на грех сноха эта еще тут замешалась... Парамон и озлобился... Вот за что пуще всего взъелся он на сироту!..

Сам Григорий никому не жаловался на свою злосчастную судьбу и молча, терпеливо, подобно отцу, нес тяжелый свой крест...

«Не поддавайся» — точно слышалось ему с того света, и он быстро поднимал свою наклоненную невеселыми думами голову и встречал тихий, недоумевающий взгляд жены, вытаращенные, прямо на него смотрящие глаза сестры и слышал сдержанные вздохи матери из-за досчатой перегородки.



Просил, было, Григорий на сходе мир, чтобы с него сложили лишние полтягла; мир при этом замялся, мужики с чего-то закашлялись, а бурмистр как напустится на просяльщика:

Да что ты выдумал? С какой это стати? Неш мир плательщик за тебя? Эдакой парнице здоровый да от оброку стбиваться?.. На что ж ты после этого годен, какой ты мужик! Что ты за крестьянин своему господину?..

Нашумел много бурмистр, а Григорий слушал и стоял перед ним все время безответным...

Но вряд ли только одни эти нападки бурмистра ставляли порою задумываться Григорья; таилось у него что-то другое в широкой груди, что нагбало его молодую голову и что пугало его домашних.

— Матушка, да о чем он все кручинится? — спрашивала у свекрови Авдотья.

— Ах, милая, милая! — говорила Маланья Сидоровна, прикладывая руку к щеке и с жалостью смотря прямо в лицо невестки. — Ведь Гриша-то еще робятком малым поврежден, — простодушно рассказывала она: — с ветру на него злыми людьми было напущено... Так вот временем на него, голубчика, это и находит.

Испугалась молодайка; стала бояться мужа.

— Да чего они все так на меня глядят? — спрашивал в недоумении себя Григорий. — Что они во мне находят? — и он опять задумывался. — Тихая она... оба мы безответные, — говорили задумчивые глаза Максимова сына. — «Помни», сказала та... И зачем она мне руку сжимала?.. Нет, это грех... По закону, я должен любить жену... Пересилю, одолею себя!.. Мне не о том надо теперь думать... Дитя скоро будет... Отец...

Зимю Авдотья родила. Ребенок был мальчик.

— Ах, бесталанный! — вскрикнула бабушка: — весь-то в отца! Кабы в мать — счастливый, ато... Ах грехи наши, грехи!..

Но зато как рад был отец ребенку! Пока мать опрала, Григорий сам ухаживал за сынишкою, качал люльку, беспрестанно заглядывал под холщевую занавеску, покрывавшую жилище нового человека, давал соску и поил с рожка молочком, когда тот просыпался и начинал горько на что-то жаловаться.

— Ну, пискун, развоевался! — наклонясь радостным лицом над красным личиком сына, весело говорил молодой

отец. — Вишь, как наморщился, старик!.. Ну, бери соску!.. Не хочешь? Вот, коли, тебе молочка... На, попей... При-смирел?.. Что глядишь? Или отца узнаешь? Ах, ты дитя, божья душка!

Ребенок сладко засыпает и отец на цыпочках отходит от люльки сына.

— Вот теперь и у нас сыночек, Дуняша, — говорил счастливый отец, ласково заглядывая в лицо жены и не сводя с нее нежного взгляда. — Не сироты мы теперь с тобою, Дуняша: слава богу, наследник есть!

Больная силится улыбнуться, но вместо улыбки что-то робкое и боязливое проглядывает в ее глазах и лице.

— Жаль, дедушка-то умер, — продолжал Григорий: — посмотрел бы он на внушка. То-то бы у старика было радости!..

— А ты, Гриша, поменьше с младенцем-то возись, — тихо перебивала мужа Авдотья: — матушка али золовушка его ублажат!..

— Дам я кому за моим молодцом ухаживать! Пожалуй, уронят или накормят его таким, от чего ребенок помрет... Знаю я, как они умеют ублажать!..

Оправилась после родов Авдотья и не отходит от своего ребенка, не спускает его с своих рук и прячет от отца.

— Ну-ка, Дуня, дай ты мне подержать Максимушку! — скажет иногда Григорий.

— Нельзя его трогать, он глазки скрымши — испугаешь, — ответит жена и торопится поскорее накрыть ребенка концами головного платка.

А возьмет когда Григорий сына на руки, Авдотья не знает, что и делать, и в лице меняется, и дрожит...

— Отдай мне ребенка, отдай! — почти насильно вырывает она из рук отца своего дитяню.

Григорий не узнает своей жены.

— Да что ты, Дуняша, не дашь Максимушке у меня посидеть? — говорит он с легким укором.

— Да не мужицкое это дело, с ребенком-то нянчиться, — оправдывается жена и бежит с младенцем в угол или к люльке: — на то мы, бабы!.. Усни, моя крохотка, усни!.. У-у-у-у! У-у-у-у! Спи-и-и, за-а-асни...

Понял Григорий, в чем дело, и поник головою...

— Вишь, милая, опять на него, голубчика, находит! — слезливо шептала над ухом невестки Маланья Сидоровна.

— Ах, боюсь я его, родимая! — тем же шопотом отвчала Авдотья.

Прошла зима и снова повеяло теплом; расцвело все кругом и ожило, залело и зазвенело чистым серебром под всевоскрешающими лучами вешнего солнца; громче на улице говор, слышнее шум водяной мельницы и яснее всякий звук...

Опять сельские люди на поле, опять закипела работа и опять в праздники на зеленом лугу раздаются песни... Работает Григорий, работает до пота лица и рубашки и позже всех приходит домой. Перекусит на скорую руку хлеба, запыет квасом и повалится на лавку. Как убитый спит Григорий. А утром, только свет проглянул — он уж и на ногах: «пора!» говорит, бежит к лошадям и спешит до солнышка выехать в поле. Но нередко и так случалось, что ночью, когда все другие спали крепким сном, а полный месяц, низко стоящий над землею, лениво заглядывал в окна избы, расстилая по стене и закоптелой от дыма печи светломолочные полосы, — среди этого сонного царства вдруг раздавался громкий голос: «проспал!» и Григорий вскакивал с лавки.

— С нами крестная сила! — пробуждаясь от сыновнего крика, творила молитву и крестилась Маланья Сидоровна. — Ах, грехи наши, грехи тяжкие!

Авдотья бесшумно тогда подымалась с пола и мгновенно вырастала перед люлькой...

Воскресенье Григорий отдыхал. Раз, когда из баб никого не было в избе, и ребенок спал, он подошел к колыбельке и осторожно отодвинул занавеску. Малютка не спал, лежал с открытыми глазками и при виде отцовского лица улыбнулся и потянулся к Григорью ручонками. Радостно вынул отец из люльки своего ненаглядного Максимушку и принялся с ним по избе няньчиться; ребенок продолжал светло улыбаться и хлопал ручонками.

— Сыночек, Максимушка! А-гу! А-гу, милый! — забавлял сынишку отец и вздымал маленького бутуза к потолку. — Вишь, смеется...

Вдруг ребенок заплакал и закатился. Не успел отец успокоить его, как в отворенную дверь вбежала Авдотья, всхлопнула руками и, точно ужаленная, кинулась к мужу и выхватила у него всего покрасневшего от плача сына.

— Что ты с ним сделал, — вскричала жена, прижимая к груди ребенка.

Григорий даже оторопел.

— Что я с ним сделал? — машинально повторил он вопрос жены.

— Повредил младенца!

— Господь с тобою, что ты говоришь, — сказал муж, приходя в себя, — разве я не отец Максимушке?

— Отец да порченный!

— Дуняша! какое ты слово вымолвила! — больше с тоскою в голосе, чем с укоризною сказал в ответ Григорий. — Мало я всего от чужих переносил, а теперь уж вот и от своих, от жены что слышу! Неужто и в родной семье я только полоумный да порченный? Горько мне это, Дуня, горько!..

Плохо человеку, когда ему нет ни в чем задачи, а если к тому да и близкие-то люди на него же опрокинутся, то тут не то, чтобы молодому подняться и стать на свои ноги, но даже и тот, который уж давным-давно и крепко на своих ногах стоял, — непременно пригнется и низко, к самой земле присядет...

— Чужой я в своей семье! — не без ужаса и гнева слышали поле и лес жалобы Григорья. — Нету у меня ни одной родной души, всем я чужой!.. Сына, Максимушку, отцом пугают... Грунюшка, одна ты мне была родная, да и тебя у меня отняли!.. Нету, никакой опоры у меня нет и не за что мне ухватиться... Не в моготу больше... Одно теперь — погибать мне пришлось!..

Высоко и грозно тут вздымал свой гнев темный лес, слушая эти отчаянные вопли человеческой души, и по всему широкому раздолью разносило свой ропот шумевшее колосьями поле. Только люди одни были глухи и безжалостны...

Маялся все лето Григорий... Как он ни бился, как ни старался, ничто ему не удавалось, и самое дело как-то из рук валилось. Подошла осень, а у него и денег нет в оброк за первую треть.

— Ну, что-то теперича будет? — переговаривались собравшиеся на сход мужики. — Бурмистр уж послал за Гришухою...

— Чему быть! Хорошего не жди... Однако и лют этот Парамон, куда лют!.. Много от него и миру всякого зла...

— Еще бы! Воротит себе, как вздумается ему, и знать ничего он не хочет... Затылки-то не мало наш брат от него чешет...

— Верно. Чешем!..

— Да, глядеть, еще и почешем?

— Пожалуй, еще и не так зачешем!..

— А, ведь, Гришухи неш и жалко, братцы! — заговорил кто-то на сходке. — Парень он молодой, смиренный и работающий. За что он больше других терпит?

— Что же, православные, — поднял голос один старик: — малому надо защиту дать. Хоша Парамон и бурмистр, но все же он не сам помещик и притеснения ему спускать не следует. На то мы все и собираемся, чтобы как по справедливости да безобидно все улаживать... На то мы и мир, чтобы друг за друга стоять, а нетокмо чтобы...

— Известно! эвто ты верно говоришь, дедушка Онисим! — заговорил сход. — Мир на все и во всем волен, супротив мира никто не может!..

— Мир — велик человек!.. А вон и Гришук идет!

Поклонился миру Григорий и прислонился к углу избы.

Явился вслед и бурмистр. Мир поднялся на ноги и снял шапки.

— Так как значит, мужики, — затянул обычную канитель Парамон, усаживаясь важно на скамейку, — для бурмистра нарочно вытаскивали на улицу скамью, — у нас теперича на миру безоброшные завелись, то выходит, как я у вас от самого барина над всеми поставлен и в лице его состою, собрал нонича всех поголовно и вызвал безоброшного, Григорья, Максимова сына. Здесь Григорий?

Григорий выдвинулся.

— Почему ты за первую треть оброк не взнес?

— Деньгами не справился, — отвечал Григорий, смотря в землю.

— Хорошо. Миряне, нет ли из вас у кого займы Григорью? — обратился бурмистр к сходу. — Дайте, сделайте одолжение, он мужик хороший, исправный, возвратит с лихвой!.. Ну, кто ж за него взносит оброк?

— Полно смеяться, — послышались голоса и смех в сходке. — У кого деньги лишние? Мы тоже сами... не много их у себя держим...

— Да, ведь, человек-то какой верный! — смеялся бурмистр и посматривал на Григорья, попрежнему уставившегося глядеть в землю...

— Ежели говорить по правде да по-божьи, — заговорил старик Онисим, — то смеяться-то, Парамон Иваныч, над сиротством нам не приходится!

— Я и не думаю смеяться! — гордо отозвался бурмистр.

— Оброк Григорий не по закону несет, — говорил старик: — на них, с покойником-то отцом, ты набавил тогда, а земли им не нарезал... К тому ж и затаскали малого, за все от работы отрывали...

— Что правда, то правда! — заявил свое мнение Гаврилыч и сейчас же спрятался.

— Это что значит?! А? Да как вы осмелились? — наступил на мир бурмистр. — Кто первый выскочил?..

— Не по-божьи, Парамон Иванович, не по-божьи!..

— Ну, я тебе, Онисим, по твоей старости, спускаю... Но кто другой, — с тем я сумею поговорить...

— Согласны! — закричали уж было голоса.

— А что насчет Безоброшного, то я свои меры приму: я тебе дам, голубчик, безоброшничать да от работы отлынивать!.. Погоди! А теперича, мир честной, я так полагаю, что на новый год нам в сотские никого другого лучше не надо, как Григорья Максимыча? Он будет у нас чиновной особою... Согласны?

— Согласны! — дружно отозвался мир.

— Ну и чудесно! Григорий Максимыч, честь имеем с чином вашу милость поздравить!..

Григорий медленно поднял глаза и глядит на мир, точно бы спрашивая: что же, мол, вы, православные, со мною делаете?.. Но мир чесал в разных местах и помалкивал.

— Да хошь поблагодари, — издевался бурмистр: — тебя в чин важный пожаловали, а ты стоишь оболтусом?

— А вот сейчас поблагодарю, — проговорил Григорий и подошел к бурмистру. — Позволь с тебя начать!

Бурмистр не успел глазом моргнуть, как руки пожалованного в сотские так и вцепились в бороду мироеда...

— Душегуб! — загремел Григорий, весь белый и дрожавший, как осиновый лист. — Мало ты из людей на своем веку крови повысосал, захотел теперь и крови невинного младенца напиться!.. Мать, старуху, помиру вздумал пустить! Так вот же тебе, вот!..

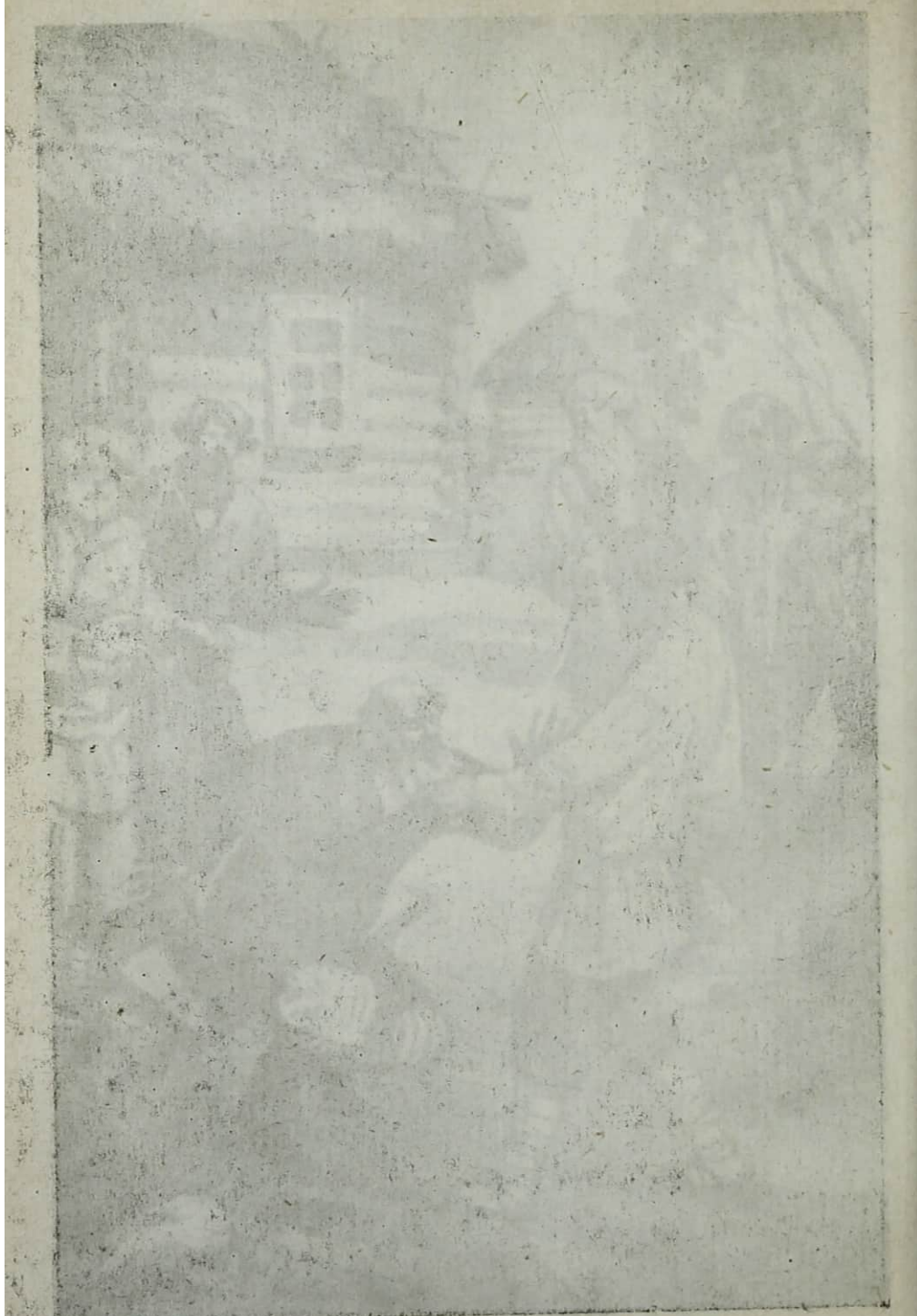
— Православные! — взмолился бурмистр. — Спасите!.. На жизнь покушается...

— Гришуха, что ты? В уме ли? — раздался голоса.

— Ай, ай, ай! Как он бороду-то теребит, так и куделит!

— Православные!.. отымите! — зывал бурмистр.







— Да отстань, будет! — останавливали с мира. — Тебе говорят аль нет... Полоумный!

Полбороды — где, гораздо больше! — вышло у Парамона за время тряски.

— Ну, а теперь меня берите, — сказал Григорий и встал покорный перед миром. — Это, вот, возьмите себе, годится бабам на мочалки! — с нехорошим смехом добавил безоброчный и бросил в мир Парамонову бороду.

— Запереть его, запереть разбойника! — кричал бурмистр, держась обеими руками за те места, где у него незадолго перед этим красовалась густая и окладистая борода. — Ключ мне подайте! Завтра я порешу с ним, мошенником!..

Связали миряне Григорья, повели в пустой амбар.

— Экой ты, парень, у нас горемычный! — запирая Григорья на замок, от души жалели миряне. — Ну, потаскал бы так легонько, ато, накость, всю почитаю бороду с корнем!.. Неш так дозволено?!

Положил к себе в карман суконной бекеши ключ бурмистр и пошел с мирской сходки домой.

— Что-то завтра мы увидим?.. — задавали себе вопросы мужички. — А ноне видели, слава богу! Довольно таки насмотрелись!..

— Пропал, бедняга! — говорил дед Онисим. — Велик на душе у мира останется грех, ве-е-лик!.. Не отмолить!..

— Да, завтра надо будет пораньше встать, ато — чего доброго — проспишь и ничего не увидишь.

Но прежде чем наступило утро, ночь сделала то, от чего на другой день сельскому люду пришлось только руками развести и ахнуть...

Чуть ли не в самую полночь Григорий услышал звук повернувшегося ключа в замке; затем послышался скрип как будто бы осторожно отворявшейся двери амбара и на него понесло тонкой струей холодного осеннего воздуха; наконец из темноты раздался шопот.

— Гриша! Тут ты?..

Григорий не узнал голоса, но отозвался.

— Где ты?

— Грунюшка!..

— Болезный!..

Развязала Аграфена руки арестанту и начала его целовать...

— Грунюшка, загубили нас с тобою, родная! — гово-

рил вполголоса Григорий и прижимал к сердцу родную душу. — Не властны мы в себе и нет у нас своей волюшки, — все отняли у нас добрые люди и поделили по себе!.. На роду не написано нам счастье!..

— Ах, болезный, болезный, ты мой!..

— За что, за что казнит нас эта подлая жизнь?! Чем мы перед ней провинились?.. Грунюшка!..

Слабо теплилась лампадка перед образом в избе Григорья. Спала или нет Авдотья, но ей представилось, что будто кто-то неслышными шагами вошел в избу и остановился у люльки. Глядит Авдотья и видит: в слабом мерцании света наклонился над колыбелькою муж и крестит спящего младенца... Обмерла мать, вскочила и стала протирать себе глаза: нет мужа, ребенок спокойно спит и чему-то ангельски улыбается. Бросилась Авдотья в сени, на крыльцо и смотрит... Ни зги не видать, на дворе дождь, ветер гудит и точно бы до слуха доносился шлепанье по грязи быстро удаляющихся сапогов...

— Болезный, прости!.. — послышалось ей явственно среди непроглядной тьмы, и она встрепенулась.

Ни звука! Только льет попрежнему дождь, яростно свистит и рвет ветер и все дальше, дальше от нее шлепанье удаляющихся шагов..

## XI

Еще пять лет куда-то унеслось...

Не возвращался в Егорьевское Безоброчный, и ни слуху, ни духу о нем!.. Сгиб, без вести пропал человек... Вот уж к нам и воля дорогая пришла, а Григорья нет, как нет. У Парамона Иванова давно выросла новая борода, и сам он уже не бурмистр, а волостной старшина. Не изменился он нисколько, да и теперь мало в нем перемены: на голове и в бороде стали пробиваться серебряные волосы — и все, ато нисколько не изменился и все такой же, каким и прежде его на селе знали.

Но не живут уж в нашем селе никто из родни Григорья. Жена после побега мужа взяла с собою ребенка и переселилась в слободу, к отцу; Параньку выдали куда-то замуж, а Маланья Сидоровна, когда ее из избы погнал бурмистр, возымела благое намерение отправиться в столичный город Москву, на поклонение тамошней святыне,

да так потом и не вернулась на свою сторону: будто бы, рассказывали на ярмарке наши приезжие купцы, подбирается она там христовым именем и за свои рассказы да вздохи частые в милости большой у первостатейных московских купчих пребывает... Дай ей бог! Старуха она хоть и глупая, но без злобы, и чай пить ей как раз по душе будет у своих благодетельниц. Избу с огненным петухом Парамон Иваныч взял за себя; он за одну треть помещику взнес оброк за Григорья, и потому совершенно справедливо прибрал к рукам все недвижимое Безоброчного. В эту избу бурмистр выделил из своей семьи Никиту с женою: за непочтительность к свекру Аграфены и за тот, будто бы, срам, какой она нанесла знатному роду Парамона Иваныча! Больше ничего, кажется, особенного не произошло у нас за все это время. Все шло по-старому, только вот новое — воля...

Должно быть вскоре после того, как нам манифест прочитали и в Егорьевском завелось волостное правление, народ увидел раз по улице двух солдат с ружьями, а между ними какого-то незнакомого человека с обритой головою и в рваном балахоне. Пришли солдатики с рваным балахоном к волостному правлению и спрашивают, есть ли кто в присутствии из начальства. Мы очень в ту пору заинтересовались этим рваным балахоном и бритой головою; как только завидели, так и полетели за ним: уж очень смешон он тогда нам, ребятишкам, показался! Впрочем, к воротам правления собралось порядком и взрослых: тоже глядят, никогда не видывали в селе такого человека!

— Да что же это начальство-то нейдет? — спрашивают солдаты.

— А вон писарь! — говорят на улице, показывая на заspanную фигуру вылезавшего из ворот детины.

— Что вы? По какому делу? — спрашивает писарь.

— А вот, — говорят христовы воины, — человека вам на руки велено сдать... Получите.. Вот книга для расписки!..

Писарь взял у солдата книжку, развернул и прочитал:

— «Отсылается... полицейским... для водворения на место жительства... именующий себя... Григорьем Максимовым»... Что, мужички, находится у нас какой Григорий Максимов в бегах? — спросил писарь у глядевших на бритую голову и рваный балахон.

— Кто? — всколыхнулись мужики.

— Григорий Максимов.

— Батюшки, да ведь это, балахон-то, никак и есть наш Безоброшный! — вскричали разом несколько голосов.

— Он, он! Самый он и есть, Безоброшный! — поднялось по улице. — Да как он, паря, весь оброс! Н-ну, узнать человека невозможно, какая перемена с ним большая произошла.

— Так вы, господин писарь, извольте расписаться, что мы вам в целости его доставили, — говорил один солдат. — Надо бы, православные, с вас хоть чай спить! — шутил солдатик. — Ей-богу!.. Какого молодца мы вам представили! Полюбуйтесь!

Смеется село, смеется и бритая голова в рваном балахоне.

— Вот так красавец!

— Ну, а пока надо его прибрать, впредь до распоряжения, — сказал писарь и велел Безоброшного посадить в свободный хлев, который у нас при волостном правлении заменял сибирку.

Отвели туда Безоброшного. Народу, народу, — так и повалило со всего села, когда весть о возвращении Безоброшного облетела сельские улицы. У забора, в котором из хлева было проделано на выгон маленькое оконце, без стекла, толпились мужики, бабы, девки — словом, все, кто знал или слышал о Безоброшном. Каждый так и норовит в окошечко-то взглянуть.

Вишь, вишь, он поглядывает! — указывали мы, ребята, на оконце. — Теперь спрятался... А вот гляди: сейчас опять выглянет... Ей-богу!.. Вот видишь, нос-то выставился?.. Это его, Безоброшного, нос!..

— Да его ли, може, другого кого? — сомневались некоторые из ребятшек.

— Эка, я, чай, все время глядел на Безоброшного!..

— А бритую голову видел?

— Всю до одного волоска!

— Неужто и балахон!..

— И балахон... Весь он у него рва-а-аный, ху-до-ой да в заплатках!..

Собрали сход. Велели привести Безоброшного. Привели. Оглядывают его со всех сторон.

— Ну, что, он?

— Кажись, он!

— Безоброшный!

Молчит.

— Где ты это столько годов пропадал?

Засмеялся.

— А ты не дурачься, говори! Что зубы-то скалишь?

Безоброчный как пустит вдруг по жеребьячьему! Отлушил.

— Эка ржет, шальной!

— Ну, приятель, дурью ты этой не обдуешь, — заговорил старшина, — говори толком, о чем у тебя спрашивают!

— Вишь, полоумным вздумал прикидываться? Каков!

— Да я, ведь, порченный! — сказал Безоброчный.

— А! Заговорил... Ну, друг, прежде, это точно, был ты полоумным, а теперича ты как есть настоящий человек.

— Настоящий! — закричал Безоброчный и пошел танцевать по всему правлению.

О чем у него там ни спрашивали, толку никакого не добились. Скажет слово, как следует, да потом и занесет. занесет чепуху — хоть святых вон выноси!

Решили: подвергнуть Безоброчного испытанию... Много ему было испытаний, а все-таки чего желали, не получили; да и чего хотели от него, кажется, сами православные не знали...

— Теперича я так буду думать, что Безоброчный никуда не годится, — решил старшина: — сдадим его, почтенное общество, в солдаты?

— Что ж, дело будет доброе, лишь бы только приняли.

Но в солдаты Безоброчного не приняли: не совсем в здравом уме человек и членоповреждение у него большое нашли. Покончили с ним: «водворить» его, как сказано в бумаге, — и отвели ему для житья где-то забросовую и разваленную банишку. Затем на остальное все махнули рукой, — и «общество» совершенно успокоилось насчет Безоброчного.

И вот зажил в селе новый человек, и пошел ходить по всему православному миру «безоброчный»!.. Сперва на него глядели как на дурачка и сумасшедшего; потом, когда заметили, что Безоброчный в трескучие зимние морозы босиком ходит, стали называть его юродивым, и, наконец, когда Безоброчный пустился в предсказания, чуть в святые его не произвели. Где жил Безоброчный, когда спал и чем питался, никто не знал... Лют он сделался, потерял всякий образ человеческий и глядел на весь мир настоящим зверем. Всех Безоброчный бранил, и часто улица ог-

лашалась его громкими проклятьями богачам и мироедам. Только с ребятишками, которые не дразнили его и не пускали в спину камнями, он всегда был ласков и добр. Увидит, бывало, какого малыша, остановится и смотрит на него так-то ли жалостливо, вытащит из-под своей дерюги пряник и даст малышу.

— На-ка, съешь!..

Так и жил он целые годы... Рассказывали, что, будто бы, видали, и не раз даже видали, Безоброчного за селом, около большой дороги. Ночь... Месяц светит, а Безоброчный стоит на коленях и молится... Время от времени поднимает он к небу руки и долго глядит на звезды; вздохнет и вдруг громко взмолится:

— Господи! пошли же ты мне конец скорый!..

Всю ночь он молится. Но ежели заметит, что его видят, быстро встает с земли и бежит...

Пришел последний час Безоброчного.

— Безоброчный кончается! — возвестили селу ребячьи голоса, и все малыши целыми стаями куда-то понеслись.

Насилу мы отыскали Безоброчного: жил он в овраге, по дну которого протекает ручей, и лежал теперь направо, у самого входа в землянку, которую после стали звать пещерою Безоброчного; сквозь ветхие лохмотья, которыми едва прикрывалось его тело, выставились железные вериги. Лежит Безоброчный, глаза закрыты и словно уж он не дышит.

Над головою у него тихо шумят зеленые ветви берез, а в ногах весело журчит светлый ручей. Лицо Безоброчного худое, покрытое морщинами и все обросшее волосами, но такое спокойное, тихое и ясное. Ребятишек, ребятишек сколько кругом стояло и сидело на зеленой траве!.. В сторонке притаился Гаврилыч, весь уже поседевший, и укладкою отирал слезы. Пришел священник, в руке крест и евангелие.

— Соберись с силами... Ободришь! — говорит батюшка и наклоняется к умирающему.

Безоброчный открыл глаза. Смотрит... День стоял такой чудесный, на белых жестяных крестах церкви играют лучи солнца, небо лазурное, чистое и так-то приветливо улыбающееся; а вблизи, кругом, стоят ребятишки и с участием выглядывают из-за яркой зелени на Безоброчного. Смотрит он... Вдруг у него улыбка такая радостная показалась на лице.

— Вася, — заговорил Безобро́чный тихо. — Неужто это ты за мной пришел? Подойди ко мне, не бойся!..

— Не желаешь ли исправиться? — осведомился батюшка, опять нагибаясь к больному.

— Желаю.

— Дети, отойдите дальше! — приказал священник и все от землянки отхлынули.

Через несколько минут ребята снова надвинулись.

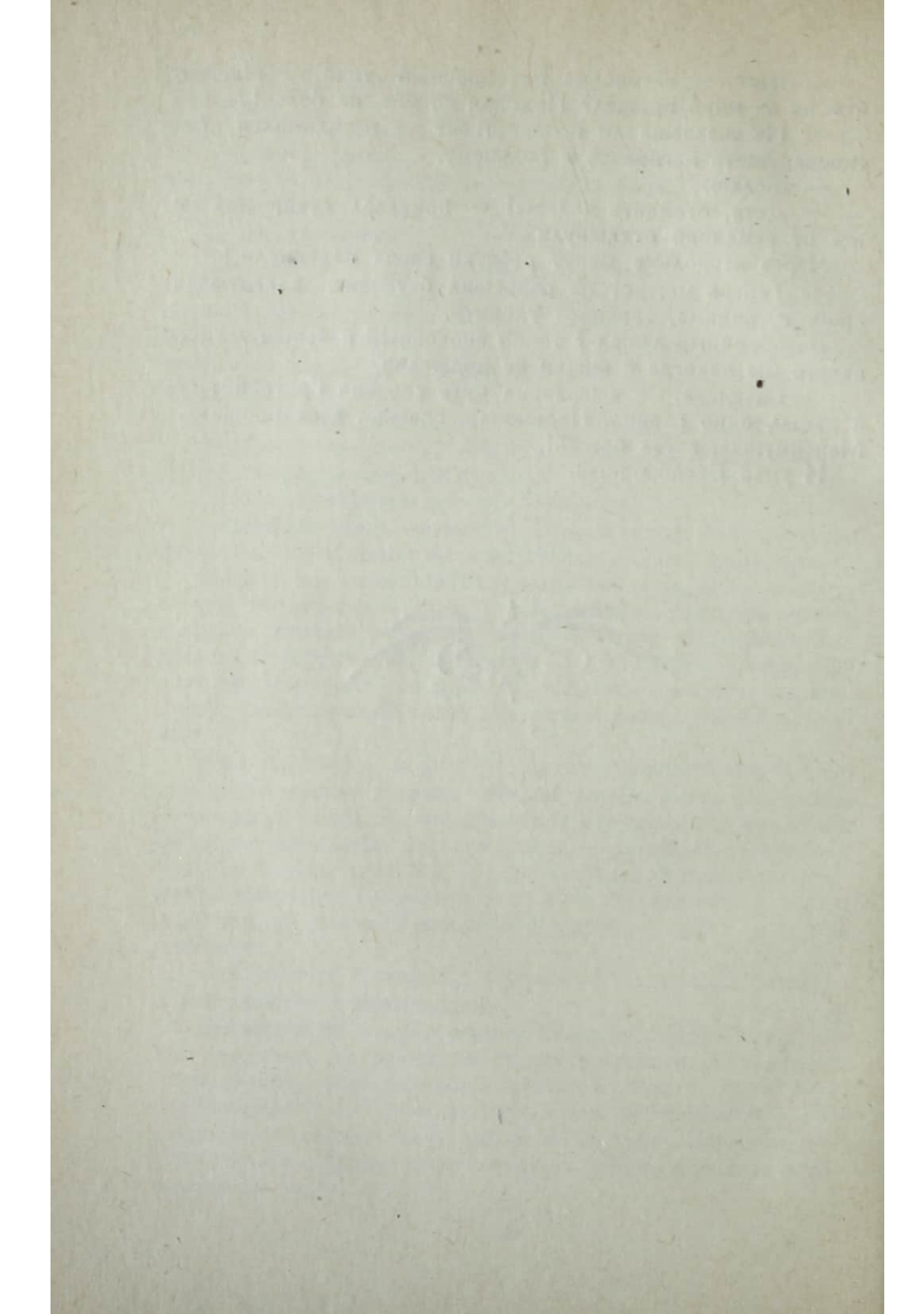
— Теперь можно! — разрешил батюшка, завертывая крест и, видимо, торопясь уходить.

Безобро́чный лежал с таким спокойным и ясным лицом, какого мы никогда в жизни не видывали.

— Батюшка, — выговорил чуть слышно Григорий: — я забыл одно слово... Парамона... скажи... всех прощаю... Максимушка, ангел божий!..

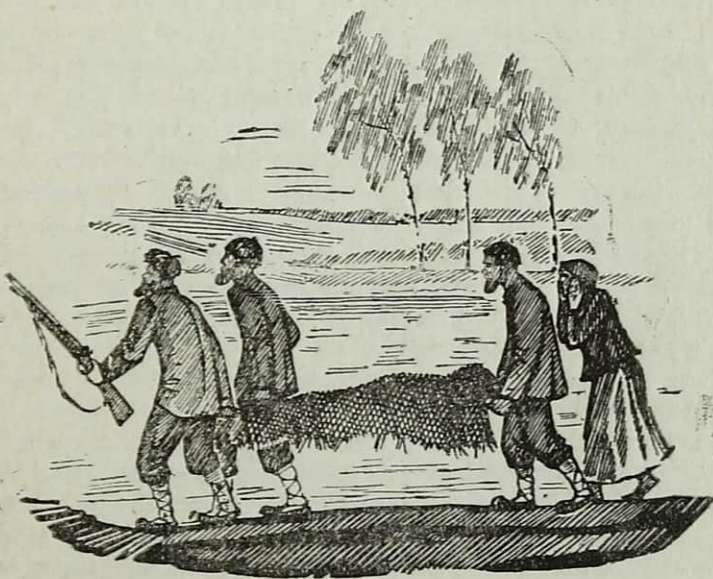
И умер Безобро́чный.



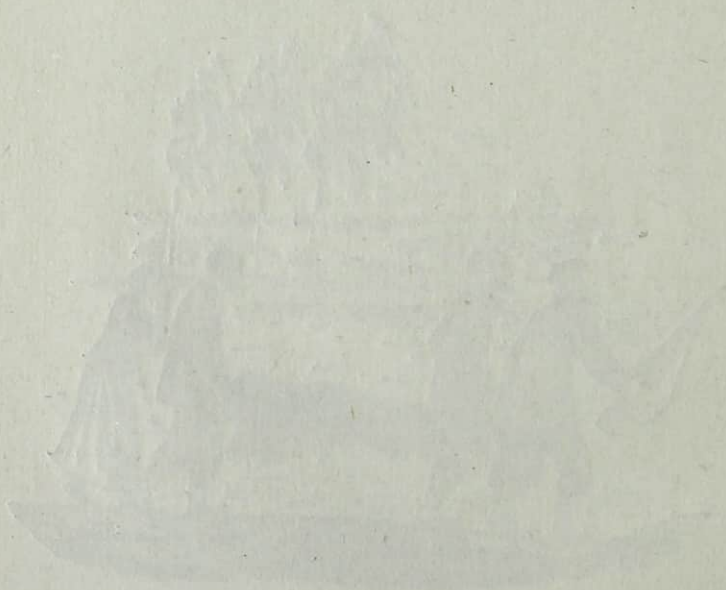




# НЕ В ОБЫЧАЕ



THE HISTORY OF THE





ТЕЦ Андрея был человек состоятельный. Ивана Арефьича Поплавского знали не в одном своем уезде, — его знали на Волге, с ним вели знакомство многие купцы. Будучи государственным крестьянином, он, не бросая земли, занимался лесною торговлею, и однодеревенцы считали его тысячником. Дом Ивана Арефьича до сих пор стоит — высокий, на барский манер построенный, с флигелями и службами; его видно за пять верст, когда идешь или подъезжаешь к деревне Курьяново. Не живет в нем только прежний его хозяин, а другой... Семейством большим бог не наградил Ивана Арефьича: всего два сына и дочь. Вскоре, как на свет явился Андрей, жена его умерла, и ребенок остался на попечении бабки. Глубоко затаил в сердце Иван Арефьич свое горе и до самой смерти нес его молчаливо. Любая девица охотно пошла бы замуж за молодого вдовца, — ему не было еще тридцати пяти годов, — но он не пожелал вторично жениться. «Ежели с первой, голубушкою моею, господь не привел пожить, так вдругорядь и не для чего жениться: покойной в молодой жене мне не найти, а детям она уж не мать». Вся любовь его сосредоточилась на младшем сыне. «Живой патрет матери» — говорил отец, лаская Андрюшу и с нежностью глядя на розового и голубоглазого сынишку. Бабушка души не чаяла в маленьком внуке и заменяла ему родную мать. Старший брат, двенадцатилетний Петр, помогал в делах отцу и ездил с ним по лесам. Детские годы Андрюша провел в родительском доме, в обществе бабки, отца, брата и сестры; последняя была старше его семью годами и любила с ним няньчиться.

Играя с братишкой на полу, девочка часто пела деревенские песенки, а бабушка рассказывала сказки и разные были. Когда Андрюше минуло семь лет, отец взял сынишку на Волгу с целью показать ему города и людей.

Мальчик от всего приходил в удивление и восторг, забрасывая отца вопросами.

— Тятя, что это впереди у нас большое да белое? — спрашивал мальчуган, увидев перед собой вдали, на горизонте каменные здания большого города.

— Да это, сынок, Нижний видать!

— А то... вон что блестит... широкое?

— А то — Волга-матушка с рекой Окой сошлись. Видишь, как привольно они по лугам разлились!

Когда они подъехали еще ближе, и город, раскинувшийся по откосам и горам, и на десятки верст разлившаяся величавая река со множеством пароходов и судов, и линия пристаней с копошившимися на них людьми представились взорам мальчика, он удивленно и долго смотрел, не в состоянии выговорить слова.

— Тятя, не поедем туда! — схватив отца за руку, воскликнул мальчик: — вернемся домой.

Андрюша испугался. Отец успокоил его, и на другой день они ехали на пароходе вниз по течению Волги к городу К. На пароходе мальчик сперва дичился людей, глядел на все растерянно и держался за полу отца кафтана; затем поогляделся, попривык и уже без боязни любовался видами берегов, сел и деревень. Не доезжая города К., Иван Арефьич показал сыну рукою на стоящие у берега верст на пять плоты, барки и прочее.

— Это вон лес, Андрюша, что от нас гнали! Видишь? А вон и наши плоты... Здорово, здорово! — махал картузом Иван Арефьич, заметив своих сгонщиков, которые узнали хозяина и кланялись ему с плотов. — Слава богу, довели благополучно!

Расторговавшись хорошо на лесной ярмарке, Иван Арефьич воротился в родное Курьяново и занялся хозяйством. Рожь уже колосилась, яровые густо зеленели, и покос был накануне. Землю у него обрабатывали наемные рабочие.

Осенью Андрея отдали в земскую школу. Иван Арефьич сам не знал грамоте, но хорошо понимал пользу ученья и не раз сетовал, что его с детства — «не поучили». «Безграмотный — что слепой» — говаривал он, и потому обоих сыновей отдал в ученье. (Петр учился у дьячка, так как школа в селе открылась позднее.)

У Андрюши оказались хорошие способности. В первый год он выучился читать и писать, знал первые четыре действия арифметики и молитвы. Каждый день к двум ча-

сам к помещению школы подъезжала гнедая лошадка; Андрей, с котомочкой учебных книжек, в овчинном полушубочке и шапочке, выходил на крыльцо и усаживался в сани, забирая с собою товарищей, которым было по пути, и ехал в свою деревню, где встречали его ласки родных. Отец гордился успехами мальчика. Следующий год и третий Андрей зимы оставался при школе, в квартире одной из учительниц, и домой ездил только по воскресеньям и праздникам. Занимаясь вообще прилежно, он выказывал особенную любовь к природе и математике: для него было наслаждением, когда учительница рассказывала о жизни растений и животных, сообщала некоторые сведения из физической географии и знакомила с солнечной системой. Решить самую трудную арифметическую задачу для Андрея составляло торжество.

Целые десятки маленьких голов уткнулись в свои тетрадки: выражение лиц сосредоточенное, тихо шевелятся губы, и карандаш бойко бежит по бумаге.

— Готово? — спрашивает учительница.

Среди класса поднимаются руки.

— Андреев, говори: сколько у тебя?

Андреев отвечает.

— Не так. Петров, у тебя сколько?

Но и Петров «ошибся». Наставница спрашивает еще нескольких мальчиков.

— Поплавский, говори!

Андрей встает и отвечает.

— Хорошо, — произносит учительница. — Поди к доске и покажи им, как ты решил задачу.

Андрей вылезает из-за стола, подходит к большой черной доске, стирает губкой мел, говорит, в чем состоит задача, и пишет на доске; потом вслух делает решение.

— Верно у него, так! — слышатся голоса со стороны столов. — Мы ошиблись да же маненечко.

Черты характера Андрея обозначились уже в школе. Случалось, ему не удавалось что-нибудь из уроков, — тогда он просиживал несколько часов сряду и непременно добивался своего: до тех пор он не лег бы и спать. Несмотря на свои успехи и «тысячи» отца, Андрей ничем не давал чувствовать товарищам своего превосходства; он со всеми ладил, делился привозимыми ему бабкою припасами с бедными и оборванными малышами, и его почти все любили. Но с богатенькими, особенно теми из них, которые «чва-

нились» перед бедными, он держал себя гордо и «зазнаишкам» часто от него доставалось. В числе учеников был Ванюшка Сапун, сирота и безответное, загнанное существо; озорные мальчонки постоянно над ним смеялись и нередко колотили. Ванюшка всегда и на все отвечал одними мочаливыми слезами, предварительно как-нибудь отвернувшись или забившись в уголок, чтобы слез его не заметили сорванцы. Раз, во время «большой» перемены, когда весь класс, развязавши узелки, завтракал, Ванюшка достал подаренный ему матерью сухой крендель и, не избалованный подобного рода лакомствами, положил его перед собой на стол и стал им любоваться. Сосед Ванюшки, сын лесного торговца, схватил крендель и спрятал.

— Отдай! — взмолился мальчуган, и на глазах его заблестели слезы.

— Чего отдать?

— А мой клендель.

Обидчик засмеялся.

— Вот, братцы, поглядите, какой этот Сапун Ваньшатка у нас завидуший: я принес из дому, а он говорит: «отдай мой клендель».

Андрей поднялся с места, подошел к сыну лесника и сказал.

— Подай!

— А тебе пошто?

— Подай! — настойчиво повторил Андрей.

Мальчик нехотя отдал.

— Теперь подай, что у тебя в узле!

Сын лесника огрызнулся:

— Как же, отдам я тебе... Это — мое!

Андрей, ни слова не говоря, нагнул одною рукой к столу голову противника, а другою выхватил узелок и сказал:

— На, Ваньшатка! Это — все твое!..

Посрамленный таким образом, сын лесника, получив свободу, хотел, было, отнять свое добро; но Андрей, весь побелев, громко крикнул:

— Не смей!.. Прибью, ежели отнимешь!

Шумный класс замер: муха пролетела, слышно бы было. «Ваньшатка», счастливым возвращением своего кренделя, протянул ручонку с узелком к своему обидчику.

— Возьми, — сказал он: — мне чужого не надо.

Андрей даже покраснел до ушей, улыбнулся светло Сапуна и потом обвел всех товарищей глазами.

— Видели, — сказал мальчик, — каков Сапун?.. Не стыдно тебе, — обратился он к лесникову сыну, — отнимать у сироты останний кусок? Бессовестный!.. Да и вам, братцы, грех будет от бога, что всегда насмехаетесь над Ваньшаткой!

Все были пристыжены.

— Справедлив у нас Андрей, — говорили после ребята; и с тех пор оставили Сапуна в покое.

В школе Поплавский сблизился с одним мальчиком, способным и умным, Сашею Кашинцовым. Первый год, учась в одном классе, Андрияша ладил с ним, как и со всеми, но особенной дружбы к нему не питал. На следующий год, когда он поселился у наставницы, заметил, что Кашинцов, являясь в школу до начала класса, помогал в занятиях слабым из учеников, вдруг полюбил его, и с того времени они сделались задушевными друзьями. По окончании курса мальчики поменялись крестами.

## II

Между Андреем и его старшим братом, Петром, мало было общего: Петр, будучи еще мальчиком, отличался практическим умом, думал только о том, как бы сделать все повыгоднее, чтобы побольше «барышку» получить; Андрей, наоборот, думал, как бы не обидеть кого, чтобы все шло по справедливости. Петр и мальчиком, когда ехал куда с отцом, обращал внимание на каменные и богатые дома, спрашивал отца, во сколько тысяч обошелся хозяину такой-то дом; в природе тоже видел предмет одной наживы и обогащения; людей ценил по капиталу и т. д. Андрей бескорыстно любовался архитектурой зданий, прекрасными растениями и цветами в больших окнах, засматривался до самозабвения живописными видами, заслушивался родными песнями и, вообще, никаких практических способностей не проявлял. Петр, достигнув двадцатитрехлетнего возраста, сделался настоящим «коммерсантом» и никогда не расставался со счетами; двадцати лет он женился по указанию отца на дочери одного промышленника и ко времени выхода из школы младшего брата имел двоих детей.

Год минул, как Андрей оставил школу. Весну и половину лета Иван Арефьич возил сына по Волге, знакомил его с купцами и постоянно говорил:

— Присматривайся, Андрюшенька, к людям, примечай, какие везде порядки и заведение, да исподволь приучайся к делу, пока отец жив.

Вторую половину и вплоть до окончания полевых работ мальчик помогал отцу в хозяйстве: помощь его заключалась главным образом в записывании чего-нибудь и в выдаче по распоряжению отца денег рабочим. Зимой он часто ездил в село, брал из училищной библиотеки книжки и гостил у своего друга, крестового брата Кашинцова. Село тянуло его: в нем — школа, с которой связаны у Андрюши самые лучшие симпатии.

Ему исполнилось двенадцать лет, когда Иван Арефьич в первый раз построил две «беляны» и нагрузил их строевым лесом и дровами. На белянах отправил старшего сына, а сам с младшим поехал на лошадях.

Беляны, барки и многочисленные плоты, как непрерывный плывучий мост, тянулись по одной из лесных рек, притоку Волги, направляясь к городу К., где каждую весну бывает ярмарка и где на все среднее и нижнее Поволжье закупается лес; недели плыли к месту беляны и барки лесопромышленников; наконец, они приблизились к устью, бросили якорь и вывесили разноцветные флаги. С лесной пристани и высокого мыса каждый по флагу узнавал, чье пришло судно. Иван Арефьич также отличил свои беляны и не без радостного чувства ждал, что вот через час-два они выйдут из устья, и их благополучно проведут к лесной пристани: он успел в городе переговорить с наехавшими покупателями, сказал цену своему товару и имел виды на хороший сбыт.

С утра стоял чудный майский день. Волга была в полном разливе. Весь луговой берег, залитый водою на десятки верст, представлялся совершенным морем с отраженным в его светлой поверхности лазоревым небом и дробящимися без конца золотыми лучами вешнего солнца; посреди этого голубого, всего сияющего моря выплывали местами прелестные островки, блестящие свежей, яркою травой и молодой зеленой листвою деревьев. Даль была ясна и прозрачна.

Но около полуден с юго-запада подул ветер, из-за го-



ры поднялись черные тучи, и побережье нахмурилось; вскоре зеркальная поверхность реки помутилась, и по ней заходили «барашки».

— Ну, теперь делов наделает! — послышались голоса с пристани.

Иван Арефьич, предчувствуя опасность, крикнул гребцов, сбросил проворно с себя поддевку и в одной рубашке кинулся в лодку. Сильным ударом весла он отпихнул лодку от берега, порыв ветра подхватил ее, и лодка закачалась на гребнях волн. Андрей хотел последовать за отцом, но тот был уже далеко, и мальчик остался на берегу.

— Батюшка, батюшка! — кричал мальчик. — Возьми меня.. вместе погибать!

Но отец ничего не слышал: стоя в розовой ситцевой рубашке на корме, он сильною и умелою рукою правил рулем, а глаза его были устремлены на одну точку: он видел тихо покачивающиеся вдали беляны и слышал, как по всей реке пошел какой-то шум.

— Поналяжь, ребяташки! — кричал он гребцам: — Красненькую за труды!

Между тем кругом темнело, слышались уже вдали глухие раскаты грома и сверкала молния; как валуны, грозно вздымались сердитые волны, ударялись о берег и с диким воплем отпрядывали назад, оставляя за собою белую пену. У лесной пристани, на высоком мысу и у лодок — народ, все беспокойно следят за бросившими якорь судами и нескончаемыми пловучими мостами плотов; в городе угрюмая тишина, и в ней необычайно громко отзываются голоса и клики со стороны реки. Внимание любопытных устремлено на устье, где покачиваются беляны, и лодку с рулевым в розовой рубашке; видят, как она ныряет вдали черною точкой, как взбрасывает ее кверху набегающею волной и снова бросает в широкую пасть бездны... Вот уж лодки и не видать, — огромная волна совсем захлеснула ее; но снова мелькнула розовая рубашка, опять лодка борется с враждебными стихиями и подвигается к белянам. Каждый глядит и чувствует: громадные усилия напрягают гребцы и нечеловеческой силой обладает рулевой, чтоб устоять в такой отчаянной битве.

На лесной пристани попрежнему стоит в суконном кафтане мальчик с светлорусыми кудрявыми волосами и не сводит глаз с лодки; почти у самых ног его разбиваются

волны, грозя унести с собою, но он неподвижно стоит на месте и смотрит. Кучка зевак собралась около него.

Словно ночь надвинулась, — так стемнело, — и наступила мертвая тишина. Волны, как будто, улеглись и перестали шуметь; река просветлела и выделилась из окутавшей ее тьмы. Но не прошло минуты с наступления этой роковой тишины, как молния разрежала пополам черное небо, на мгновение затопив ослепительным светом реку, побережье и окрестность, и разразился страшный громовой удар... Послышался какой-то неопределенный гул, с земли там и сям поднялись и завертелись песчаные воронки; быстро растягиваясь во все стороны, они слились и, как нечто живое, грозно двинулись на реку... Волга тяжело охнула, вспенилась и заклокотала. В то же время беляны на устье содрогнулись и выпрямились, сорвались с якорей и понеслись одна на другую. Еще раз где-то мелькнуло розовое пятнышко и исчезло.

Опять сверкнула молния...

— Бог отец!.. Пресвятая богородица! — молился Андрюша со сложенными на груди руками, поднося к небу глаза. — Ангел хранитель! спасите моего батюшку.

Чу!.. на устье треск, вопли и отчаянные крики. Ахнул весь правый берег, а река, как живой человек, застонала и неутешно заплакала.

— Разбились беляны! — огласилась испуганная пристань. — Не уберегся, гляди, Иван Арефьич...

Неосторожно вымолвленное слово коснулось слуха мальчика.

— Утонул? — вскрикнул он и вскочил на ноги. — Батюшка, батюшка!.. — и мальчик, протянув вперед руки, хотел кинуться в реку.

Кто-то ухватил Андрюшу за полы кафтана, и знакомый купец увел его в ближний трактир.

Андрей не видел, как ураган пронесся по реке, разрывая на мелкие клочки волны, ломая и разрушая на своем пути все, что ни встречалось; не видел, как опрокинуло вдали лодку, и пловцы ухватились за ее борты. Ударил ливень, словно из ведра, засияла во всех местах молния и загрохотал гром.

Ливень унялся и буря утихла, солнце выплыло из-за туч и осветило побережье. По неуспокоившейся реке неслись разорванные плоты, отдельные бревна, тесины, ос-

колки судов и дрова; на устье вместо десятка нарядных белян остались всего две с уныло нависшими флагами. В числе погибших белян, как потом скоро узнали, были и беляны Ивана Арефьича. Сам он и гребцы избежали смерти, благодаря стоящим у берега плотам, с которых успели баграми захватить лодку с цеплявшимися за нее людьми и подвести ее к плоту. Несмотря на то, что Иван Арефьич промок до костей, он до глубокой ночи провозился на реке, желая хоть что-нибудь спасти; но все его усилия остались напрасны: буря раскидала и унесла почти весь лес. Поплавский лишился всего своего состояния. Из денег, вырученных от продажи плотов, он не в состоянии был уплатить сполна лесовладельцам, у которых кредитовался, а сам с должников получил очень немного...

В деревне мужики не узнали Ивана Арефьича: похудел и поседел. Но он не отчаявался.

— Только бы бог дал здоровья, — говорил он: — свет не без добрых людей. Знают меня, помогут опять подняться.

Но подняться ему не пришлось. Все лето он покашливал, жаловался на боль в груди и боку. К рождеству богородицы Ивана Арефьича сильно прихватило; он велел послать за священником, исповедался и причастился. Спустя два дня он позвал сыновей и дочь, которая была уже выдана замуж и приехала навестить больного, — говорил, как они должны жить, если бог пошлет по его душу и они останутся без него, одни. Свою речь он заключил словами:

— Помни, Петр, будь ты меньшому брату вместо отца. Не обидь его. Позабудешь слова отца, тебя господь позабудет... Эх, Андрюша, не привел владыко милостивый дожидаться мне, когда ты выростешь и на свои ноги встанешь!..

Ночью больной начал метаться и тосковать.

— Дайте образ! — проговорил умирающий и поднялся в постели.

Зажгли перед иконами лампады и свечи. Дети сперва клали начал, потом один за другим подходили к отцу, становясь перед ним на колени. Дошла очередь до Андрея. Припал он головою к коленям отца и зарыдал:

— Батюшка!.. не умирай!.. Поживи, кормилец, с нами!

Потухшие глаза отца блеснули, и последние слезы заструились по его впалым и пожелтевшим щекам.

К утру его не стало.

Вскоре после смерти Ивана Арефьича кредиторы продали его дом, и семья перешла на житье в оставшийся флигелек. Год прожили они вместе, но на второй Петр стал говорить, что землей не стоит заниматься, — прибыли нет никакой, что лучше флигель продать и поискать других занятий; сам он думает переселиться к тестю, чтобы заняться по коммерции, а Андрею хорошо бы поступить в городе к купцу в мальчики. Андрей сказал, что старший брат волен делать, что хочет, но он не пойдет дальше села Петровского, где лежат кости отца с матерью и бабушки. Флигелек скоро был продан, старший брат уехал, а Андрей перебрался в село и поступил в ученики к садовнику. Мир принял от них отцову душу, а их надел нет: «земля плоха». Вырученные за флигель деньги Петр взял с собою, выдав Андрею всего десять рублей.

— У меня цельнее будут твои деньги, — сказал он: — я пушу их в оборот, и тебе пойдет процент.

Семь лет прожил Андрей сперва в качестве ученика, а потом — помощником садовника. Он скоро выучил латинские названия растений и познакомился с их культурою. Как в школе, бывало, изумлял он учительниц своими способностями, так теперь, если только не более, приводил он в удивление садовника: через год он знал то же самое, что и садовник. Этого мало: при содействии учительницы он выписал себе несколько книжек по садоводству и таким образом к практическому знанию садоводства присоединил теоретическое. К делу Андрей относился добросовестно и с любовью. В последний год помещик, приезжавший иногда в свое родовое имение на лето, устроил метеорологическую станцию, и Андрея по указанию конторы назначили наблюдателем.

### III

Андрей был здоровый и красивый парень. Высокий, с умным лицом и голубыми глазами, волосы белокурые, кудрявые. Одевался всегда чисто: в будни ходил в синей блузе и черных панталонах, а в праздники — в цветной шерстяной рубашке, поверх которой надевал черного сукна короткий кафтан и плисовые шаровары, а на голове носил

фуражку или маленькую поярковую шляпу, в каких обыкновенно ездят столичные ямщики-троечники. Андрей не пил водки и не курил табаку; любимым его занятием в свободные часы было почитать книжку или газеты, которые получались конторою, а в праздники — петь в церкви на клиросе. Часто виделся с крестовым братом, по старой памяти заходил иногда в школу, где были уже новые учительницы, — прежние переведены в другие школы, — и помощником одной из них в младшем отделении состоял Александр Кашинцов. Весной его изредка видали на деревне в хороводах, а зимою — на беседках; многие девки заглядывались на красивого и щеголеватого парня, но одна только Татьяна могла завладеть сердцем Андрея. Он давно ее знал и отличал от других девок, как более красивую, ловкую и веселую; но никогда с ней не заговаривал, и раз как-то, после встречи с Татьяной, начал, было, о ней думать, но скорее накинута на работу и работал до тех пор, пока усталость не выгнала из головы всякую мысль о красивой девке.

Весною садовник пригласил девок выполоть в саду траву и расчистить дорожки; в числе пришедших была и Татьяна: под предлогом заработать себе на покупку ленты она отпросилась у матери и тихонько от отца ушла в село. Андрей, проходя дорожкой, заметил Татьяну у одной из куртин и хотел миновать, но девка сама остановила его.

— Что не поглядишь, ладно ли я работаю?

Молодой садовник посмотрел на работу, но ни слова не промолвил. Татьяна первая заговорила.

— Ты чего не ходишь к нам гулять?

— Некогда... Делом занят.

Андрей говорил, а сам смотрел в сторону: он, как будто, избегал встречи со взглядом этой девки.

— Не все, чай, дело, — бывает коли и свободное время?

Татьяна, подоткнув ситцевый передник, стояла перед смущенным парнем и глядела на него прямо своими большими черными глазами.

— Нет, Андрей Иванович, — добавила она и потупилась, — ты, должно, нами, деревенскими-то, брезгуешь...

— Чего мне брезговать? Сам такой же, — не барин.

— А ты ходи... Вот, в воскресенье станем хороводы водить, песни играть... Весело!

Андрей взглянул на нее.

— Приходи! — голос Татьяны звучал так призывно, и сама она глядела на него так хорошо, любовно, что у Андрея вдруг стало весело на душе, и он почувствовал что-то еще никогда небывалое в его широкой груди.

— Приду, — сказал он решительно, тряхнув кудрями, и отправился дальше по саду.

— А что же ты не попрощался? — воротила его Татьяна.

— Да ведь, чай, увидимся?

— Я домой уйду. Матушка только на день меня ослобонила.

Всю ночь продумал он о Татьяне.

В воскресенье Андрей пошел за обедню. С клироса он увидел Татьяну. В голубом шерстяном сарафане, с белыми кисейными рукавами, она стояла впереди и усердно молилась.

«Экая девушка!» — подумал Андрей и больше уж не оглядывался.

— Ты ныне был в голосе, Андрей Иванович, — сказал по окончании службы дьячок. — Хоть бы в хор самого владыки. Многим даром тебя бог наградил.

Андрей сконфузился.

— Что вы, Алексей Иванович...

Из церкви Андрей, по обыкновению, зашел помолиться на могилы отца и матери.

Татьяна вместе со снохою поджидала его у церковной ограды. Она вскинула на пригожего садовника глаза и улыбнулась.

— С праздником, Татьяна Михеевна!

— Такжеде и вашу милость, — отвечала девушка. — Придешь? — прибавила она в полголоса.

Андрей кивнул только головой.

После обеда на зеленом лугу между полем Глушихи и полями села, где, извиваясь, весело бежит речка, деревенская молодежь собралась водить хороводы. Андрей сдержал слово: его видели в кругу, и он, почти не переставая, ходил за руку с Татьяной и пел, заливаясь соловьем, вплоть до алой зари...

Эх, молодец, зачем ты пошел в этот хоровод? Зачем ты поддался обаянью чар красавицы? Разве ты не слышишь, что поет песня? —

Хорошие, пригожие сердце высушили,  
Исповывели румянец из белава из лица,  
Из белава из лица удалова молодеца...

Лучше бы тебе, молодец, попрежнему любить одни цветы прекрасные да деревья зеленые!..

Андрей полюбил Татьяну со всюю страстью молодой и сильной природы, полюбил первую любовью своего сердца. Он сам не знает, за что ее полюбил. Это сделалось помимо его воли, как-то само собою. Он видит перед собой эту восемнадцатилетнюю красавицу, с румянцем на белом лице, большими глазами и темными бровями, видит густую черную косу с алою лентой; слышит этот грудной, веселый и разливчатый смех, от которого светлеет на сердце у самого угрюмого человека; чувствует в своей руке горячую руку Татьяны, жаркое дыхание ее на своем лице и биение сердца, поднимающее девичью грудь. Кровь ударила в голову и пламенем разлилась по всему существу молодого парня.

С тех пор часто видели красивого садовника в хоровах, а зимой на беседках. А что видел и слышал летними да осенними ночами господский сад, — об этом знали только два человека, и сад никому не поведал тайны, как будто, хорошо помнил стихи поэта, которые не раз в его тенистых аллеях вслух читали барышни, приезжавшие сюда на лето:

Любовь для неба и земли — святыня,  
И только для людей порок она!

#### IV

Зимняя ночь. Метель, поднявшаяся с вечера, часам к девяти утихла, но сверху все еще не переставало сыпать, как из частого сита, и ветер не совсем угомонился. По небу одна за другою и без конца волнами бегут тучи, пронизанные белым сиянием; иногда проглянет из-за них бледный месяц и опять спрячется. В серебряном полусумраке обрисовывается на горе сельская колокольня с чернеющимися в больших просветах окон колоколами. Улицы и дороги перемело, у строений везде надуло горы сугробов и кругом все занесло. Нигде человеческого голоса, никакого признака жизни. Только порою налетит откуда-то ве-

тер, взметет снег и мчится вихрем по неоглядной снежной равнине, пока не обессилеет и не рассыплется мелкою пылью; да со стороны колокольни, из сводчатых окон, слышен глухой и непрерывный шум, похожий на шум далекого водопада или большой многоводной реки.

Время от времени по воздуху проносится тихий и таинственный звон.

Вблизи села, на всполье, стоит общественный магазин, в котором хранится мирской хлеб. Под его навесом, около самого угла, болтается на веревке чугунная доска, предназначенная, как легко догадаться, для того, чтобы в нее колотил ночной сторож и тем самым давал миру знать, что за его добром блюдет строгий и неусыпный глаз; но из местных жителей никто не запомнит, чтоб общественный магазин когда-либо и кем охранялся, и чугунная доска, предоставленная капризам ветра, только пугает по ночам запоздалых баб и девок. Мимо пролегал из села дорога в деревню Зыбицу.

Под навесом темь.

Вот в полусумраке по заметной дороге показалось черное пятно; по мере приближения к магазину оно увеличивается, растет и принимает форму человеческой фигуры. Еще несколько минут — и с амбаром поравнялась девушка, в шубе с перехватом и повязанная платком. Не успела она пройти магазин, как из-под навеса раздался сдержанный голос:

— Таня... ты? — и вслед за этим окликом из теми выдвинулся высокий парень.

— Ай! — слабо вскрикнула путница и остановилась.

— Не бойсь. Это я... Поди сюда!

Девушка осмотрелась, — вблизи никого, свернула с дороги и, вязня в снегу, не без труда, пробралась к навесу.

— Как ты испугал меня! — сказала она, вступив в темную полосу. — Давно ты тут?

— Как метель унялась, — отвечал парень. — Да что же это мы? Чай, ведь, добрые люди здороваются?

— Давай, поздороваемся!

— Ну, здравствуй, Татьяна Михевна!

— Здорово, Андрей Иваныч!

Они поцеловались.

— Присядем, — сказал парень.

— А кто увидит?



— Некому. А ежели бы кто и прошел мимо, в теми-то не приметит.

— Смотри! — проговорила Татьяна, опускаясь на по-мост около двери и присаживаясь к Андрею. — Так ты меня тут все караулл?

— А то кого же?

— То-то... Да ты почем узнал, что я сегодня к тетке пойду?

— Из окошка видел, как ты днем по селу шла. Куда, подумал, ей кроме тетки в Зыбиху...

— Догадлив молодец! — засмеялась девка и хлопнула парня рукой по спине.

Андрей обнял ее.

— Не дури! Мне к домам пора, — смеялась Татьяна.

— Поди, я и так припоздала.

— Какая ты... все смеешься! — упрекнул ее Андрей.

— Ты знаешь, зачем я тебя поджидал?

— Почем мне знать, что на мыслях у себя держишь?

— Я про дело с тобой хочу говорить. Слушай!

Андрей приостановился, словно обдумывал, что ска-зать. Девушка насторожилась и ждала.

— Ну? — не вытерпела она. — Аль уж забыл, о чем хотел сказать?

— Вот что, Таня, — заговорил Андрей: — сколь дол-го нам так ни любиться, а придет время и расставаться...

При этих словах девушка мгновенно стихнула, — куда ее веселье девалось! — и она упавшим голосом спросила:

— Что так? Аль уж я тебе опостылела?

— А ты слушай. Садовник на днях мне говорил: «ты», говорит, «Андрей, теперь садовую часть лучше меня зна-ешь. Осенью я отсюда уеду на родину, а вместо себя ба-рину хочу тебя представить: ты и будешь садовником». Значит, тогда я сделаюсь настоящим садовником, буду от господина получать триста рублей в год. Ладно?

Собеседница ни слова не промолвила.

— Теперь вот что. Хотя по сейчас жалованье мне идет небольшое, но я живу не хуже других. Притом и станцию эту теперь мне припоручили: бедно-бедно — за целый год рублей полтора ста достану. Квартира господская, — не плати за нее. Вот как я это все сообразил да стал разду-мывать, что любовь наша с тобой не прочна, так я и по-решил...

— Жениться?!

— Отгадала...

Девка отшатнулась и быстро поднялась.

— Что ты?! Куда?

— Оставайся один. Не нужен ты мне! — закричала Татьяна, позабывши про всякую осторожность. — Кабы я знала допрежде твою совесть...

Андрей схватил ее за руку.

— Да ты постой! Чего ты встревожилась?

— Отстань от меня, бесстыжий ты человек! — в голосе Татьяны слышались слезы, обида и гнев.

— Таня, да, ведь, на тебе я хочу жениться!

Девушка повернулась, стала, как вкопанная и, не спуская глаз, безмолвно смотрела на парня.

— Желанный ты мой! — Она кинулась к нему на грудь и крепко обвила руками его шею.

Через минуту они опять сидели рядом и тихо вели разговор.

— А это ты не худое удумал. Повенчаться — дело доброе...

— Повенчаемся, тогда некого будет нам таиться...

— То правда твоя. Вечор сношенька на ушко мне шепнула: братья, вишь, промежду себя стоваривались: «ежели Андрея застанем, все ноги ему перешибем». Ты их опасайся.

— Разве с слегами подступят, ато я с ними управлюсь.

Татьяна взглянула на плечи своего возлюбленного, его богатырскую грудь и усмехнулась: она любовалась здоровым и красивым парнем.

Андрей наклонился к ней:

— Таня, милая! Ты не разлюбишь меня, когда мы мужем и женой станем?

— Н-не... Чай, я та же останусь, что и девкой была!

— Как мы заживем с тобой!

— Да, хорошо тогда будет... Ты, я знаю, не станешь меня прытко журить: что коли я не так сделаю, ты добрым словом да лаской свою глупую Таню поучишь... Да не целуй, не целуй ты меня... Всю месяц просветил, стыдно мне при свете-то!.. О-ох, желанный ты мой, красавчик ты мой! — в каком-то уже полузабытьи лепетала девушка, стараясь высвободиться из могучих объятий парня и в то же самое время, вся трепеща, прижималась и льнула к нему...

Небо очистилось от заволакивавших его туч; вверху, в ясной нежной синеве, засияли звезды и полный месяц осветил всю окрестность. Отчетливо, как на блюдечке, выступили сельские здания и постройки: пятиглавая каменная церковь с высокою колокольней, дома церковнослужителей, школа, больница и господский дом со службами и обширным садом. Выглянули и разбросанные вокруг села ближайшие деревни с мелькающими кое-где огоньками, и вдали, как старик-чародей, встал в мохнатой шапке темный лес, а белые поля разом вспыхнули и загорелись миллионами разноцветных огоньков. По этой необъятной сверкающей шире резвится ветерок и, как шаловливое дитя, гасит свечку, задувает искры и смеется над своими ребяческими проказами.

А у общественного магазина звучат поцелуи, раздаются страстные речи.

— Люба ты моя... Жизнь!

— Желанный!.. Сердечушко ты мое!.. Так бы целную ноченьку вместе... Больно уж мне хорошо да сладко с тобой!

На селе запели петухи.

— Пора! — вспыхнула Татьяна.

— Завтра схожу к Саше Кашинцову, — сказал Андрей, — а в воскресенье жена его придет тебя сватать. Не заупрямятся отец с матерью, — перед масленой и свадьбу сыграем. Откладывать нечего.

— Чего им упрячиться!.. Вот разве что бездомный ты... Да за этим не останутся. У тебя рукомесло есть.

— А не отдадут по доброй воле, мы убегом с тобой повенчаемся.

— Без родительского-то благословения?.. Нельзя, Андрюшенька: бог счастья не даст!

— Там что будет, а врозь нам с тобой не жить. Такое мое решение.

— Нет, мой желанный, дело без убега уладится... Стоит мне хорошенько с матушкой поговорить.

Лунный свет упал на девушку. Молодое лицо ее горело ярким румянцем, а из-под бровей сверкали черные глаза, с любовью устремленные на жениха. Андрей не выдержал и обнял ее.

— Радость моя! Как мы заживаем с тобой! Со стороны на нас люди будут глядеть да радоваться.

— Хорошо, милый! Любовно да советно станем друг с дружкой жить.

Тихий и вместе с тем унылый звон донесся до счастливых.

— Ой, что это?.. — девушка вдруг побледнела и задрожала.

— Веревка о колокол бьет; должно быть, вверху еще ветер не утих.

— Ах, ровно мне что в сердце стрельнуло!.. — жаловалась она, испуганно прижимаясь к парню. — Не гроб ли вместо золотого венца нам колокол вызванивает?

## V

Мысль о женитьбе занимала Андрея с первой минуты сближения с Татьяной. Но он хорошо знал, как относится мир к бездомным: ни один путный мужик не отдаст своей дочери за бездомного парня, а о Михее Потапове и думать надо забыть! Михей — мужик сильный, хозяин полный и изо всей деревни первый человек. От отца и деда унаследовал он крестьянский труд, с измалых лет привык к земле, любит ее и не изменит своей кормилице ради новых, хотя бы и выгодных, промыслов, на какие теперь стал падох молодой народ. В глазах Михея настоящим человеком был только тот, кто пахал землю, жил своим домом и умел вести крестьянское хозяйство. А кто бросил землю, да еще и дома-то своего не имеет, тот — какой уж человек! — просто «болтушка». Кроме того Михей Потапыч мужик с твердым характером, властный и настойчивый. Он, если б что узнал, поглядел бы сквозь пальцы на отношения дочери к молодому парню, но отдать ее за болтушку никогда не решился бы. Место помощника садовника с шестьюдесятью рублями жалованья не заставит переменить взгляда Михея Потапыча. Но, ведь, теперь Андрея сделали наблюдателем метеорологической станции; жалованье ему удвоилось, а с осени он займет должность садовника и будет получать больше четырех сот рублей. Неужели же Михей Потапыч теперь не отдаст за него своей дочери? Не может этого быть!

Итак, дело решенное: надо сватать Татьяну. Чего ждать, — девке двадцатый год! Пожалуй, посватается кто

со стороны, и Татьяну, красавицу его Татьяну, выдадут замуж за другого. А этого Андрею Попловскому не пережить; он скорей умрет, чем увидит Таню чужою женой!.. Андрей решил засылать к Михею Потапову сватов, о чем и сказал Татьяне.

На другой день прямо с метеорологической станции Поплавский отправился к своему крестовому брату.

Кашинцов жил в одной версте от села, в деревне Нагорихе, где у него был свой дом и семья. По годам ровесник Андрею, он был уже женат и имел ребенка. Женили его рано, как и вообще по деревням рано женят парней: понадобилась в дом лишняя работница, — и женили, как только исполнилось парню восемнадцать лет. Зато отцы не торопятся выдавать замуж дочерей: жаль расстаться с своею работницей. Жена Кашинцова была на три года старше мужа. Невысокого роста, худенький и с тонкими чертами лица, Александр выглядел совершенным мальчиком перед своею здоровой и краснощекой женой. Жили они согласно и хорошо, хотя жена и не понимала, для чего это муж читает все книжки и ходит в «училищу», чему-то там ребяенок учит. «Должно, так требуется», решила она по-своему. Не редко случалось, когда они вдвоем с мужем шли в церковь, попадавшиеся им по дороге мальчуганы всякий раз скидали свои шапочки и кланялись, приговаривая: «здорово, Александр Прохорыч!» Молодой бабе это очень нравилось, и она самодовольно улыбалась, толкая мужа в бок, и говорила: «Вишь, тебе какой почет от ребятшек!» Кашинцов любил школьные занятия и не без чувства сладкого трепета мечтал о том, как сдаст экзамен на звание сельского учителя и будет тогда настоящим учителем. Отец ему не мешал и работой не нудил, особенно когда в дом вошла новая работница — жена Александра. Но Иван, старший сын, вдруг запросил дележа. Началось из-за молодых баб: жене Ивана показалось, что младшую сноху старики больше любят, чем ее. Пошли жалобы мужу, подбиванье жить «по себе», своим хозяйством. Иван объявил отцу, что он желает отделиться. На первый раз старик отговорил сына, и вопрос о разделе замолк. Но жена начала «озорничать» и опять лезть к мужу. «Умазал тебя старыи-то, а ты, дурак, и поддался! Не видишь, разиня, что он под свой ноготь все гнет да Александре радеет?!» Не будь муж сам расположен к разделу, он не послушал бы жены

и в случае чего сумел бы сделать ей надлежащее внушение, чтоб она не приставала; но баба затронула, как говорится, за самую чувствительную струну и добилась своего. Пошли домашние неприятности, попреки да споры. Старик не вытерпел.

— Ну, Иван, я тебя выделю, — сказал он, — смотри, как бы после тебе не пришлось спокаяться... На себя пеняй: сам захотел! Бог с тобой, живи один, по своей воле...

Осенью Иван поставил сруб, взомшил и склал печь, а на зиму с женой перешел в новую избу, и зажили они своим хозяйством.

— Теперь, Александр, училищу свою тебе придется спокинуть, — объявил старик: — одному мне с бабами по хозяйству не справиться. До весны походи, ребятишек своих поучи, а там и за пахоту принимайся!

Сыну грустно было слышать, что скоро придется расстаться со школой, но горю пособить нечем. Надо теперь же держать экзамен, потребуется много времени, а тут — хозяйство, земля не ждет.

Андрей застал своего крестового брата за книжкой. Домашние сидели по своим углам за работой. Старик ковырял лапоть.

Поплавского встретили, как родного.

— Все ли здоров? — осведомилась баба, мать и жена Александра.

— Слава богу! — отвечал тот. — Вы тут как поживаете?

— А живем по милости создателя. В ночи сегодня Бог прибыль нам дал.

Андрей взглянул на молодую бабу. Та усмехнулась.

— Свинья опоросилась: восьмерых принесла.

— Так надо вас поздравить.

— Не читал ли, Андрюша, газет? — перебил молодой Кашинцов. — Новенького чего не пишут ли?

— Вчера в конторе читал. Больше все про Англию, Францию да Америку пишут...

— А ты сказывай: про Россию-то что толкуют? — вмешался в разговор старик.

— Да вот пишут насчет жучколовов...

— Это кто же будут, Андрей Иванович: начальники, что ли, какне новые?

— Да не разберешь, Прохор Семеныч: земство тут,

чиновники, ученые также есть... В южных губерниях, видишь, жучок хлеб очень поедает. Так вот и рассуждают, как от него избавиться. Умные люди додумались, что самое настоящее средство — канатом истребить жучка.

— Ах, затейщики! — засмеялся старик, продолжая ковырять свой лапоть. — Ну, а насчет нас, то есть, крестьян, пишут ли что?

Андрей сказал, что он вычитал про крестьян.

— Ну, это для нас не требуется... Пустое все!..

Поговорив еще немного, Андрей собрался, наконец, с духом, и приступил к цели своего посещения.

— А, ведь, я к вам по делу сегодня пришел, — начал он. — Степанида Тихоновна, к тебе с большой просьбой...

— Какая у тебя до меня просьба, Андрей Иваныч? — спросила молодая женщина.

— А вот какая моя просьба будет: имею я твердое намерение жениться...

Бабы значительно переглянулись, с любопытством посмотрел на своего друга и Александр.

— В добрый час!

— Не сходишь ли ты к Михею Потапычу, дочку его, Татьяну, за меня посватать?..

Степанида даже покраснела от удовольствия, но ни одного слова в ответ не промолвила.

— Нет, Андрей Иваныч, — заговорил старик, — снохе не след к Михею идти, — молода больно. Михей с такой свахой и разговаривать не станет. Ты лучше покучься моей старухе: она к этакому делу приобькла с кех пор. Живо тебе все обломает и любого мужика заговорит.

— Полно-ка, батька, что ты это говоришь! — замаха-ла руками жена. — Не пойду я... Видишь, парень не хотел мне поклониться, обошел старуху, а челом молодой ударил. Мне, чай, обидно! — Старуха засмеялась.

— Ежели тебе, Анисья Степановна, не в труд будет...

— Нечего уж теперь... Анисья Степановна! Раньше бы ты должен сдогануться.

Покончили, однако, дело на том, что в воскресенье Анисья Степановна отправится свахою к Михею Потапычу.

— А чтобы Михей старуху не заобидел, — сказал Прохор Семенович, — видишь, баба она у меня смирячая, только не клади пальца в рот, — я сам пойду с нею: авось,

вдвоем-то скорее уломаем. Потапыч — мужик с норвом: заартачится, так с ним ничего не поделаешь.

— Ну, Андрюша, дай тебе бог счастья! — вставая с лавки и подавая крестовому брату руку, сказал молодой Кашинецов. — Женись и обзаводись своим хозяйством.

В избе все рады были.

## VI

Наступило воскресенье. Помолившись богу, старики Кашинецовы уселись в пошевни и поехали в деревню Глушиху. Хотя дорога и не дальняя была, — всего одно поле и речку перейти, — но Прохор Семенович не захотел к Михею Потапычу пешком явиться: как можно, — сват!

— А знаешь, старуха, — говорил дорогою сват: — пути я не жду, — Михей крепок обычая...

— Да чего ему еще надо?.. Супротив Андрея жениха у нас он не сыщется.

— Так-то оно так, да, сама знаешь, не в обычае у нас отдавать девок за бездомков... Гляди — не дал бы нам Михей поворот от ворот!

— А бог-от батюшка?..

Михей Потапыч, успевши отдохнуть после обеда, сидел теперь на лавке и, позевывая и почесываясь, глядел в окно на улицу, где на завалинках посиживали бабы с девками, и на всю деревню неслась песня ребят-подростков:

Ах, ты, воля, моя воля,  
Золотая ты моя!  
Воля — сокол поднебесный,  
Воля — светлая заря!  
Знать услышал наш кормилец  
Про житье-бытьё, нужду  
Иль увидел наш родимый  
Горемычную слезу!

— Это — новая песня, — говорит Михей. — Из книжек, верно, зашла... В школе выучили...

И затем, слышит Михей Потапыч, из ребячьей стаи, игравшей под окном, поднимается задорный голос:

— Нажимай кулаки!

Целый разноголосый, но дружный и звонкий хор вопрошает:



— На чьи боки?

— На Тришкины!

— На Тришкины! — повторяет вся стая и набрасывается на мальчугана в полушубенке.

— Вишь, сопливые! — произносит Михей Потапыч и ухмыляется, разглаживая свою русую и широкую бороду. — А, ведь, и мы, махонькими, также играли и дубасили друга и недруга... Ба, Прохор Семеныч катит... да и с бабою!.. Никак ко мне? Так и есть! Митревна!

— Что, родимый, Михей Потапыч?

— Гости к нам... Кашинцовы!

Сердце матери екнуло: она знала, зачем приехали Кашинцовы.

Михей Потапыч встретил гостей радушно.

— Здорово, Михей Потапыч! — выступает старик Кашинцов. — Все ли ты здоров?

— Слава богу, здоров, Прохор Семеныч. Ты как?

— Ничего, бог пока грехам терпит.

Бабы между тем здоровались особо и о чем-то в полголоса между собою переговаривались.

— Митревна! подай-ко-сь нам чего с любезным гостем выпить да закусить.

— Напрасно!.. Ты не беспокойся... Мы, ведь, по делу.

— Дело само собой, а гостям угощение надо, — сказал хозяин. — Присаживайся к нам, Анисья Степачовна!

Акулина Дмитриевна поставила перед гостями на стол бутылку водки, тарелки с груздями, рыжиками и хлебом.

— Не обессудь, Прохор Семеныч, чаем тебя не угощаю: я, по старине, самовара не держу у себя в доме. Давай-ка, выпьем.

— Что нам чай: пустое дело. Это — бабий напиток. То ли дело вино! Разлюбозное кушанье...

— Будь здоров, Прохор Семеныч!

— Будь и ты здоров, Михей Потапыч! Старые мы с тобой приятели. Кушай!

Выпили старые приятели.

— Закуси, закуси, Прохор Семеныч! Митревна! ты что же не потчешь гостью?

— Сичас, Михей Потапыч!

В это время в избу вошла Татьяна и сноха — жена старшего сына.

Хозяин с гостем завел речь о волостном старшине.

— Опять высидел под арестом семь дней, — говорил Прохор Семенович.

— За дело! — отвечал хозяин. — Ежели ты в старшины пошел, так исполняй волю начальства. Ну-ка выкушай!

— Разве с тобой?

— Знамо дело.

Выкушали.

— Нет, Михей Потапыч, ты не в правиле рассуждаешь, — не соглашался гость. — Старшина за что пострадал? Недоимки не собрал... Так он мужичков пожалел.

— Верно. Но он — старшина, чиновник, значит, — не след ему жалеть: выбивай из мужика недоимку!.. Вот мы с тобой крестьяне, знаем наше положение, так мы не пойдем в старшины. А раз ты надел на себя этот хомут, то снисхождательства не знай и поступай, как тебе велят.

— Ну, я с тобой не согласен. Неш старшине нельзя снисхождение мужику оказать?

— Тогда ты — не старшина... Ну-ка, давай, выпьем!

— Не довольно ли, Михей Потапыч?

— Аль боишься своей бабы?.. Чай, мы с тобой не маленькие!.. Вишь, вишь, старуха-то твоя как глядит!

А старуха толкала Прохора Семеновича и шептала:

— Что ж мы о деле-то ни слова?

— Михей Потапыч! слышь что старуха-то моя бает: о деле-то что не говоришь?

— Выпьем, да и о деле потолкуем... Ну, теперь обсказывай по порядку, в чем твое дело состоит?

— А это уж тебе моя баба доложит.

— Говори, Анисья Степановна!

Анисья Степановна огляделась.

— Дело мое вот какое... Да нет ли в избе лишних бревен?

— Так... Эй, вы, бабы, вон из избы! — приказал хозяин. — Митревна, ты останься! Прохор Семеныч, ну-ка, давай, мы с тобой выкушаем!

— Выкушаем, Михей Потапыч! — охотно согласился Кашинцов, вероятно, чувствуя, что ему надо заpastись силами и красноречием.

«Лишние бревна» выкатились.

Татьяна, уходя из избы, вскинула на мать взгляд, полной мольбы и надежды.

— Михай Потапыч! — начала Анисья Степановна, — у вас есть невеста, а у нас жених. Не в угоду ли тебе будет принять к себе нашего князя молодого?

— Спасибо тебе, Анисья Степановна, за честь, — сказал хозяин. — Позволь тебя спросить, кто будет князь твой нареченный?

— Из семьи хорошей, рода знатного, Андрей Иванович Поплавский...

— Парень, я тебе скажу, Михай Потапыч, такой, что дай бог иметь всякому такого сына, — поддержал жену старик Кашинцов.

— Парень хороший! — проговорила хозяйка.

Михай выслушал и, поведя кругом глазами, сказал:

— Род Поплавского я знаю. С покойным Иваном Арефьевичем мы хлеб-соль водили. Царство небесное, хороший был мужик!.. Но за Андрея Иваныча нет и не будет моего согласия выдать свою дочь.

Все были ошеломлены.

— Михай Потапыч!..

— Молчи, Митревна!.. — прикрикнул хозяин. — Я знаю, что говорю. Андрей — парень хороший, но он человек не обстоятельный: землей не занимается и живет в чужом доме. Какой же он человек, какой он будет муж своей жене и отец детям?

— Не все от земли люди живы, — вступилась сваха: — у Андрея Иваныча есть рукомесо, он больше всякого крестьянина достанет.

— Не перечу тебе, сваха: достанет. Да сегодня у него есть, а завтра ничего нет. Необстоятельный, выходит, человек!

— Постой, сват, — вмешался Прохор Семенович. — Ты говоришь: обстоятельный. Ладно. А неш мужик, что потеет за сохой, лето и зиму мается и не в силах уплатить подати, человек по-твоему обстоятельный? Как ты насчет этого полагаешь?

— Дело плохо. Да, как никак, он на земле сидит, и дом у него есть, а не мечется по чужим углам... Да что много разговаривать: не отдам я своей дочери за болтушку.

При этих словах Прохор Семеныч, без приглашения хозяина, налил себе рюмку и моментально выпил.

— Михай Потапыч, — заговорила сваха, — у нашего

жениха хоша и нет своего дома, зато у него рукомесло: он завсегда жену и семейство содержать может.

— Никак не может, сваха! Все это — ветер, земли под собой жених ваш не чувствует: куда подуло, туда и понесло. Зацепиться парню не за что!

— Приостановись, Михай! — воскликнул сват. — Как ты можешь говорить, что Андрею зацепиться не за что, когда он вскорости место садовника получит и с башни своей чуть не за звезды хватается? Разве мы это с тобой можем?

— Вот потому-то я, сват, и говорю, что Андрей Иванович не пара моей Татьяне: звезды от нас далеко, а место садовника непрочно... Да будет: я не отдам Татьяны за вашего жениха!

— Напрасно, — сказал Кашинцов и снова налил рюмку. — Ах, как ты огорчил меня, сват!

— Кушай, кушай, сват! Давай-ко-сь и я с тобой выпью!

Жена Михея сидела, как на иголках, беспокойно поглядывала на мужа и все хотела что-то сказать, но слова замирали на устах... Наконец, она превозмогла себя и сказала:

— Михай Потапыч! не повременить ли тебе ответом? Ведь Танюшке нашей люб жених!

Михей взглянул на жену.

— А я неш не знаю, что он ей люб? Я и побольше кое-что слышал, а намерения своего не переменю. Не жених Поплавский нашей дочери: земли он не держится, бездомный, болтушка!

Акулина Дмитриевна, зная хорошо своего мужа, тихо вздохнула и печально понурила голову.

— Михай Потапыч! — сказала Анистья Степановна! — так какое же твое последнее слово нам будет?

Михей поглядел на сваху, помешкал немного и твердо проговорил:

— Не отдам.

— Сват! — воскликнул Прохор Семенович.

— Не отдам! — повторил Михай. — Скорее за последнего мужичонку, кой на земле сидит, отдам Танюшку, а не за Поплавского!

— Напрасно... Сват, что ты делаешь? Ведь ты к погибели ведешь... Вспомни господи! Пожалей хоть плоть-то свою. Танюша с Андреем...

— Все знаю, — перебил Михей. — Ежели ты хочешь быть моим гостем, сиди и пей, а о сватовстве — ни слова... Ну, давай, выкушаем!

Немного погодя, сваты прощались.

— Ах, Михей! Что ты со мной сделал? — вопрошал Прохор Семенович. — Как ты меня огорчил...

— Поезжай с Богом, поезжай! Выспишься хорошенько, — все пройдет.

Когда сваты уехали, Михей Потопыч надел дубленку и пошел к своему куму.

Уходя, он сказал жене:

— Слушай, Митревна, чтобы с этого дня Танюшка наша с Андреем ни-ни-ни... Ты за нее передо мной будешь в ответе.

Едва отец вышел со двора, как Татьяна вбежала в избу.

По лицу матери она узнала про судьбу свою.

— Родимая! — выговорила девушка, кидаясь к матери на шею.

— Доченька моя, ненаглядная!

## VII

Кашинцовы возвращались домой.

Никто из них слова не проговорил, пока не выехали за деревню.

— Ну, сваха! — первый начал Кашинцов, когда перед ними открылось чистое поле.

— Ну, сват? — подхватила жена.

Но, вместо прямого ответа на вопрос свахи, Прохор Семенович ни с того, ни с сего принялся глядеть на хвост лошади.

— Что хотел молвить-то? Говори!

Кашинцов еще внимательнее стал рассматривать лошадиный хвост и молчал.

— С чем мы домой приедем? — выговорил, наконец, сват.

Анисья Степановна вздохнула.

— Ох, не бай-ка уж лучше... Экая незадача наша!

Прохор Семенович дернул поводьями и закричал:

— Михей!.. Ах, как ты меня огорчил!

— Да ты куда с дороги-то свернул? — спросила жена, увидев, что лошадь побежала в другую сторону.

— Нишкни, старуха!.. Ежели бы у меня была теперь дочь, я сейчас бы ее за Андрея выдал. На, гляди, Михай, хуже я тебя, что ли, а вот, видишь, Поплавского к себе в вяття принимаю... в дом принимаю! Больно уж я люблю его!

— Семеныч, ты пошто в село-то гонишь? Аль у тебя там дело к кому есть?

— В село?.. В какое село?.. Ах, ты, старая, старая! Очумела ты, знать, с угошенья-то Михеева... Я к домам правлю...

Ни слова не говоря, Анисья Степановна выхватила из рук мужа вожжи и повернула лошадь обратно назад.

— Баба, как ты можешь супротив хозяина, то-есть главы своей!..

— А ты сиди, глава, да знай за бабу крепче держись, — сказала жена. — Вишь, дорога-то какая прыткая: того гляди, на ухабе еще где выкувырнешься.

«Глава» тихо засмеялся.

— Что ты? — начал он. — Да и-неуж-то я захмелел?.. Нет, стой, баба!.. Мы с тобой еще поговорим...

Прохор Семенович завозился на месте и стал подниматься в санях на ноги.

— Сиди! Куда таращишься?..

— Нет, ты ошиблась маленько... Я тебе покажу... Видела?

На этом слове пошевни широко раскатились, и Анисья Степановна видела, как взлетели на воздух ноги Прохора Семеновича.

— Тшпр!.. Стой!

Лошадь не вдруг остановилась.

Кашинцов лежал в сугробе, на спине, и добродушно улыбался.

— Вишь, разлегся, ровно барин! — покачивая головой, сказала подошедшая к нему жена. — Ну, вставай, что ли, сват!

Сват продолжал безмятежно улыбаться и спокойно лежать, не обнаруживая никакого желания расстаться с мягкой постелью.

— Старуха, да не-уж-то я и вправду захмелел?

Старуха развела только руками.

— Нет, ты постой, — говорил муж. — Я в унынии, это точно, потому Михей огорчил меня... Бог ему судья!..

— Да вставай!

— Обожди, дай обсказать... Я тебе все по порядку... Он меня огорчил, — на то была его воля, я не препятствую... Но я, слава богу, тверезв... Сама видишь, как есть в полном своем благополучии...

— Да, в благополучии, только подымайся скорей! Неш хорошо на снегу-то лежать?

— Сейчас... Ты не утруждай себя, — не надо... Не подымай, — я сам вскочу. Благодарение господу богу, ноги пока еще меня держат. Ну-ка, присаживайся вот тут, — место свободное есть... Ах, как жалко мне Андрея!

Не малых трудов стоило Анисье Степановне поставить мужа на ноги, довести его до саней и усадить на место. Прохор Семенович посмеивался и говорил:

— Какая ты, погляжу я, у меня чудная!.. Чего ты так хлопчешь?.. Хе-хе-хе!.. Разве я махонький, сам не могу?.. Ведь, это от огорченья, а то я тверезв, совсем тверезвый!.. Уселась ли ты?

— Сиди, батюшка, сиди хорошенько!.. Я поеду. Но, Карько!

Лошадка сразу взяла и весело побежала.

— Правь, я тебе не препятствую, — покорно уступал свои права жене Прохор Семенович, то и знай, с кем-то приятельски все раскланиваясь, хотя кругом не видно было ни души. — Смотри, как можно, осторожней! — предостерегал он жену. — Не вывались! Боже тебя сохрани, — повредить себя можешь.

Впереди со стороны деревни показалась высокая фигура в полукафтаны, достававшем до самых пят, и в рыжей остроконечной меховой шапке с ушами.

— Что это за человек идет? — увидел Прохор Семенович.

— Аль не признал долговязова-то? Церковник, дьячок из Петровского. Знать, в Глушиху шастал... Вишь, полами-то как замечает!.. А вот и нам сверток пришел!

— Стой! Попридержи коня... Я под благословение к нему подойду.

— К дьячку-то?! Окстись, Семеныч! Приди, батько, хоть сколько-нибудь в разум!

Прохор Семенович ухмыльнулся, не без препятствий

стацил с головы шапку и, держа ее в обеих руках, низко поклонился причетнику.

Дьячок знал Кашинцовых. Он стремительно как-то подался верхнею частью вперед, распротер широко руки и расставил ноги, изобразив таким образом из своей особы ветряную мельницу, и что-то хотел крикнуть, но Анисья Степановна ударила по лошади, и дьячок остался позади саней.

— А я, старуха, должно хмелен был, — допытывался дорогой Кашинцов. — Не от вина, — нет, помногу ли мы даве с Потапычем протащили?.. Ах, как он меня огорчил!

Тем не менее, однако, сваты благополучно и засветло еще добрались до своей деревни. Прохор Семенович успел даже немного «выветриться».

Сноха встретила стариков у ворот, ввела сама во двор лошадь, распрягла ее и, управившись, поспешно вошла в избу.

— С добрыми аль худыми вестями приехали?

— Ну, теперь станем вам обсказывать, — объявила Анисья Степановна. — Садитесь!

Издадала повела свою речь старуха, рассказывала не торопясь и с такими подробностями, что сноха живо сообщила, в чем дело...

— Видно, родимые, не больно удачно вы съездили? — тихо перебила она рассказ свекрови.

— Как неудачно? — возразил глава семьи. — Михай нас принял, как ближайших сродственников... Сейчас угощенье... богатое угощенье нам сделал!..

— Только не будет, сказал, моего согласия, не выдам я за вашего жениха Татьяну, — прибавила Анисья Степановна. — «Болтушка он»...

— Так и обозвался? — вспыхнув весь, спросил Александр.

— Так и обозвался: «болтушка», — вставил отец. — Да что, — прямо будем говорить, — мужик гордяня, с ним пиво не сварить!..

Степанида пригорюнилась, а муж поднялся с лавки и прошелся по избе.

— Неужели Потапыч не выдаст за Андрея?.. — промолвил он в раздумье.

— Наотрез отказал, — сказала мать. — А кто ж его знает, что у него там на уме сидит... Может, он испыты-



вает, поглядеть хочет, как Андрей это примет и поведет себя.

— Не думаю, старуха: Михей — человек характера твердого, словом не любит шутить... Упрям, как бык!

— Ежели Потапыч не переменит своего решения, Андрей на отчаянность пойдет, — произнес Александр.

В избе тихий ангел пролетел...

В эту минуту дверь отворилась, и через порог шагнул Андрей Поплавский.

А Михей Потапыч, беседуя тем временем с приятелем, своим кумом, за жбаном браги, рассказывал ему о сватовстве Поплавского. Кум слушал рассказ без всяких замечаний и возражений; по временам лишь сдвигал только свои широкие и густые темные брови, морщил лоб и слегка пыхтел.

— Похваляешь ты меня за мой ответ али нет? — спросил по окончании своего рассказа Михей у кума.

Кум попыхтел немного, посмотрел как-то растерянно по сторонам и опять сдвинул брови, но ни одним словом не обмолвился.

— Так какого же ты, кум, будешь мнения?

— Чего? — промолвил кум и взглянул на печь.

Михей рассердился.

— Экое ты дерево!.. Тебя человек спрашивает: похваляешь ты, али нет?

Твое дело...

— Знаю, что мое дело. Да ты-то как полагаешь?

Кум усиленно запыхтел и повел глазами на гостя.

— Ну, разгрузайся! — поощрил Михей Потапыч.

— Круто больно загнул...

А по-твоему как бы надо, кум?

— Полегше... Ноне, знаешь, времена не те.

— Так, по-твоему, надо валить девок за каждого проходимца? — напустился гость на хозяина. — Да плевать я хотел на твои времена!.. От того-то вот наш мир и пошатнулся, что молодой народ от земли бежит, к фабрикам погубительным этим тянет, на добычи легкие зарится. Что за крестьянин без земли? Одно название ему — пустой человек.

— Это ты... того... в правиле... Без земли — ничего, а земля всему корень.

— Так за что ты покорила меня? — обрадовался Ми-

хей. — Будь Андрей хлебопашцем, веди он крестьянское хозяйство, я Татьяну обеими бы руками за него отдал.

Кум весь покраснел и отчаянно запыхтел.

— Супротив тебя... нет, я ничего... Ты в своем праве.

Расставаясь с хозяином, Михей Потапыч еще раз спросил кума:

— Так, значит, ты похваляешь?..

— Твое дело... Я сказал: круто... От слова не отступлюсь.

— А я от моего решения не отступлюсь: не бывать Танюшке за Андреем!..

— Твое дело.

— Тпф!.. Дерево...

### VIII

Глушиха всколыхнулась. Ребятишки бросили «нажимать кулаки», подростки оставили петь про «волю дорогую», девки и молодые бабы покинули улицу, — все разбежались по домам, разнося важную новость. Не было в Глушихе избы, где не говорили бы о сватовстве Поплавского; не было ни одной девки, которая не жалела бы о молодом и пригожем садовнике. Бабы поворачивали дело на все стороны, а мужики молча слушали и втихомолку одобряли решение Михея. Парни-женихи не скрывали своей радости.

— Жаль Поплавского, что баять, — рассуждали пожилые бабы. — Хороший он парень, да постоянства никакого не имеет, не крестьянин, как следует. А мужичок-то христов, крестьянин-то, все тянется, в ниточку весь вытянется, а сам все тянется, сердешный, потому земляца у него... Михей-то, выходит, и прав.

— Коли этак-то большаки станут решать, как Михей, так нам повек за милыми не быть, — переговаривались между собою девки. — Ладно, поживши-то, им так мерекать, а каково нам, молодым-то, за постылых этих замуж выходить. Жаль Татьяну, а пуще того — Андрюшеньку.

— Полоумные, — вслушавшись в эти речи, ввертывали слово мужики: — вершенье всякому делу — земля! Что без земли мир поделает?..

— Знамо, соха да борона сами не богаты, а весь мир содержат, — в тон мужиков подлаживались бабы.

Так говорила деревня. Почти одновременно с нею говорило и село, также проведавшее о сватовстве Поплавского...

Хотя между Петровским и Глушихою не существовало ни телеграфа, ни телефона, но, тем не менее, новости не одной Глушихи, но всех окружающих село деревень петровцами получались чрезвычайно скоро. Для человека постороннего, незнакомого с местными нравами, подобного рода явление могло бы показаться загадочным, пожалуй, неправдоподобным; но кто знал клирика церкви села Петровского, Алексея Ивановича Мельхиседекова, тот был свободен от всяких суеверий: клирик (Алексей Иванович не любил, когда его называли просто дьячком) в совершенстве заменял собою остроумное изобретение Эдиссона. С ним не в состоянии была соперничать даже сама матушка Ироида.

Чуть ли еще не с первого дня своего служения причетником Мельхиседеков добровольно принял на себя весьма трудную обязанность: ежедневно два раза он делал обход по селу и сообщал знакомым разнообразные сведения и всякого рода известия. Больше пятнадцати лет несет он это бремя, и никогда не изменял себе: ни время года, никакая погода не властны были отвлечь его от исполнения своего долга, и петровцы аккуратно, изо дня в день, утром и вечером видели перед собою высокую фигуру и худое с черною бородкой лицо Алексея Ивановича. Этого мало: в особенно важных случаях, не терпящих отлагательства, Мельхиседеков находил возможным делать еще третий, не в очередь, обход.

— Как тебя, Алексей Иваныч, хватает? — говаривали ему слушатели: — везде-то ты поспеваешь и все знаешь!..

— Владыка небесный меня подкрепляет, — отвечал всегда в таких разгах клирик и окидывал собеседников своим ясным и спокойным взором.

И петровцы умели ценить неусыпные, чуждые всякой корысти, труды почтенного клирика: по почину одного из конторщиков, очень юного и добродумного человека, хотя несколько и насмешливого, Мельхиседекову дан был громкий титул: «Наш телеграф».

Алексей Иванович, после того как повстречался на дороге с Кашинцовыми, подобрал полы своего кафтана и с невероятной быстротою помчался в село. Не заглядывая к себе домой, он прямо с дороги, не переводя духа, пустился в «обход». Сперва он завернул в господскую контору, оттуда забежал к управляющему и к садовнику; потом стрелой полетел к лесничему, от него к учительницам и затем к фельдшеру больницы. В пять, много десять минут село уж знало, в чем дело. Оставался неоповещенным дом одного священника. Как нарочно случилось так, что все женское население Петровского, за исключением учительниц, в это время находилось в гостях у матери Ироиды, супруги иерея Благовестова, где дамы кушали сладкую наливочку, грызли орехи и перемывали ближним косточки.

Достаточно было одного появления Телеграфа на улице в неурочный час дня, чтобы вызвать со стороны обывателей особенное внимание и любопытство; но каково же было удивление попадьи и ее гостей, когда Мельхиседек, никем раньше незамеченный, влетел в гостиную матушки!

— Что ты, дьячок?! — не своим голосом вскрикнула мать Ироида. — Ах учительницы с кем сбежали?

Но Алексей Иванович, помолвившись сперва святым иконам, отдал присутствующим низкий поклон и, не отвечая на вопрос матушки, подошел к отцу Ивану.

— Благослови, отче!

— А ты говори, что принес? — горела от нетерпения попадьи.

Получивши благословение и поцеловав руку отца Ивана, Мельхиседек отступил шага на два и поклонился хозяйке.

— Как драгоценное ваше здоровье, мать Ироида?

— Да нечего зубы-то мне заговаривать, — оборвала клирика попадьи: — не болят они у меня... Сказывай, которая сбежала или уж обе хвосты-то показали?

— Не постигаю, о чем ты, мати честная, вопрошаешь меня, — присаживаясь на стул, отвечал смиренно Мельхиседек.

— Полно тебе дурачком-то прикидываться!.. Не тни за душу: сам, что ли, ты видел, с кем наставницы укатили, али от кого слышал?

— Ничего подобного мне ни самому видеть, ни слы-

шать от кого-либо не приходилось, ибо я женский политике не причастен. А ежели вас интересуют наставницы, то могу доложить, что обе они пребывают в мирном житии и просматривают у себя дома ученические тетрадки.

— Так с какими же ты к нам вестями пожаловал? — неприятно обманулась в своих предположениях матушка.

— А вести у меня не радостные, — продолжал уныло Мельхиседеков. — Потапыч отказал выдать дочь свою за нашего Андрея Ивановича Поплавского.

— Отказал?! Да разве Поплавский за Татьяну сватался?

— Назад тому полчаса времени, в бытность мою в Глушихе, почерпнул я сие печальное известие из самого благонадежного источника.

— Да неуж ты вправду говоришь, Телеграф?

— Истинную правду вещаю, мать Ироида, — отвечал Телеграф. — Кашинцовы сватами приезжали... Собственными очами видел почтенных старцев.

— Скажите, какая вдруг нам депешь! — произнесла находившаяся в числе гостей у попадьи жена управляющего. — Что значит необразованное-то мужичье!..

— У них другие понятия, сударыня, — начал, было, Телеграф: — они имеют свой собственный взгляд на вещи...

— Опріча невежества, я ничего прочего в мужиках не примечаю, — перебила гостья. — Поплавский может себе гораздо антереснее составить партию: за него с удовольствием пойдет любая в городе мещаночка — образованная, а не то что простая мужичка!..

Мать Ироида подхватила слова гостьи и принялась за работу всеми своими крепкими и здоровыми зубами.

— Ваша речь, душечка, чистое золото!.. Мужик, как он есть лесной пень, так им до смерти и останется... Хоть ты мужику кол на голове теши, он с места не сдвинется: поставит на своем. Загрубели, чувствительность всякую потеряли!.. Чего Михей не выдает дочери за Поплавского? Разве он не знает, что Татьяна его с Андреем путается?.. Все это прекрасно ему известно. Но как они настоящие дуrolомы и чувств деликатных в них нет, то и во внимание этого себе не берут: «что парень, что девка», говорят, «гуляют по своей воле, взыскивать им друг на дружке тут

не приходится; а вот ежели замуж девка выйдет, тогда баловать не моги, потому закон приняла». Вот у них какие понятия!

— Совершенно это напротив, как принято у нас в благородном обществе, — заметила супруга управляющего. — Когда я при господах наших жила в Петербурге...

Алексей Иванович привстал.

— Куда ты, клириче? — провозгласил отец Иван, безгласно все время сидевший до этой минуты в уголке, отсвечивая только широкою своею лысиною.

— Время домой, — произнес дьячок: — А по истине сказать, прискорбно за Поплавского, отец Иван! При многих талантах и с его голосом, да потерпеть, так сказать, в некотором роде заушение!..

— Телеграф! — вмешалась попадья, — дай поскорей депешу Поплавскому, что, мол, у нас есть в предмете две невесты, обе барышни.

Матушка не окончила и засмеялась, засмеялись и двести гости.

Мельхиседеков поклонился веселой компании и повернулся к двери.

— Слушай, дьячок! — крикнула ему вслед попадья.

— Клирик, мать иерейша, — отозвался от дверей Мельхиседеков.

— А, ну, тебя! Ты лучше выслушай!.. Я, ведь, с тобой не шучу: скажи Андрею, чтоб он к одной из наших учительниц посватался... Заморились, поди, они, в девках-то сидючи! Ежели еще теперь они не сбежали, так все равно, после когда-нибудь сбегут... Разве что вот жиру в них мало, а Танюшка девка сдобная... Зато — барышни, ученые!

— Что это вы, матушка, на учительниц-то уж больно... — робко заметила жена фельдшера, женщина с добрым лицом и румяными щеками, с заметно обрисовывающимся животом.

— Ненавистны они мне! — с сердцем оторвала мать Ироида. — У наших семинаристов хлеб отбивают.

— Семинаристы другие места себе получают, — ведь, они учат в школе, пока места нет. А учительницы — постоянные... К тому ж и занимаются они хорошо, ребяточки любят их.

— Да мне-то они противны! — выпалила попадья. —

А ты, Софья Павловна, должно, уж опять... Который это у тебя будет?

— Да, видно, шестой, — потупясь, отвечала жена фельдшера.

— Так. Каждый год по ребенку... Эх вы разошлись!..

## IX

Поплавский, вернувшись от Кашинцовых, долго не мог заснуть, думая о том, как развязать ему затягивающийся узел. Еще недавно в уме своем он порешил: не выдаст за него Михей своей дочери, можно тогда убегом повенчаться. Но теперь мысли у него перевернулись... «А что, ежели Татьяна не захочет выйти из родительской воли?» — поднялся в голове Андрея вопрос. Ему невольно припомнились слова девушки, сказанные ею в ночь последнего свидания: «без родительского благословения?» Он видит перед собой бледное, испуганное лицо Тани и слышит ее голос, звучащий такою трогательною печалью: «нельзя... бог счастья не даст»... Андрей беспокойно поворачивается на своей кровати и думает, все думает...

«Да, лучше бы с согласия... Благословение родителей много значит!»

Он вспоминает о предсмертном наказе отца старшему Петру: «Позабудешь слова отца, тебя Господь позабудет». Брат оставил Андрея на произвол судьбы, уехал и денег ему не отдал, да вот уж сколько лет и не пишет о себе ничего. По слухам, Петр занимается торговлею, водит знакомство больше с купцами и живет хорошо. А спокойно ли у брата на душе, счастлив ли он с своей женой?.. Сказывали люди, за галстук стал закладывать. Может, слова родителя и сбываются... Андрей никакого зла не имеет против брата, — напротив, он желает ему всякого благополучия, — но Петр позабыл волю отца...

Андрей заложил руки за голову и думает, а сквозь окно глядит к нему в комнатку светлая ночь, глубоко-молчаливая и величаво-холодная ночь.

«Если бы Михей дал согласие!.. Упрям он, — на чем станет, не своротишь... Так жить, без венца?.. Не прочно... Вон у староверов живут невенчанными, — у них это можно... А у нас, сколько так ни живи, а все надо венцом

«скрепить: нето отец за другого выдаст... Знаю, Михайлом ломаться хочет... Кашицыны такого же мнения... Разве Михайлом не понимает?.. «Не держится земли и своим домом не живет»... Да что у нас земля: какой от нее доход? Ежели бы не лесной промысел, давно бы вся волость с голода вымерла... Ведь, и теперь недоимки год из году растут... Нет, тут что-нибудь не так!.. Не наметил ли Михайлом другого жениха?»

Кровь прилила к голове молодого парня, что-то жгучее разлилось по всему его телу и в глазах затуманилось... Он вскакивает с кровати и мечется из угла в угол. Ему душно, нехватает воздуха, хочется разбить оконную раму и разнести по бревну стены одинокой, постылой своей комнаты.

Идут часы, время далеко уже за полночь, а Поплавский все думает... Нет, он ничего не думает, — все мысли у него в голове перемешались, и там нет теперь места никакой мысли, — а в сердце, где-то глубоко непрестанно жжет, горит и заливают пламенем его мозг... Одно лицо, один образ выделяются из этого целого моря огня и воплощаются в одно слово. Это слово — «Таня»!

Андрей бросается к окну... Перед ним обширный двор с господским белым домом, зеленая, слегка побелевшая от мороза, решетка сада и голые высокие деревья, покрытые инеем, а над всем этим светлая, голубая и бесстрастная ночь!... Смотрит Поплавский на сад, дом и тихо сияющее небо с незаметно плывущим месяцем и кроткими звездами. Загляделся он и чувствует, как понемногу отходит у него от сердца, постепенно стихают тревоги на душе... Теперь он снова в состоянии думать.

«Не поклонюсь Михайлу... Не дожидается он от меня этой чести! Не захотел по доброй воле отдать, убегом повенчаемся. Ежели Таня любит меня, она согласится...»

И на минуту в нем снова поднялось чувство тоски и обиды, чувство невыносимой муки и острой боли...

«Да нет, Таня любит меня... Надо только заранее все приготовить и устроить. Завтра же схожу к Алексею Ивановичу!»

## Х

Стояло морозное зимнее утро. Над господским и сельскими домами от крыш к синему небу поднимались тонкие



белые столбики. Из-за большой пятиглавой церкви выкатилось красное ядро солнца. Белые столбики слегка зарумянились и быстро начали принимать отливы розового, фиолетового и лилового цветов. По улице спешили в школу мальчуганы и девочки в овчинных тулупцах и шубенках с крашенными сумочками за плечами; у колодца скрипел очеп, слышалось всплескивание воды и стучала бадья; из одного конца села в другой носился Телеграф, то совершенно исчезая за воротами чьего-нибудь дома, то снова появляясь посреди улицы и через минуту или две опять где-нибудь проваливаясь. По всем этим признакам не трудно было догадаться, что «первый» обход близок уже к концу. Доставив последние свои «депеш» в контору, — депеш, на этот раз оказавшиеся совсем неинтересными, — и получивши кое-какие «справочки» относительно Андрея Поплавского, Алексей Иванович с невиданной еще никем поспешностью помчался во-свояси и до самого вечера оставался для петровцев невидимым, засевши у себя дома, в собственном «кабинете», за чтением «свежих» номеров газет, какие он захватывал с собой из конторы.

Мельхиседекков любил читать газеты и усердно следил как за внутренней, так и за внешней политикой. Нужно прибавить, что он был еще и великий философ. Несмотря на свое причетничество и многосложные занятия, Алексей Иванович находил время для чтения и широкую свободу для философствования. Как человек вдовый и бездетный, он имел в своем распоряжении слишком достаточно времени, чтоб удовлетворять всем потребностям своего «духовного бытия». Заведывание хозяйством по дому (иного хозяйства у философа и не полагалось) он поручил толстой и кривой бабе, которая не только ведала одну кухню, но, как во всеуслышание утверждала мать Ироида, оказывала, будто бы, даже влияние на миросозерцание и самого философа; но это несколько не мешало Мельхиседекову благословлять судьбу, которая для него олицетворялась в образе именно этой самой кривой и толстой бабы, так как, благодаря ее заботам и распорядительности, сам он был свободен от всяких мелочей и дрязг, соединенных с непосредственно-личным ведением домашнего хозяйства.

Поплавский застал Мельхиседекова сидящим в плетеном, на подобие глубокой корзины или «грохота», кресле, с листком одной из петербургских газет на коленях и с

устремленными к потолку глазами, — несомненные и ясные признаки того, что дух клирика парил уже с сферах «философического мышления». Он только что окончил чтением «фельетон общественной жизни», в котором три пятых были отведены автором полемике с фельетонистами других газет, одна пятая посвящалась художественному изображению великолепного столичного бала и последняя пятая, — описанию превосходного обеда по случаю открытия богадельни.

— Здравствуйте, Алексей Иваныч!

Клирик медленно повел глазами и, узнав вошедшего, молча простер ему руку, при чем повелительно кивнул головою на стул.

— А я к вам, Алексей Иваныч, — начал Поплавский. — Вы не заняты?..

— Садитесь, господин Поплавский!

Андрея нисколько не смутил подобный прием со стороны хозяина: он знал и прежде, что значит попасть к дьячку в момент, когда тот ударится в свою философию. Поплавский взял стул и сел против философа.

— Кажется, я не во-время к вам?..

— Сиди!..

Гость умолк.

Философ, между тем, теребил бородку и время от времени потрясал своею головою, покрытой густыми волосами, спускавшимися до самых плеч. Андрей решил выждать, когда хозяин возвратится из заоблачных стран на землю.

— Назидательно! — воскликнул философ. — До какой высокой степени может быть доведено изощрение ума человеческого!

Поплавский слушал.

— Цветы современного красноречия, непостижимая игра слов и тончайшее остроумие, а в результате — одни заушения и самооплевание!

— Алексей Иваныч, могу я теперь с вами поговорить?

— Не отверзай уст своих, доколе не придет час благовремения твоего, — осадил гостя мудрец. — Истинно сказано, что душа человеческая есть тайна, — развивал он дальше идею, на которую навело его чтение газеты. — Откуда, из каких неведомых источников истекает сия вражда между господами сочинителями, из-за чего они

ежедневно и столь нещадно себя разносят?.. Ум простого смертного не может сего постигнуть!.. Аз грешный, смиренный клирик храма божия, сооруженного во имя святых апостолов Петра и Павла, дерзаю вопрошить господ сочинителей: дружиз! разрешите мне тайну великую, ради чего вы полосуетесь и какое нравоучение из онаго полосования читатель может почерпнуть?

Как ни был озабочен Поплавский, но при таком обращении философа к господам сочинителям не мог удержаться от улыбки.

— И ответа они никакого мне не дадут, — уловив эту улыбку на лице слушателя, с убеждением добавил клирик: — нет разумного основания всенародно производить самобичевание!.. Вот вы, молодой человек, что вы можете для своего ума и сердца почерпнуть из этого фельетона? — подавая газету, заключил глубокомысленный критик.

— Ничего я вам об этом не скажу, Алексей Иваныч, — уклонился от ответа Поплавский. — Пришел я к вам по своему делу...

— Говори!.. Теперь ты можешь говорить, — великодушно разрешил Мельхиседеков. — Да нет, лучше не говори!.. Знаю, знаю, о чем ты намерен мне сказать... Первый, ведь, я и узнал о сем горестном для тебя факте.

— Что вам известно, о том я не стану говорить. Я пришел совета у вас попросить, Алексей Иваныч!

— Добрый совет клирик Мельхиседеков всегда может преподавать. В чем именно вы желаете со мною посоветоваться, молодой человек?

— Скажите, что мне теперь делать?

Клирик немедленно подал совет.

— Что вы с малых лет делали, то и продолжайте делать: занимайтесь садом, наблюдайте атмосферические явления, читайте книги и...

— Я хочу жениться! — прервал Поплавский.

— Одобрю. Ибо в священном писании сказано, что не добро человеку быти единому... А ты давно уже достиг возраста, законами как церковными, так и гражданскими, дозволяемого к вступлению в брак.

— Не повенчает ли нас с Татьяной Михеевной отец Иван?

Клирик широко раскрыл черные глаза и с недоумением посмотрел на собеседника.

— Я убегом думаю... Потихоньку с Таней обвенчаться...

Мельхиседеков вынырнул из корзины и ударил себя руками по бедрам.

— Как убегом? — наступил он на гостя. — Без дозволения родителей?

— Михей упрямится... Другого выхода нет.

— Да кто же вас повенчает? — загремел клирик. — Ни один священник, по нынешним временам, на подобное дело у нас не посмеет отважиться!

— Может, в другом где уезде повенчают...

— Повремени!.. Не торопись... Ты следуешь внушениям страсти, а не голосу здравого рассудка. Этот вопрос надо хорошенько обдумать и обсудить.

— За тем я и пришел к вам. Посоветуйте!

— Повремени, говорю! Надо обсудить и обдумать.

Клирик снова погрузился в свою плетенку.

— Не пожелаете ли вы, Андрей Иванович, — начал он, подумавши изрядное время, — взять себе в законные супруги иную девицу, помимо дщери Михея Потапыча?

— Я на другой не женюсь.

Чело философа омрачилось и он впал в серьезное и продолжительное размышление.

— А ежели бы нашлась девица достойная, с умом и даже с образованием?..

— Никакой мне не надо: я люблю Татьяну!..

— Повремени!.. Куда так стремишься? Успеем еще обсудить и с божьей помощью уладить дело.

Но клирик, хотя на словах и храбрился, на самом же деле чувствовал, что начинал уже терять всякую почву. Он долго ломал голову, тер себе лоб и, наконец, придумал выход из критического положения.

— Вот что, Андрей Иванович, я посоветую вам, — Мельхиседеков постоянно мешал в обращении к Поплавскому единственное число личного местоимения со множественным, что зависело от внутреннего состояния духа философа: — засылайте паки сватов к Михею Потапычу! Выражением почтительности и покорности скорее всего можно склонить волю честолюбца.

Поплавский встал.

— Не дождется он от меня этого! — сказал Андрей, бледнея. — Довольно с него... Я сватался, он отказал и

болтушкой меня выбранил. Да пропадай скорее моя голова, чем я другой раз стерплю от Михея такую обиду!

Алексей Иванович окончательно растерялся.

— Не торопись... Да что же это такое?.. Ах, господи, владыка живота моего!.. — бормотал он, разводя руками. — Стерпи, отнесись к положению своему не как юноша, но как муж зрелый, опытом и летами умудренный.

— Так вы никакого совета мне не дадите, Алексей Иваныч! — взявшись за шапку, вымолвил Поплавский.

— Все, все могу дать, лишь бы на добро и пользу!.. — взмыл к потолку клирик. — Но с чего же начать, что целесообразнее я могу преподать?

— Не знаете ли, куда и к кому мне обратиться, чтобы нас с Татьяной повенчали?

Мельхиседеков призадумался.

— К кому?.. Стой, не дыши!.. Есть у меня в одном уезде школьный товарищ, однокашник и друг мой... Нещо сколько уже лет он священствует. Разве не написать ли к нему?

— Будьте вы благодетелем! — взмолился Поплавский. — Напишите...

— Тише!.. Это дело должно содержаться в глубоком и строжайшем между нами секрете.

## XI

Поплавский торопился: меньше двух недель осталось до масленицы, — надо поспешить с убогом и скорее повенчаться... Садовник ни слова не скажет, отпустит, а один из конторщиков возьмет на себя временно заведывание станцией. Следовательно, с этой стороны нечего и заботиться, — все дело за Татьяной... Необходимо с нею увидеться, переговорить и на-днях уехать. Сегодня же он увидит ее.

Ночь. Та же светлая, голубая и глубоко-молчаливая ночь, как и накануне, когда Андрея мучили сомнения, и в груди его бушевала страшная буря. Вот, он идет по дороге, хорошо наезженной и отсвечивающей при месяце; по обе стороны расстилаются белые поля, сверкающие миллионами разноцветных искр и уходящие в даль, где они сливаются с небесным сводом, а впереди темным пятном выступает перед Андреем деревня Глушиха: там в раз-

гаре теперь «беседа», и Таня, наверное, поджидает его... Сердце у Андрея бьется сильнее, и он ускоряет шаги.

Еще не доходя до избы, в которой шла беседа, Андрей услышал песню:

Уж вы ельнички, вы березнички,  
Молоды горьки осиннички!..

В хоре девичьих голосов ему послышался один знакомый и дорогой голос... «Тут!» и в миг парень был уже на крыльце, толкнул дверь в сени и очутился в избе... Песня продолжалась. Андрей обвел глазами... «Где же она?»..

— Что стоишь?.. Садись, Андрей Иваныч, — проговорила одна девка, как только «сыграли» песню.

Андрей прислонился к «столбушке».

— Али еще вырасти хочешь? — засмеялись на беседе. — Будет с тебя: и так чуть не потолка хватаешь.

Поплавский встрепенулся.

— Здравствуйте! — сказал он и присел на лавку.

— Здравствуй и ты, Андрей Иваныч! Пришел к нам на беседку?

— Да, захотел проведать: давно у вас не был.

— На том тебе спасибо, молодец, — не забыл, значит! За это вот мы песенку тебе сыграем.

— Спойте, девушки... Да что у вас, гляжу я, ровно сегодня беседа не полна? — не утерпел он спросить. — Разошлись, что ли?

— Нету, никто еще не расходился по домам. Кажись бы, все девки здесь...

— Оприча дочери Михея Потапыгча, — добавил один из парней. — Татьяна не приходила...

Девки вдруг притихли и все как бы поклонились своим прялкам, а парни между собою переглянулись.

— Может, еще подойдет, — проговорил Поплавский.

— Наверяд ли подойдет, Андрей Иваныч, — отвечал парень. — Гляди, ты понапрасну сегодня только ноги к нам свои забивал...

Андрей взглянул на парня и чуть заметно улыбнулся.

— Не жалеи чужих ног, Василий Петрович, — сказал он: — береги лучше свои!..

Ребята все засмеялись, а Василий покраснел... Поговаривали на деревне, что давно Василью любя Михеева дочь, но Поплавский загородил ему дорогу... Не успел Василий ответить своему противнику, как девки громко запели:

На ком, на ком кудри вьются?  
На Андрее кудри русые,  
На Иваныче точно жар горят.

Андрей поднялся с лавки и стал ходить по избе, как требовала того песня.

С городов купцы соезжались,  
Над нево кудрям любовались:  
— Экова хорошева мать спородила,  
Этакова умнова и разумнова,  
Этакова школьнова и манернова...

Пела дружно беседа, разнося о достоинствах молодца на всю улицу.

Целуй, молодец, красных девушек!

Отцеловался Андрей с девушками, посидел еще недолго для виду и распрощался... Не до песен, не до веселья ему было!..

На деревне виднелись еще кое-где огоньки, но в доме Михея спали уже крепким сном.

Приостановился Поплавский посередине улицы, не зная, что ему делать... Но взгляд его неожиданно был привлечен тенью, обрисовавшеюся в прогоне между избой Михея и соседнею. Тень колыхнулась и пропала. Он вглядывается: у самого угла дома прижалась темная фигура и делает ему какой-то знак; Андрей хотел подбежать, но от угла быстро замахали рукою; он понял, куда ему идти. В ту же минуту отделилась женская фигура; крадучись по темной стороне и оглядываясь, благополучно миновала прогон и скрылась. Между тем, Андрей пройдя улицу, проворно обогнул деревню и направился к одному из овинов.

Бросилась Татьяна на грудь парня и словно застыла. Долго она не могла вымолвить слова, по временам лишь вздыхала и судорожно всхлипывала. Потом в овине слышались восклицания.

— Сердце ты мое, родной!..

— Таня, жизнь моя!..

— О-ох, милый!.. Светик ты радошный... Погубитель ты мой прекрасный!..

— Перестань, моя красавица! Бог даст, все устроится и мы примем с тобою венец.

Только вздохом ответила на это утешение девушка.

— Я тебя даве видела, — заговорила она, немного

поуспокоившись: — чуяло мое сердечушко, что ты придешь на беседку. Раз пять за вечер я подбегала к избе и все ждала, не увижу ли моего красного солнышка...

— Так что же ты на беседку-то не зашла?

— Батюшка заказал... Никуда не велел матушке одну пускать... Я ведь потихоньку из дому к тебе убежала!.. А видела я, как ты с девками-то на беседке целовался. Хотела погрозить тебе в окошко, да поопасилась: неравно, кто еще приметит...

— А грозиться-то за что?

— А ты не целуйся с другими. У тебя помимо есть с кем целоваться... Меня целуй, сколько хошь целуй меня, а других не моги! — шептала Татьяна, обвивая своими белыми руками шею парня и страстно прижимаясь к нему. — Целуй меня, целуй!..

— Таня!..

Опомнился, наконец, Поплавский и заговорил:

— Слушай, Таня: отец тебя не отдаст за меня!

— Ох, желанный! Вечорось матушка как его упрасивала, сколько, родимая, она слез пролила, а он и слушать ничего не хочет...

— Ладно. Дело, значит, решено... Мы убегом с тобой обвенчаемся.

Татьяна молчала.

— Все улажено. У меня есть письмо к одному священнику, и через неделю мы вернемся домой повенчанными. Я нарочно и пришел сказать, чтобы ты приготовилась. Завтра ночью мы с тобой и уедем!

— Без благословения?!

— После благословит... Что же нам делать, когда отец твой упрямится?

Девушка опять помолчала.

— Он никогда не даст своего благословения, ежели мы убегом повенчаемся, — сказала печально она. — У нас, сам ты знаешь, не в обычае так...

Андрей вспыхнул.

— Не в обычае?.. Так, значит, для тебя дороже обычай, чем любовь наша?

— Не будет нам счастья, Андрюшенька, коли мы против родителей своих пойдем... Бог за это нас накажет.

— Так ты, значит, не согласна?

— Потерпи, милый!.. Можо, батюшка, повременивши, отдаст меня и по доброй воле... Святым образом благословит.



— Подождать, когда он за другого тебя отдаст?

— Нет, он пожалеет меня. Я всего одна у него дочка.

Андрей не мог уже далее владеть собой.

— Ты не любишь меня!

— Андрюша! Христос с тобой... — и она мягко дотронулась до его руки.

— Притворщица! — почти злобно крикнул он и бросился вон из овина.

— Постой... Ты выслушай! — раздался за ним вопли. — Ведь, батюшка проклянет меня... Андрюша, светик мой, вернись!

Поплавский не вернулся и не слышал рыданий оставленной им Тани.

\*

Великий пост наступил.

С Андреем все это время, как он покинул Татьяну, творилось что-то недоброе... Он сделался необщителен, с раннего утра до глубокой ночи возился в оранжерее, в саду и по несколько раз переписывал одни и те же таблицы метеорологических наблюдений, хотя всегда и сразу наносил их верно; случалось, в праздник, а иногда и в будни, он брал с собой двухстволку-ружье и уходил на охоту. Горе, тяжелое горе носил Андрей в своей груди. Он чувствовал, что у него, как будто, оторвалась часть сердца, и самая дорогая часть. Скажи ему Татьяна, что она готова убегом повенчаться, он пересилил бы себя — пошел сам к Михею и поклонился бы; но Татьяна не сказала, — значит, она не любит его, «как следует любить»... Нет, лучше никогда не встречаться с нею и не думать больше о ней... Но не в силах он забыть девушку, — и потому невыносимо страдал, мучился... Друзья и знакомые посматривали на молодого садовника и покачивали головами.

На третьей неделе Андрей говел, исповедался и причастился. Первые дни он был покойнее, но потом опять возвратилось прежнее, и он не знал, в чем ему найти выход из своего положения.

А между тем веяло уже весной. День ото дня становилось теплее, небо светлело и точно улыбалось; солнце рассыпало снопы горячих лучей, под которыми заметно начинал таять снег, местами образовывались проталины, и из-под снега бежали ручьи и потоки.

Поплавский возвращался раз с охоты и невольно как-то

забылся, поддавшись обаянию всевластной природы. Он вспомнил, заученные им в школе стихи:

Еще в полях белеет снег,  
А воды уж весной шумят,  
Бегут и будят сонный брег,  
Бегут, и плещут, и гласят..  
Они гласят во все концы:  
„Весна идет, весна идет!  
Мы — молодой весны гонцы:  
Она нас выслала вперед!“..

Да, все говорило о близости весны, о пробуждении новой жизни, и все звало, манило к этой жизни! Чем-то добрым и свежим пахло на Андрея; он бросил ружье и упал на рыхлый снег.

— Теперь я спасен! — воскликнул он и заплакал, как ребенок...

## XII

Через две недели Поплавский покинул село Петровское. Напрасно убеждали его садовник и конторщик не оставлять места; бесполезны оказались и все увещания клирика: Андрей решил уйти, размыкать на чужой стороне свое горе и забыть навсегда красавицу Таню!.. Старики Кашинцовы и молодая сноха сильно тужили о хорошем парне, а Александр, зная отлично характер своего крестового брата, не пробовал его и уговаривать. Он проводил Андрея за свою деревню, обнялся с ним крепко на прощанье и... отер слезу. Поплавский поправил на спине котомку, быстро зашагал вперед, с дороги оглянулся, махнул рукой Александру и скрылся из вида.

Весть об уходе Андрея дошла и до ушей Михея.

— Ну, что ты после этого мне скажешь? — посиживая с кумом своим в день благовещения за брагой, говорил Михей Потапыч через неделю по уходе Андрея. — Ладно бы я сделал, ежели бы Танюшку отдал за Поплавского?

Кум по обыкновению сдвигал брови и пыхтел.

— Что же ты молчишь? — приставал Михей. — Ведь ты покорила меня онамеднись, сказал, что я круто поступил... А теперь что скажешь, какой изворот сделаешь?

Но кум, видимо, ни о каком извороте не помышлял и подвинул жбан.

— Да ты от меня брагой не отделаешься! — наседал Михай. — Вышло хуже, чем я полагал... Я говорил, что Андрей — человек необстоятельный, парень-болтушка. Не хотел он по крестьянству заниматься, — ладно, это его, разума дело, никто тут ему не указчик: промышляй, чем знаешь. Да если уж ты взялся за какое дело, так и держись его, не меняй на другое: может со временем и прок выйдет... Ты как полагаешь?

Не было сомнения, что кум находился в затруднении: он недоумевал, с какою целью Михай так налегает на него и чего он от него добивается.

— Ну, что буркалы-то свои на меня уставил? — выпалил Михай. — Я твоего мнения спрашиваю.

— Да ты чего допытываешься-то? — завозился кум. — Чего тебе от меня надоть?

— Куда Поплавский ушел? — вскинулся Потапыч. — Состоял на должности, впереди место садовника выпадало, а он какую штуку выкинул: ни с того, ни с сего взял да и ушел на барки. Есть после этого в нем постоянство, надежен такой человек? Слава богу, что я тогда не послушал жены, отказал сватам, ато сгубил бы девку!

— Михай Потапыч! — неожиданно заговорил кум и вдруг замолк, точно испугался собственного голоса; но скоро, однако пособрался с духом: — Вот ты осуждаешь парня, пошто он бросил свое дело, а, может, Андрей через то самое теперь и скрутился, что ты на корню его подсек... Ты допытывался от меня слова, вот я и сказал тебе слово правду!..

Наступила очередь Михея Потапыча очутиться припертым к стене. Он просто остолбенел: так поразила его кумова «правда».

— Какое ты слово молвил! — немного спустя, выговорил Михай Потапыч, и борода у него, точно, при этом дрогнула.

— Не погневиеь, — сказал в тревоге кум. — Что думалось, то с языка и сорвалось.

Михей поводил вокруг глазами и молчал.

— Твое слово от сердца, Антип Мироныч, — заговорил он, — но не от ума. Слыхано ли где, чтобы парень из за девки заработок кинул, от хлеба отказался? Нет, ветер у Поплавского в голове, постоянства у человека нет, потому — земли он не держится: куда подуло, туда и понесло.

— Не знаю, — пробормотал Антип Мироныч. — Может, и так. Ты от ума говоришь.

Дома за ужином Михай Потапыч частенько поглядывал на свою дочь, успевшую за несколько дней похудеть и осунуться. Акулина Дмитриевна заметила в глазах своего мужа что-то особенное... После ужина семья стала расходиться.

— Татьяна! — позвал отец: — под-ка ко мне...

Дочь подошла.

— Ты чего дуришь? — начал отец. — Жаль, что ли, тебе Поплавского?.. Не думай о нем, — пустой он человек. Ежели бы он, как следует, по-настоящему, любил тебя, так не ушел бы из села.

Девушка подавила вздох.

— Подожди малость... Придет осень, я устрою дело: ежели тебе уж прятко захотелось замуж, я найду тебе хорошего жениха... А Поплавского выкинь совсем из головы: не стоит он, чтоб о нем кручиниться.

Потупилась Татьяна, стоит перед отцом, положившим на плечо дочери ласково так большую тяжелую руку, и хоть бы слово одно промолвила.

А мать?... Не проходило дня с тех пор, как Андрей оставил село, чтоб она не беседовала с дочерью, не утешала ее...

— Не кручинься, дитятко, — говорила Акулина Дмитриевна, целуя и приголубливая дочь. — Не судьба, видно, тебе за Андреем быть... Хороший парень, люб он был и мне, да характер отца не переломишь...

— Ах, родимая, не столь мне горько, что Андрей спкинул меня, а то больно, что он и не простился со мной, — жаловалась Татьяна. — Ровно, я ему чужая была... Ведь, как мы любились-то с ним!..

— А ты не вспоминай о прежнем-то, легче тогда на сердце станет... Что было, того уж не вернешь... Бог к лучшему, можа, ведет. Примечаю я, словно бы, отец наш стал посклончивее. Может, теперь он и жалеет уж...

— Спокинул, бросил... — не слушала дочь, припав лицом к плечу матери. — Бессовестный человек!.. Чем я прогневила его?.. Что не согласилась убогом с ним обвенчаться, так разве я в том причина? Я из воли родимого батюшки не посмела выйти!.. А он... он и не простился со мной, родимая!..

— Не плачь, доченька, не убивайся шибко, моя рожо-

ная! — роняя на дочернину голову слезы, говорила Акулина Дмитриевна и не находила чем успокоить рыдающую на ее плече девушку.

Так проходили дни, недели... Михай Потатыч, видя, что дочь все худеет, не раз осведомлялся у жены.

— Что, как Танюшка?

— Госкует, Михай Потатыч.

— Гм!.. Пройдет, бог даст.

А Татьяна говорила матери.

— Родимая! гребится у меня что-то на сердце... Не жилища, видно, я долго на прекрасном вольном свете.

— Перестань, моя ласточка! Какую ты еще печаль-кручину на мою головушку накликаешь?.. Пожалей ты, доченька, мать свою!..

На деревне только и разговора было, что о Татьяне да об Андрее.

— Сошла вся краса с нашей Татьяны Михевны, — говорили девки. — Куда все девалось: исхудала и в лице ни кровинки.

— Любовь-то, подружки, видно, не каша с маслом: с нее не раздобреешь.

— А где теперича ходит-гуляет Поплавский? Куда его удалую головушку буйные вихри носят?.. А уж и парень... Ах, отдай все да мало!

Бабы несколько иначе смотрели.

— Так надо полагать, что в нем было что-нибудь от колдовства, — не станет даром сохнуть девка.

— Вестимо! Чем-нибудь да приворожил он к себе Татьяну. Есть, бают, дошлые такие люди, что достают из лягушки крючочек — махонький вот этакой, костяной; надо только этим крючочком притронуться к девке, — конец, повек любить и жалеть тебя станет.

— Так. Беспременно Поплавский этим крючком ее тронул. Оттого девка и сохнет.

### XIII

Минула весна, наступило лето с его работами и страдою. Управились деревенские люди с покосами, — подошло жнитво... С белой зари и до самой ночи кишит народом поле, сверкают на солнце серпы, взлетают кверху золотые колосья, связываемые в снопы; на сжатых местах

стоят крестцы и суслоны, скрипят телеги и везде слышны людские голоса. Работает на своей полосе вместе с другими и молодой Кашищев, работает с родными и Татьяна... Некогда тут о чем-либо постороннем думать или тосковать, — надо работать и только работать до истомы тела, до твердых мозолей на руках. Не ждет время, работа горячая, — и все спешат, торопятся во-время управиться с полем.

Вернулись с «устья» к домам и сгонщики плотов, вернулись и те, кто «ходил» на барках и белянах; все они теперь на поле и дружно работают вместе со своим одноподдервенцами. Не воротился назад один Поплавский... Многие видели его на барке, видели потом на Волге; но куда он с Волги ушел, никто не знал.

Был конец июля. Воскресное утро. В господской конторе, за длинным столом, покрытым зеленым и залитым чернилами сукном, работали, за спешностью дела, несмотря на праздник, двое молодых конторщиков. Немного погодя, явился и старший конторщик. Перекинувшись несколькими словами о деле и заглянув на работу своих помощников, главный конторщик спросил:

— Не слышали ли, господа, чего новенького?  
— Да, кажется, ничего нет... А вы слышали?  
— Где мне слышать? Вы знаете, я никуда не хожу.  
— А вот сейчас получим новые депеши, — сказал юный конторщик, посмотрев через стол в окно: — кажется, сюда идет наш Телеграф.

Действительно, в это мгновение промелькнула мимо окон хорошо всем знакомая фигура, а минуту спустя в коридоре послышались легкие шаги и откашливание; потом дверь осторожно отворилась, и в контору вошел Алексей Иванович.

— Господам конторщикам мир и долгоденствие!  
— Здравствуйте, Алексей Иваныч! Садитесь!  
— Продолжайте ваши занятия. Я, ведь, к вам лишь на единую минуту, так, мимоходом завернул. Не стану вам мешать. Попрошу газет и — в обратный путь!

Последние слова Алексей Иванович произнес уже со стула, на котором он поместился в конце стола.

— Так могу я попользоваться материалом для чтения? — спросил клирик.

— С удовольствием, — отвечал главный конторщик. — Николай Абрамыч, у вас, что ли, последние номера?

— Я уже отложил их для Алексея Иваныча, — сказал юный конторщик. — Да вы у нас посидите!..

— Дома делишки есть... Притом опасаясь, не помешать бы вашим занятиям!

Конторщикам знакомы были все приемы дьячка, и потому тот же самый юный конторщик предложил клирику папироску.

— Ах, ты, искуситель! — воскликнул Алексей Иванович. — Знает, что употребление сего моему званию не приличествует, а он всегда на соблазн наводит... Впрочем, посторонних здесь, кажется, никого не присутствует, а перед вами я не потаю своих грехов.

— Закурите, Алексей Иваныч!

— Низжайше благодарю. Новенького чего у вас не имеется ли?

— Мы от вас желаем что-нибудь услышать. Какие вы нынче депеши получили?

Клирик улыбнулся и отмахнул от себя дым.

— На сей раз депеши малозначительны, — начал Телеграф. — В клиниках у нас новый больной. Завернул вчера мимоходом к нашему главному доктору (так называли в селе и целом околотке фельдшера, заведующего местною больницей). «Не желаешь ли, говорит, посмотреть на интересного субъекта?» Как не желать!.. Входим в палату. На одной из коек возвышается, как бы, подобие некоей горы: лица и ног человеческих не видать, а лежит одна гора. «Видишь?» — спрашивает доктор. — «Зрю, но не постигаю» — говорю. — «Это живот», — поясняет доктор. В немалое смущение тут я пришел... — «А прочее?» — спрашиваю. — «Все на своем месте». Напрягаю зрение, вглядываюсь и вижу: точно, все как должно быть, но живот необычайный...

— Что же это такое?

— Мужичок из Нагорихи, сосед Кашинцова — «Какая у него болезнь?» — спрашиваю доктора. — «Диагноза, говорит, не делалась: завтра исследую и определю болезнь». — «А потом что же — лечить?» — «Непреренно». Я посмотрел на мужичка: нет никакого вероятия: живот выше всяких пределов! — «Ну, — говорю, — Родион Арсеньевич, ты настоящий профессор, ежели такую болезнь исцелить можешь». — А мужичок из-под живота своего нам и вещает: «Это, — говорит, — во мне змея сидит, родимые»...

— Змея?!..

— Доктор над этим смеется, — не верит! А мужичок в подробностях дело объяснил. По весне он до города Самары лес сгонял. Прибыл туда как раз к покосу: требуются косцы. Работа там выгодная! Обрадовался мужичок, порядился!.. «Раз в полдень, — рассказывал он, — прилет я на степи отдохнуть. К сонному-то змея ко мне и вползла через рот. Вот, с той поры и взнесло у меня утробу».

— Какой ужасный случай! — подивился главный конторщик. — Что же, у него, вероятно, сильная боль?

— Можете себе вообразить — никакой!.. Ничего не чувствует, а так, по словам больного, следует догадываться, что в утробе у него что-то, как бы, вроде смещения языков во дни столпотворения вавилонского происходит. «Зачнется, — говорит, — это от самого горла и все спускается, спускается, а там опять кверху».

— Вот болезнь-то! Надо забежать в больницу. Любопытно!

— Меня весьма интересует, какое определение сей болезни нашим профессором будет сделано... Однако, я довольно у вас позасиделся! — спохватился телеграф.

— Куда вы? — остановил его юный конторщик. — Летом, надо полагать, вы меньше обременены занятиями? Разве что куда экстренные депеши спешите доставить?

— Эх, ты Николаша!.. Юн ты еще очень, друг, чтобы человеческою слабостью пользоваться.

— Не угодно ли папироску? — предложил Николаша.

— Отыди от меня, сатана! Почто все искушаеши? — негодовал клирик, но закурил поданную ему папироску. — Да, господа, чуть, было, не позабыл про одно сообщение. Тот мужичок, что в клинику лег с жабой во чреве...

— Позвольте, Алексей Иванович, если я не ослышался, вы, кажется, сказали, что у мужичка этого змея?..

— Все едино: что жаба, что змея — одна гадина!.. Так вот мужичок этот мне сказывал, что он у города Казани встретил Поплавского.

— Поплавского?!

— Именно так: Андрея Ивановича Поплавского. Жителям села Петровского шлет он большие поклоны и желает им всяких благ земных.

— Что же, он здоров, должность себе там какую приискал, или мимоездом в Казани?



— Неизвестно. Много с ним разговаривать не довелось, потому подробностей никаких узнать не мог. «Одно», присовокупила мужичок, «я заприметил: с лица он казался мне очень кручинен».

— Экой бедняга!

— Алексей Иваныч! — обратился к Телеграфу юный конторщик: — лично вы сами давно не получали от Поплавского писем?

— Не помню хорошо, от какого именно дня месяца июня я получил его послание... Затем переписка наша прекратилась... Впрочем... Прощайте, господа! — быстро поднялся Мельхиседек.

— Куда вы?.. Посидите!

— Есть дела. Не могу!

— Алексей Иваныч!.. Однако, вы с больным-то мужичком успели довольно-таки потолковать: сколько любопытных сведений от него почерпнули!..

Мильхиседек вопросительно посмотрел на юного конторщика.

— Удивительный у вас талант — в минутку-две собрать целую грудку известий.

— Сатана! — возопил, метнувшись к двери, клирик, — Враг всего рода человеческого! Доколе не перестанешь ты источать яд сомнения?..

За воротами, по выходе на улицу, Алексей Иванович столкнулся с Александром Кашинцовым.

— Александр Прохорыч! Куда?

— К вам шел: письмецо от Андрюши получил.

— Неужели? — радостно взмахнул руками Алексей Иванович. — Что он, не думает ли к нам?... Да что я на улице спрашиваю! Идемте ко мне, там прочитаем основательно послание нашего друга.

— У брата он теперь своего, Петра.

— Ни единого слова!.. — увлекая Кашинцова, говорил уже на полном ходу Мельхиседек. — Там, дома, все узнаем!

#### XIV

Не одну тысячу верст проехал Андрей Поплавский. Много городов и всяких селений встречал на пути... Побывал он и в Казани, и в Самаре, и в Саратове, был и в посаде Дубовке и в Астрахани. Много насмотрелся народа

разного, не мало видел городских и сельских красавиц; но ничто не разогнало его тоски-кручины, ни одна красавица не вытеснила из его сердца Татьяны. На барках и плотах, когда сплавливал лес, думал он о Тане; ехал на пароходе и глядел на мелькавшие перед ним деревеньки и села, а мысль уносилась туда, где живет его ненаглядная; каждая встреча с красивою девушкой будила в нем воспоминания, вызывала дорогой и милый образ той, которая от него далеко и от которой он теперь бежит, чтобы совсем забыть ее, никогда к ней не возвращаться... Но у него (он еще не потерял надежды) останется воли преодолеть свою любовь, он добьется своего... Не стоит ее любить, — она не согласна повенчаться с ним, побоялась гнева отца!.. Да разве так любят?.. Нет, это не любовь!

Но чем дальше едет Андрей, тем могущественнее становится в нем страсть, краше и обольстительнее представляется образ девушки.

Вот она, темнобровая, с выражением страстной мольбы в больших черных глазах и с густой косой, простирает к нему навстречу свои белые руки, шепчет слова любви и зовет к себе... Он чувствует близость девичьей груди, нежные ласки и пламенные поцелуи, зажигающие в нем всю кровь...

Дальше... Прочь от чародейки!..

Нет, не уйти тебе никуда, молодец, от твоей красавицы, — властительны и могущественны ее чары!..

Кашинцов получил от Андрея письмо из города Б., неподалеку от Нижнего.

Андрей писал, что гостит у брата, который уговаривает его заняться торговлей и жить с ним вместе; но Андрею почему-то не нравится у брата, и он не желает служить у него в приказчиках. Спрашивает о Татьяне Михеевне и просит ему написать, что Александр о ней слышал и знает.

— Воистинну написано, что ближайший враг человека есть женщина, — изрек философ Мельхиседек, когда Александр окончил чтение письма своего крестового брата: — через женщину и прародитель наш в грех впал, за что и был вкупе с женою из рая изгнан.

— Да, любит он Татьяну, — сказал Кашинцов. — В этом-то все и несчастье Андрея.

— Гибель! — воскликнул философ. — Отчего же я так

изнуряю себя многими занятиями, как не из опасения подвергнуться женскому обольщению? А на Татьяну Михеевну я боюсь даже одним оком взглянуть!..

— Что вы, Алексей Иваныч!

— Ей-ей!.. Кружение головы у меня всякий раз происходит, когда я случайно взрю прекрасный лик ее и очи с поволокою.

А виновница опасений и боязни философа сидела в это время у своего дома, на завалинке, с устремленным куда-то вдаль взором. Несмотря на страдную пору, Татьяна успела поправиться, сильно загорела и казалась теперь совершенно здоровою. Она попрежнему стала разговорчива, порою даже смеялась и шутила. По временам только, чаще всего в праздничные дни, девушка о чем-то вдруг задумывалась, вся как-то стихала, никого подле не примечала и ничего кругом не слышала.

— Что, милая, призадумалась? — спросила Акулина Дмитриевна, сидевшая рядом с дочерью. — Какие у тебя мысли ходят?

Татьяна не отвечала.

— Не едет ли кто? — не унималась тревожиться за дочь Акулина Дмитриевна. — Больно уж ты пристально глядишь на дорогу... Танюшка!..

— А?

— Видишь, что ли, ты кого?

— Никого я, матушка, не вижу... Да некого мне и видеть-то. Так... немножко призадумалась.

— Призадумалась?.. А ты поди лучше к девкам с парнями. Вишь, она у избы Мироныча все собрались... С ними тебе поваднее будет.

— Погожу маленько... Хочется здесь посидеть.

— С девками веселее! Посмеетесь, песенку, можно, сыграете...

— Неш не хочется!..

— Аль что на сердце у тебя?

— Н-нет... Так немного гребтится.

Акулина Дмитриевна участливо заглянула в лицо дочери.

— А ты не задумывайся, — сказала она и усмехнулась. — Право! Скорее отойдет... Ведь, от дум у человека всяко представляться начнет.

Тут подошел к ним молодой щеголь и поклонился.

- Здорово живете! С праздником! А я к тебе, Татьяна Михеевна, пришел...
- Что тебе от меня требуется, Василий Петрович?
- Девки зовут тебя на беседку.
- Не охота мне.
- Какже так? Девки нарочно за тобой послали. Поидем!

Татьяна повернулась к матери.

— Аль уж сходить?

— Сходи, родная, сходи!.. Посиди с подружками.

Татьяна поднялась.

— Ну, подем коли так, Василий Петрович.

Акулина Дмитриевна проводила их глазами.

— Экая выступка у моей Танюши, — любовалась мать. — Слава тебе, господи! Теперь она стала опять на себя походить, ато совсем, было, извелась.

Время шло, приближалась осень. Татьяна день ото дня расцветала и хорошела; чаще она показывалась на улице, хороводилась с девками и парнями, смеялась и пела песни. Парни гурьбами ходили за Михеевой дочкой, заискивали ее внимания и расположения; но усерднее всех других увидался около красивой девки Василий Петрович, сын зажиточного крестьянина, соседа Михея Потапыча. Парень он был здоровый, пригожий и нрава веселого. При Андрее он терялся и проигрывал, так что Татьяна его не замечала; но теперь он развернулся и обратил на себя внимание девушки: на гуляньях, в хороводах и играх он оказывался всегда первым, умел всех развеселить и насмешить до упаду. Татьяна чаще и чаще на него заглядывалась, в игре постоянно выбирала Василья и заливалась веселым смехом при всякой его шутке. Лихой парень незаметно вытеснял из сердца девушки прежнюю любовь, делался ей как-то ближе, и ее влекло к нему... Поговаривали даже, что в день праздника покрова богородицы помолятся сваты богу и «пропьют» за Василья дочь Михея Потапыча...

## XV

Накануне дня покрова богородицы ни для кого неожиданно-негаданно в село Петровское возвратился Андрей Поплавский. Он по старой памяти въехал прямо на господский двор. Садовника Андрей еще застал, но место

помощника было занято мальчиком, только что окончившим курс в сельской школе, а должность наблюдателя метеорологической станции получил один из конторщиков, именно, Николай Абрамович, большой почитатель талантов клирика Мельхиседекова и смелый критик всякого рода депеш, сообщаемых местным Телеграфом. Поплавского в господском доме встретили радушно; ему предложили в одном из флигелей комнату. «Живи, пока не устроишься» — сказал садовник.

Весть о приезде Андрея в тот же самый день облетела все село, и петровские дамы по этому случаю пришли даже в волнение: Поплавский сделался теперь интересной личностью и вырос в их глазах до значения настоящего героя.

«Хоть книжку о его похождениях пиши, — говорила жена управляющего: — очень бы даже антиресно прочитать было». Но кто был искренно обрадован возвращением Поплавского, так это семья Кашинцовых и клирик Мельхиседек. Почтенный Алексей Иванович, всегда точный и аккуратный, как немец, и верный долгу служения общественным интересам, совершал «экстраординарный» свой обход и конфиденциально сообщал знакомым:

— А у меня сегодня в некотором роде банкет, ибо храм наш снова приобретает одно из своих украшений: возвратился Андрей Иванович Поплавский и завтра, в день праздника покрова пресвятой богородицы, вы услышите с правого клироса его великолепный голос.

По поводу такого важного сообщения конторщик Николай Абрамович не утерпел заметить, что голос у Поплавского, действительно, очень хороший, но чтоб он был «украшением», — сомневается. Отец Иван, выслушавши клирика, даже так выразился:

«Ты, как мне кажется, начинаешь уже заражаться нынешним вольномыслием?.. Вот, каковы плоды чтения современных газет!»

Но Алексей Иванович, как истинный стойк, к подобным замечаниям относился совершенно равнодушно, и спокойствие его духа ничем не нарушалось.

Вечером у клирика действительно собрались гости. Кривая баба заранее была об этом предуведомлена самим хозяином, получив от него должные распоряжения.

— Самовар в пять часов. К чаю подать, как подобает,

в приличном виде, на тарелочках разной закуски, а со- суды с напитками я сам поставлю.

— Да у тебя что ноне за праздник, Иваныч? — по- любопытствовала кухарка, уставив на хозяина единствен- ный свой глаз.

— Не праздник, а только празднество. Смотри же, чтобы все у нас шло чинно и благообразно... Прошу тебя, бога ради, ты чемнибудь не подгадь!

— Вот еще! Неш я не понимаю?..

В ожидании появления гостей Алексею Ивановичу вдруг с чего то пришла мысль о «блудном сыне»: «бла- говременно бы ныне наилучшего из стад тельца выбрать и закласть», — подумал клирик, но дальше не пошел, ибо не только стада, но и одного тельца у него не имелось.

Гости явились. С радостными восклицаниями и шум- ным радушием встретил их хозяин.

— Рад! Невыразимо рад вам, господа! За честь и счастье великое для себя почитаю, что могу принять вас в моем скромном кабинете... Усаживайтесь, прошу покорно.

— Что вы беспокоитесь, Алексей Иваныч, — сказал Поплавский. — Свои люди...

— Потому-то я несказанно и рад вам... Ах, друзья! Ныне день нашего веселия и духовного ликования... Алек- сандр Прохорыч! — обратился к молодому Кашинцову хозяин: — перед чаем то мы с вами протащим по одной?..

— Питок то я плохой, Алексей Иваныч, но с вами рюмочку мне приятно будет выпить!

— Благодарю! Вот за это я благодарю, — наливая рюмки, возглашал хозяин. — А вы, Андрей Иваныч, по- прежнему напитков этих не потребляете?

— Пожалуй, налейте и мне рюмочку, — заметно сму- тившись, сказал Поплавский. — За компанию выпью.

— Прекрасно!.. Рад, от всей души рад с друзьями моими чашу веселия разделить... За возвратившегося к нам из далеких странствований с пожеланием ему благо- денствия и безмятежного житья! — провозгласил хозяин, чокаясь с гостями.

Из приотворенной в кухню двери выглядывал любо- пытный глаз кухарки.

— Закусите, господа! А затем приступим к чаепитию и станем наслаждаться дружескою беседою.

Алексей Иванович предложил Поплавскому рассказать про его «странствования и приключения в краях далеких».

— О себе лично я писал вам и Саше, — отвечал Поплавский. — А куда меня судьба гоняла и что где я видел, расскажу вам в другой раз, а теперь не хочется об этом говорить.

— И не говорите, раз нет у вас желания, — подхватила хозяйн. — Мы вооружимся терпением и подождем... Ну, а скажите, какие планы вы имеете насчет предбудущего вашего, то есть, занятий и устройства вашего материального положения?

— План у меня все прежний... надо жениться: не могу я жить без Татьяны.

По лицу Кашинцова прошла легкая тень, а хозяйн с чего то поперхнулся.

— Правду ли говорят, — я в конторе слышал, — продолжал Андрей, — что к ней сватается Василий Петрович?

— Гм! Кххе!.. Что это со мной?.. — недоумевал Алексей Иваныч: — першит!.. Должно быть, как доктора полагают, не в то горло попало... Ккхе!..

— Что Василью нравится Татьяна, это верно, — дав оправиться хозяйну, ответил Кашинцов. — Но насчет сватовства положительного я ничего не слышал.

— Все разговоры о предполагаемом яко бы оном браке есть, по моим соображениям, дело женской политики, — объяснил Алексей Иванович. — За неимением материала для новых разговоров, люди пускаются в разного рода измышления и сочинительства. С великой осторожностью следует относиться к сведениям, почерпаемым из женских источников.

— Алексей Иваныч, позвольте мне рюмку наливки! — попросил неожиданно Андрей. — Может, выкушаете и вы со мной?

— Выкушать?! — удивился, было, хозяйн, но тотчас же оправился. — С великим моим удовольствием.. Александр Прохорыч! приобщитесь к нам...

Хозяин и гости выпили.

— А что ваш братец, Андрей Иваныч? — полюбопытствовал хозяйн, отправляя вслед за этим вопросом большой груздь к себе в рот.

— Живет недурно. Дела у него идут... Унимал меня остаться, должность главного приказчика или доверенного предлагал.

— Что же вы не приняли братцово предложение?

— Не по душе мне такое дело. Погостил я у брата,

попригляделся, как у них там все идет... Не понравилось. На плутнях да на обмане торговля их основана.

— Скажите!.. Подобного рода путями, следовательно, и составляются у людей капиталы? Выходит, как истинно сказал мудрец, — имени его не помню: «от трудов праведных не наживешь палат каменных». Ну-с, а сестрица ваша здоровы, благоденствуют? Виделись с нею?

— Сестра у меня хорошая. Муж в ней души не чает: без ее совета ничего не сделает... И детки у них славные, живые да умненькие... Встретила меня, заплакала: так обрадовалась брату!.. О чем мы с нею только ни переговорили!.. Про батюшку, бабушку... Катя припомнила, какие она песенки певала, когда со мною, маленьким, няньчилась. «Такие же я своим малышам пела, — добавила: — Пою я так и о тебе, милый брат, думаю, захочется увидеть и поцеловать тебя — вот так, крепко поцеловать!» — и поцелует меня. Лаской да любовью Катя заставит позабыть все... Муж у нее отличный, честный человек, свое дело ведет, — небольшое, хлебом торгует; но живут они безбедно. Тепло, хорошо мне у них было... Как оба упрасивали, чтобы подольше с ними пожить! Должность хотели достать и невесту для меня наши...

— Даже невесту?! — воскликнул Алексей Иванович. — Превосходно!..

— Девушка из хорошего семейства, красивая и грамотная. Поговорил с нею, понравилась... Но, как подумал о Тане, потянуло меня к ней...

Без всякой видимой причины, на хозяина снова напали перхота и кашель. Не скоро унялись.

— Как она поживает? — продолжал Андрей. — Такая же все красивая, и так же звонко смеется, как и прежде?.. Алексей Иванович, не выпить ли нам за красавицу Таню, дочку Михея Потапыча и будущую супругу Василья Петровича?

Хозяин с Кашинцовым обменялись взглядами. Потом выпили, но разговор уже не клеился. Поплавский говорил об одной Татьяне...

— Однако, мы у вас засиделись, — сказал Кашинцов. — Завтра праздник. Пойдем, Андрюша?

— Куда? Еще рано: восьми часов нет!.. Посидим. Когда то мы опять сойдемся и поговорим по душе?

— Беседуйте, господа! — с жаром унимал хозяин. — Общество ваше доставляет мне превеликое удовольствие...



— Нет, Алексей Иваныч, вы не упрашивайте, — пора уходить.

— Да, пора! — спохватился Андрей. — Ты куда теперь, брат мой милый?

— Домой.

— Домой... Это хорошо... Тебя дожидаются жена, дети, отец с матерью... А меня некому ждать, — у меня нет жены и своего угла... Болтушка я!..

— Что вы, Андрей Иваныч?! — испугался хозяин, услышав исповедь сокрушенного горем человека. — Да при вашем чудном голосе и при многих талантах...

— Прощайте, Алексей Иваныч! — прервал речь Поплавский. — Благодарю вас за угощение... Завтра приду к вам петь на клирос.

— Ах, как обрадуют всех предстоящих во храме, когда они услышат ваш голос!..

Гости распрощались с хозяином и вышли.

— Я к тебе пойду, Саша, — говорит Поплавский. — Ночую у вас... С вами мне хорошо будет.

А философ Мельхиседек, проводив гостей, долго и неподвижно сидел в своей корзине, предаваясь размышлениям мрачного свойства. Неоднократно из за двери выставлялось рябое лицо и светился одинокий глаз, как спасительный маяк во тьме ночи: философ не замечал присутствия женской особы и продолжал пребывать в неподвижном состоянии.

— Непостижимо! — разрешился, наконец, он вслух. — Какая перемена в человеке... Даже самый образ лица изменился. Куда девалась степенность, солидность у молодого человека?.. Обнаружилась склонность к напиткам, чего за ним прежде никогда не водилось... Неужели он допустил себя... до падения?.. Содрогаюсь!.. И какая всему этому причина? Токмо единая прелесть женская... Истинно сказано: тайна есть сердце человеческое!

## XVI

Обедня в праздник покрова богородицы навсегда сохранится в памяти и сердцах тех, кто в этот день был в церкви села Петровского. Никогда никто из присутствовавших не слыхивал такого голоса, каким пел кто то за обедней на правом клиросе: сильный, но, вместе с тем,

мягкий и звенящий серебром тенор. Всем был, точно бы, знаком этот голос; слышали они и раньше, когда пел Андрей Поплавский, но у того чего-то словно недоставало... Самого певчего никто из молящихся не мог видеть, — он скрывался в глубине клироса. Удивительный голос! А когда запели «ниже херувимы», то многим представилось, что ту чудесную херувимскую песнь поет не человек, а сам ангел, нарочно слетевший для этого с неба. Дьячок Алексей Иванович необыкновенно хорошо пел басом, и сам весь сиял; конторщики находились в голосе и пели стройно. Служение отца Ивана отличалось редкою чинностью: зажженные свечи, прозрачный дым ладана, прекрасное пение и масса народа...

И много горячих, из самого сердца исходящих, молитв возносилось вслед за дивным голосом, поднимавшимся, казалось, в самую высь небес!..

Вышла из церкви со снохою Татьяна Михеевна:

— Кто это у нас сегодня так пел? — спросила девушка.

— Не ведаю. Должно, какой новенький певчий.

— Чудно мне неш, сношенька, — говорила Татьяна: — сдается, будто бы, это голос Поплавского...

— А ты, знать, опять вспомнила о нем? Вот тебе оттого и почудилось.

— Нет, я, почитай, совсем про него позабыла... Так разве когда на ум вскинется!

Помолчали.

— Гляди, ужо отец Василя не пришел бы тебя сватать...

Разговаривая таким образом, золовка с снохою подвигались вперед и свернули в долок, чтобы пройти ближайшею дорогой в Глушиху. В это время слышались за ними шаги и раздался голос:

— Здравствуйте, Татьяна Михеевна! Здравствуй, Марья Васильевна!

— Андрей Иваныч!.. — сердце Татьяны забилось.

Перед ними стоял Поплавский.

«Господи, как с лица он переменился!» — в одно время подумали обе.

— Давно ли воротился? — нашлась спросить молодца.

— Вчера приехал, Марья Васильевна... Татьяна Михеевна! можно тебя об одном деле спросить?

— Говори! — чуть слышно вымолвила девушка.

— Скажи мне прямо, не потансь: пойдешь ты за меня замуж или нет?

Татьяна зарделась.

— Не пойду! — сказала и быстро отвернулась в сторону.

— Вот как! — протянул Андрей. — Значит, за Василья Петровича выходите?

— Не знаю, за кого батюшка удумает... От Василья сватов еще не засылали.

— А ежели сваты придут, — отец согласится?

— Василий ему давно люб.

— И ты за него пойдешь, станешь его женой?

Голос Андрея прерывался, и лицо его менялось.

— Из-под воли родителя я не выйду...

Остановился Поплавский.

— Ну, коли так, прощай! — тихо произнес он и поклонился.

Татьяна со снохой продолжали итти; но слово «прощай» Андреем было сказано так печально, что она позадумалась, обернулась и, вскинув на парня свои черные глаза, громко крикнула.

— Стану, можо, женой Василья, а тебя не забуду!

Андрей постоял, поглядел ей вслед и медленной походкою направился к селу...

— Так это Поплавский в церквиту, пел, — промолвила Марья, подходя уже к деревне. — Этакый голос у парня распрекрасный!

— Ох, сношенька, родная моя! Чует мое сердечушко что-то недоброе!.. Пошто он воротился?..

В тот же день в Петровском была получена весть, что Михей Потапыч с отцом Василья ударили по рукам и назначили день «пропоя».

А через два дня к Михею Потапычу явился нечаянный гость... Хозяин как взглянул на него, так и закусил свою большую русую бороду, а домашние все, кроме одного хозяйского сына, разбежались по разным углам.

— Здравствуйте, Михей Потапыч!

— Здорово. Тебе что от меня надо, Андрей Иванович? — спросил сурово хозяин.

— По делу одному...

— Садись...

Поплавский, взволнованный и с каким-то неестествен-

ным румянцем на щеках, неловко опустился на лавку, через стол от хозяина.

— Ну, говори, зачем пришел?

Андрей собрался понемногу с силами и неровным голосом начал:

— Дай свое благословение на законный брак... за меня Татьяну Михевну!..

Голос Андрея и то волнение, с каким он выговорил эти слова, поразгладили морщины на лбу Михея Потапыча.

— Поздно ты хватился, Андрей Иванович, — довольно-таки мягко сказал мужик: — я ударил по рукам с Петром Кузьмичом, за сына его, Василья, просватал Танюшу.

— Михей Потапыч! — более твердым голосом продолжал Андрей, ободренный тоном речи хозяина. — Ведь, я к тебе раньше засылал сватов: ты наотрез отказал...

— Отказал! — подтвердил Михей. — Ты сам знаешь, не в обычае у нас за бездомков отдавать. Может, помня твоего отца и его хлеб-соль, я еще и подумал бы, если бы увидел, что ты крепко держишься своего ремесла. Пришел бы сам ко мне и обсказал все обстоятельно, а то на-ка, бросил свою должность, взвился — и поминай, как его звали!

— Гордость меня обуяла, — прости ты меня...

Брови Михея шевельнулись, и он проговорил:

— Бог тебя простит, Андреюшка!..

— Отдай за меня Таню!

— Поздно...

Поплавский встал и грянулся на пол перед Михеем.

— Благослови!.. Не разрушай ты союз и любовь нашу с Танею...

— Что ты, что ты?.. — заговорил Михей, и в голосе его звучали неслыханные никем прежде ноты. — Встань, Андрей!

— Видишь, — не унимался Поплавский: — я сломил в себе гордость, пришел к тебе и в ногах у тебя валяюсь... Разве мне это легко?.. Пожалей же ты мою молодость!

— Жалко тебя, Андрей Иванович, жалко... — повременя сказал Михей. — Но горю твоему пособить не могу: дал слово! А слова своего взять назад я теперь уж не властен...

Андрей поднялся с полу, и его покачнуло в сторону...

— Тебе нельзя назад слова взять? — начал Поплав-

ский, высоко закидывая голову. — А жизнь человека ты можешь загубить?..

— Батюшка! — крикнул сын, до тех пор сидевший молча. — Да, ведь он никак пьян?

Андрей повернул к нему голову, и лицо у него исказилось нехорошей улыбкой...

— Да, я пьян!.. Напился с радостей, что вы Таню мою просватали... Как мне было не напиться?.. Ха ха ха!..

— Андрей Иванович! — гневно заговорил Михей. — Не пора ли тебе из моего дому убираться? Мы, кажется, все, что нужно, с тобой переговорили.

— Нет, не все, гордец! Я не сказал тебе последнего моего слова... Слушай же: не бывать никогда твоей дочери ни за кем, кроме меня!..

— Ступай вон, балаболка! — рассвирепел Михей.

— Ухожу сам... Незачем мне у тебя дольше оставаться. Помни же: не бывать!

Андрей надел фуражку и, слегка пошатываясь, оставил избу Михея Потапыча.

## XVI

Поплавский закатился на охоту. Его не видели несколько дней...

Кашинцов и Мельхиседеков недоумевали и сильно за него беспокоились.

— Надо бы о нем разузнать, — говорил Александр. — Боюсь я, чтоб он чего с собою не сделал...

— На этот счет, полагаю, опасаться не следует, ибо в нем дух православного христианина и ум человека испытанного, — изрек философ. — Одно лишь не подлежит никакому сомнению: необходимо найти Андрею Ивановичу девицу лицом и душою прекрасную, к коей он мог бы воспылать любовью неземною.

— Трудно нам с вами найти такую, если Андрей сам нигде не нашел.

— С нашей стороны надлежит употребить все старания и усилия, чтобы найти таковую и незаметно, с осторожностью лишь подтолкнуть его... Ах, боже, боже мой, как он пел в минувший праздник!.. Никогда, ни в каком хоре владыки я не слыхивал подобного голоса!.. И с его голосом и при всех талантах от женских прелестей, с поз-

воления сказать, бежать в лесные дебри и скрываться на болотах!.. Непостижимо!

Андрей, однако, благополучно вернулся. Усталым, измученным он теперь смотрел; в глазах у него сверкала какой-то особенный огонек, и черты лица сделались резче, жестче. Он притащил с собой пару зайцев и целую дюжину рябчиков, которых разделил пополам между крестовым своим братом и Алексеем Ивановичем.

Ночь он провел на своей квартире в господском доме. На следующий день утром, закинув ружье за плеча, Поплавский опять пошел на охоту. Но сперва он завернул к Алексею Ивановичу, у которого напился чаю, потом зашел в школу и затем отправился к своему другу Кашинцову.

Матушка Ироида после рассказывала, — со слов, будто бы, церковного сторожа, — что Поплавский от клирика направился не в школу, а прямо на сельское кладбище, где похоронены его отец с матерью и все родственники.

— Видел старик, — рассказывала попадьа, — как Андрей, придя на кладбище, упал на колени и припал лицом к одной могилке. Долго он так лежал... После поднялся с земли и подошел к другой могилке, опять упал и опять молился. Да так все могилки родственников обошел.

У Кашинцовых Поплавский порядком таки посидел: говорил много с Степанидой Тихоновной, женою Александра, и стариком Кашинцовым, шутил с Анисьей Степановной и играл с ребенком. Добрые люди уговаривали его остаться у них отобедать, но Андрей отказался, говоря, что он уже перекусил, и что ему надо поторавливаться на охоту. На прощание он пожал руку Александра, хотел что-то сказать, но только махнул рукой и выбежал из избы...

— Даровье ли с ним? — спросила по уходе Андрея старуха Кашинцова.

— Примечала я за ним, — молвила сноха, — ровно бы он не в себе: говорит-говорит, да ни с чего и затуманится, и по лицу у него не свое что-то пробежит.

— Да, с нашим парнем неш неладное дется, — проговорил старик. — Плохо дело!

— Не повстречалось ли с ним в дороге чего?

— От незадачи, — сказал Александр: — Татьяну его замуж отдают.

— Печаль, значит, его буйную головушку к сырой земле преклоняет.

— Э-эх, житье, житье сиротское!

Между тем, Поплавский ударился из Нагорихи по направлению к Глушихе. Стоял ясный октябрьский день. По голым, побуревшим полям нигде ни души; только на гумнах, перед овинами, шла молотьба, и по озими, начавшей выходить в трубку, бродила скотина. Андрей начал спускаться в долок, где серебряною ленточкой извивалась речка; на гладкой поверхности небольшого озера плавали домашние утки и гуси, время от времени, оглашая своими криками воздух. Спустился Андрей, стал подходить к речке, как из за берега показались с бельем Татьяна и сноха ее, Марья. Андрей догнал их.

— Мир дорогой! — сказал он и поклонился.

— Здравствуй, Андрей Иванович! — ответила Татьяна. — Куда идешь?

— На охоту.

— Ну, с Богом, счастливой тебе охоты!

Андрей пошел с нею рядом.

— Ну, уходи от нас, уходи! — заговорила девушка. — Слышишь, молотят, неровно кто увидит. Батюшке еще скажут...

В глазах Андрея сверкнул зловеющий огонек.

— Слушай, Таня, — начал он тихо, замедляя шаг и давая Марье уйти немного вперед. — Я тебя спрашиваю в последний раз: пойдешь за меня замуж или нет?

— Да, ведь, я уж сказала тебе: не пойду. Я — невеста Василья.

— Не пойдешь?

— Нет.

Андрей отступил несколько шагов назад и снял с плеча ружье.

— Ну, так я убью тебя...

Татьяна взглянула на него и засмеялась.

— Полно, непутевый шутить!

Андрей прицелился... Раздался выстрел.

— Ой! — слабо вскрикнула девушка и, как сноп, повалилась на землю.

Сноха оглянулась и стала, как вкопанная; потом опомнилась и завопила:

— Ой, убивство, убивство!.. Поплавский...

Андрей кинулся к лежавшей на земле Татьяне.

— Таня!.. Милая!.. Умерла?

Ни слова, ни вздоха...

— Прощай!.. — дрогнул голос, и Андрей принялся

целовать в закрывшиеся навеки глаза и еще теплые губы девушки. — Скоро увидимся!.. Я за тобой!

Он вскочил, отбежал в сторону и, направив другой ствол ружья себе в грудь, ударил ногою собачку курка. Раздался второй выстрел... Андрей упал.

— Правослазные!.. Убили человека! — голосила Татьяна сноха. — Помогите!

— Жив! — проговорил Поплавский. Он приподнялся на колени, встал и бросился в сторону. За ним потянулся кровавый след.

Начал сбегаться народ. Раздались крики и вопли.

— А где убивца? — слышались голоса.

— В озеро, в озеро побежал топиться!

Андрей барахтался в воде: он попал на мелкое место и не мог утонуть. Подоспевшие мужики его живо выгнали.

— Утробу, утробу себе потревожил!

— Бежи скорей на деревню за карулями и рогожей. Надо его в больницу волоочь!..

## XVIII

В Петровском еще ничего не знали о кровавом событии. Конторщики по обыкновению сидели за своим длинным столом и писали; мать Ироида беседовала с женой управляющего и еще двумя почтенными дамами, изобретая общими силами новые каверзы против безответных учительниц; фельдшер больницы отсутствовал, будучи приглашен к заболевшему лесничему; учительницы оканчивали занятия в классах, а Телеграф пребывал в состоянии покоя, ибо час его активной деятельности не наступил, и потому, пользуясь минутами благодетельного досуга, предавался философическим упражнениям на весьма серьезную и назидательную тему: «мыслимо ли вообще бытие человека и в частности русского без каких-либо затрещин, а наипаче того повреждений и увечий как в значении прямом, так и переносном?» После долгого и добросовестного рассмотрения вопроса со всевозможных точек зрения философ Мельхиседекков решил отрицательно: «немыслимо». Но потом, как бы в предупреждение могущих возникнуть со стороны противников возражений, он победоносно добавил: «а ежели сие и мыслимо, то вопреки законам



логики человеческого разума». Довольный блистательными результатами собственного своего исследования, мыслитель вынырнул из корзины кресла и, не торопясь, приблизился к окну с целью узреть на улице предмет, достойный просвещенного внимания и пытливого ума истого философа. Он посмотрел в окно и действительно узрел нечто весьма странное...

С одного конца улицы показалась довольно оригинальная процессия: несколько человек несли на двух жердях, покоившихся на их плечах, лежащего на рогоже человека.

За ними бежали ребятенки... Миновав господский дом, процессия свернула в переулок, очевидно, направляясь к больнице... Это небывалое зрелище поразило философа... Не предуведомив кухарки, он в одном подряснике и без шапки моментально вылетел на улицу и догнал носильки.

— Что означает сие необычайное шествие?— было первым вопросом Мельхиседекова.— Кого вы на раменах своих несете?

— Убивцу!— послышался краткий ответ одного из носильщиков.

— Какого убийцу?!

— А что Михееву дочь сегодня пристрелил.

Философ окаменел.

— Алексей Иваныч... Это вы? — послышался слабый, но знакомый голос.

— Ббо о о же! — возопил на всю улицу Мельхиседеков, узнав голос Поплавского и поняв сразу, в чем дело.— Какое необычайное событие!.. О, горе, горе!.. Несчастный!

Возгласы клирика вызвали на улицу сельских обывателей; из здания школы поспешно выбежала одна девушка: то была старшая учительница.

— Кого несут? Что такое случилось? — беспокойно спрашивала она.

— О, горе, горе! — восклицал Алексей Иванович.— Вот чем разрешилась твоя любовь, злополучный!

Процессия достигла больницы.

— Поплавский! — вскрикнула учительница и побледнела.

— Куда его? — спросил один из носильщиков: — тут, что ли, свалить али в больницу волочи?

— К доктору... К доктору прямо!.. Осторожнее несите, — командовал Мельхиседек: — ведь, он человек!

Раненого принял в больнице помощник фельдшера.

— А где доктор?.. Где сам доктор? — мечась по коридору и заглядывая в палаты, громко вопрошал клирик.

— Его нет, — слышался голос: — он ушел к лесничему.

Алексей Иванович стремительно кинулся вон из больницы.

Прошло с полчаса. Поплавский лежал на койке и поводил кругом глазами; ни стоны, ни вздоха от него не слышали; но по выражению лица ясно было, что он ужасно страдал.

— Андрей Иваныч, — заговорила с раненым учительница, — что вы чувствуете?

— Горит... здесь... Все жжет... Дайте напиться!

Никто с места не тронулся, чтоб исполнить просьбу несчастного.

— Принесите больному воды! — сказала учительница! — Что же вы?

— А что? — слышалось в ответ. — Потерпит... За свой грех пускай он помучится.

— Да, ведь, он страдает!

— Так ему и надо... Девку наповал убил, а себя не прикончил, — ну, и терпи. Пускай постраждет!.. Можо, бог ему и зачтет это...

Учительница сама побежала за водой и вернулась с кружкой.

— Спасибо, ангельская душа, — поблагодарил ее Андрей, с жадностью выпив всю воду. — Словно, полегче мне стало... Ведь, у меня... тут... все прострелено, — повел он рукою.

Учительница содрогнулась от ужаса и инстинктивно отвернулась.

Наконец, явился фельдшер. Он подошел к Поплавскому, осмотрел его и покачал головою.

— Ах, ты... — начал укоризненно «доктор». — Какое ты преступление сделал и какой грех на свою душу принял!

— За свой грех он богу ответит, — вступилась учительница. — А вы помогите ему поскорее... Видите, как он мучается?

— Ему нужна помощь не врача, а духовника. Днем

раньше, днем позднее — все равно умрет, не уйти ему от смерти. Что надо сделать, я сделаю: вправлю ему... и зашью.

— Так делайте же вы скорее! — едва сдерживая слезы, воскликнула учительница.

Женщин попросили из палаты удалиться. Фельдшер с своим помощником принялись за работу. До коридора порою доносились распоряжения фельдшера, но ни разу ничего похожего на стон...

— С каким терпением он переносит! — переговаривались в коридоре.

Весть о происшествии быстро облетела соседние деревни, поразив всех, как громом; взрослые и малые толпами повалили — кто в Глушиху, а кто в село. Михай Потапыч, как увидел труп Тани, — весь побелел и затрясся... А бедная Акулина Дмитриевна, припав лицом к груди бездыханной своей дочери, лежала неподвижно и, словно обезумевшая, по временам только выкликивала:

— Проснись, мое дитятко!.. Ведь, ты не умерла... Открой свои оченки ясные!.. Взглянь хоть разок на меня, красавица!.. Вон, сваты с гостинцами идут.

Кругом плакали, вздыхали и слова не могли выговорить, подавленные зрелищем...

— Доченька! — вырвалось из груди Михея Потапыча: — что я с тобой наделал?..

На западе между тем грозно пылала заря.

В больничной палате отец Иван только-что окончил исповедь Андрея и дал ему поцеловать медное распятие.

— Ах, Андрей Иванович, — произнес со вздохом священник: — будучи христианином, столько ревностным к православной религии, и какой тяжкий грех ты совершил!

— Помолитесь за меня, батюшка! — сказал Андрей. — Знаю, что я грех сделал... Да не мог я с сердцем моим совладать.

Ночью больной часто просил пить и говорил крестовому брату и Алексею Ивановичу, которые не покидали его до последней минуты:

— Два года мы любили друг друга... Скажите Михею Потапычу, чтоб он позволил нас в одной могилке похоронить... Не привелось нам вместе на свете пожить, так хоть в земле-то мы не врозь будем лежать.

Утром Андрей, приподняв с подушки голову, обвел всех ясным взором и спокойно проговорил:

— Простите меня, Христа ради... Я сейчас умру.  
Зажгите перед образом свечку...

\*

Похоронили Таню и Андрея. Не дал Михай Потапыч своего согласия положить их в одной могиле...

Минул год, а «необычайное событие» свежо в памяти народа... Не забыты и обе могилки: летом, в праздничные дни, часто видят на церковном кладбище: перед деревянным крестом одной усердно молится Алексей Иванович и, опустив низко голову, стоит молодой Кашинцов; а на другой, обложенной зеленым дерном, лежит распростертая Акулина Дмитриевна и тихо, но горестно причитает.

По деревням молодежь распевает новую песенку, сложившуюся вскоре после смерти Поплавского и Татьяны:

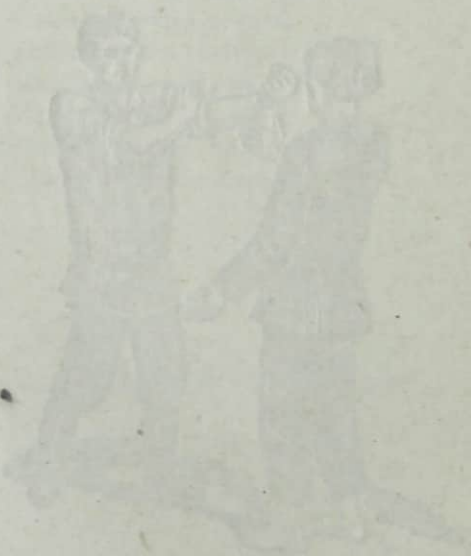
Во Глушику, во деревню,  
Стало непошто ходить,—  
Стало непошто ходить,  
Стало некого любить!  
Мы Татьянушку любили,  
Из ружья ее убили—  
Что при речке, при реке,  
При круленьком бережке...



# СТЕНЯ ДУБКОВ



С. ПЕТЕРБУРГ, 1861





**С**ЛАВА о Стене Дубкове и его подвигах гремит по всей округе. Ему всего двадцать лет, а он второй год деревенским судьей. Стеня пользуется общим уважением, имя его парнями всегда произносится с почтением, а девицами и с каким-то еще веселым оживлением. Стеню хорошо знают и фабричные, особенно им памятна его рука!

И надо отдать справедливость Стене, — он вполне заслуживал громкую известность и общий почет.

Стоило раз взглянуть на эту высокую, широкоплечую и словно отлитую из бронзы фигуру, увенчанную темной шапкой кудрявых волос, мужественное лицо с большими серыми глазами и мягким носом и руки, похожие на две здоровенные слезы, чтобы невольно проникнуться к деревенскому юноше должным уважением и одновременно почувствовать перед ним все свое физическое ничтожество.

А голос? Не одни птицы в страхе летели прочь, — коровы шарахались в сторону, а взрослые люди, если невзначай услышат, пугались и торопливо крестились.

Деревня до сих пор чтит и уважает силачей, но Стене почет оказывали не за одну только эту грубую силу: в характере его были другие черты. Стеня никогда первый никого не задирает и не трогает, не отвечает на грубую брань, которою осыпали его фабричные; оставался равнодушным даже к проделкам деревенского забияки, желавшего хвастнуть перед товарищами, что вот, мол, вы Стеньки-то боитесь, а я над ним куражусь. Самое большое, что в подобных случаях позволял себе Дубков, — так это, не возвышая голоса, спокойно промолвить: «Чего тебе? — и поднимет палец, только один палец. — Видел?» — Храбрец отскочит, съезжится и завилает: «Я, Стеня, ничего... я, ведь, так, шутя, играю с тобою...» — «Ну, так ступай в телятник!» — ответит Стеня, — там по себе найдешь товарища, а нам не мешай беседовать». Но если Стеня видел для себя оскорбление, «измену» или «подлость», тогда он

вспыхивал, как порох, и ловко расправлялся с врагами; если кого без всякой причины обижали, Стеня горой вставал за пострадавшего, и долго обидчики чувствовали следы железной руки. «Вот чорт-от, вот леший-то копнинский!» — плакались они, почесываясь и оглядывая в разных местах на теле кровоподтеки. А как Стеня стоял за интересы и честь родной деревни!.. За непомерную силу, «правильность» и другие высокие достоинства Стеня был выбран молодежью в судьи. Поводом к созданию в деревне новой власти послужил целый ряд обстоятельств.

Летнею порой на гулянке или в хороводе из-за каких-нибудь пустяков ребята между собою поспорят и подерутся. Зимой на посиделках в самый разгар игр и оживления один приятель ни с того, ни с чего съездит другому по уху. Другой ответит по зубам или щеке. И так бывает: молодец, любезничая и целуясь с девицею, без всякой причины ухватит ее за честную красоту, то есть за косу.

Такая неожиданность и вместе с тем «неочесливость» обращения вызовет протест со стороны парня, равнодушного, может быть, к оскорбленной девушке. Одно мгновение, — и удалец оглушен, а через минуту-две сидит уже с украшением на переносице, похожим на хорошую репу. Но это, так сказать, домашние счеты или внутренние недоразумения. Гораздо важнее и значительнее оказывались недоразумения международные, то есть когда схватывались копнинские с парнями других селений. Поводом опять — девицы и водка. Дело в том, что на посиделках красавицы оказывают «чужим» парням особенное внимание и приветливость. Происходит ли это из невинной хитрости заставить «своих» больше ценить и уважать себя, или просто свои им очень уж пригляделись и надоели, — добраться тут до настоящей причины положительно невозможно. Свои немедленно предъявляли к чужим требование: за участие в беседах и за приятные игры с девицами пришлые обязаны местным поставить вина. Одни беспрекословно подчинялись этому обычному требованию, зная хорошо, что и сами они с копнинских сорвут, когда те придут к ним на вечерку; но другие отказывались и упорствовали, продолжая в то же время заниматься с девицами. Недоразумение увеличивалось и росло. Неизбежным последствием — молодецкая схватка, нередко переходившая в отчаянную битву, при чем в большинстве случа-



ев победные лавры доставались пришельцам, а на долю туземцев, до появления на сцену действий Стени Дубкова, выпадали одни тернии, попросту сказать, значительные телесные повреждения. Общие результаты как международных битв, так и внутренних распрей — более или менее продолжительное сидение или лежание в четырех стенах. Копнинские ребята не показывались в чужих деревнях, они не решались появляться и на посиделках в своей: как-то неловко, стеснительно красоваться перед девицами с разбитой скулой, с носом лепешкою или фонарем! Но это не велика беда: стоило раз пойти на беседку, — и девки попригляделись бы, дело сошло по-хорошему. Назло бабы вмешались, стали над ребятами смеяться: «Экие у нас парни то пригожие! Ни на одном-то образа человеческого нет!» Долее терпеть было уж не вмоготу: копнинцы решили на будущее время оградить свои молодецкие лица и соколиные очи от всяких повреждений. С этой целью собрались они в праздничный день потолковать, посоветоваться и изыскать целесообразные средства.

После долгого обсуждения пришли к тому, что необходимо им выбрать из своей среды «праведного» судью, который предупреждал бы возможность столкновений и наказал зачинщиков. Затем перешли к самому главному вопросу: кто же в состоянии выполнить столь важные и нелегкие обязанности? Общее мнение назвало Стеню Дубкова. Выбрав кандидата, парни всем сходом направились к большой избе, которую девки нанимали для посиделок, и позвали на собрание Стеню.

— Дубков, — объявил один из выборщиков, Миша Ковригин, черноволосый парень среднего роста, с карими глазами и серьезным выражением продолговатого лица, — мы всем обществом желаем тебя иметь своим судьей.

Дубков не заломался.

— Что ж, я пожалуй, — благодушно ответил великан.

— Будешь разбирать дела по правде, по совести?

— А то как же?.. Кривулять, что ли, стану? Греха на душу брать неохота.

Никто не сомневался в правде и беспристрастии Стени.

— Защиту и помощь противу неприятеля подашь?

— Вона! Неужели своих-то я выдам?

— Теперь, ты нам поведай, — продолжал все тот же Ковригин, — какой твой будет закон?

Стеня позамаялся.

— А вот, братцы, об этом я еще не подумал... Закон? Закон... Подождите! Я сейчас...

Стеня отошел и уставился лицом в угол...

Выборщики мигом догадались, что Дубкову предстоит большая головоломная работа, и стали переглядываться: не пойти ли, мол, на волю и не пройтись ли по деревне с гармошкой, пока Стеня в уединении и тишине изготавливает свой закон? Но каково же было общее изумление, когда не больше, как всего через минуту, богатырь выдвинулся из угла, показал свое умное, сияющее лицо и возвестил:

— Готово!

— Что ты?..

— Объявляю: закон у меня будет простой, легкий!.. Чего еще вам от меня желательно?

— Какой же закон твой? — спросил Миша Ковригин. — Ты нам поразъясни.

— Чего разъяснить-то? Известно, сперва внушение словесное, а потом, ежели не подействует, леща дам... За малую вину — малого леща получит, за вину, какая побольше, — средственного... Ну, так и пойдет, по вине глядя и чего стоит человек... Матерого леща дам только за самую большую вину.

Закон Стени был принят единодушно.

— А правый чем должен поблагодарить тебя? — полюбопытствовал Семен Прибытков, малый годов восемнадцати, с льяными волосами и вздернутым носом, и, как говорится, «раскачная» головушка парень.

Стеня широко открыл глаза.

— За что? Нет, братцы, это уж не годится. Разве судьям полагается с кого брать?

— Судьи получают жалованье, а ты — из одного усердия. Ну, коли ты стесняешься, мы поставим так: по состоянию и желанию за беспокойство правый поит тебя чаем или вином?

— Не согласен!

— Да, ведь, без принуждения! Каждый, значит, по своей воле и расположению угощает. Кому неохота или не по капиталу, тот освобождается.

Стеня махнул рукой.

— Постановляйте, как знаете, а я от правды не отступлюсь: буду соблюдать.

Оставалось дело за утверждением авторитета судьи на

твердой, незыблемой почве. Для достижения этой цели избиратели воспользовались известным обычаем, какого придерживаются волостные судьи.

— А к богу ты пойдешь, Стеня? — предложил вопрос Миша Ковригин.

— Пойду, коли требуется. Зажигайте свечку.

— Избрали мы тебя на три года.

— Много. Год прослужу, а там увидите, стою ли я.

Перед божницей затеплили восковую свечу. Избиратели встали <sup>1</sup>.

Среди наступившей тишины и строгого молчания богатырь положил три земных поклона, потом снял икону и громовым голосом произнес торжественное обещание:

— Судить буду по совести и закону, никого понапрасну не завинять. За товарищей, ежели на них пойдут драчею чужие парни или огарки-фабричные, буду всегда заступаться и бить неприятелей без всякой кротости.

Покраснев до самых корней своих темных кудрявых волос, новый судья поцеловал икону и поклонился на три стороны.

— Честь имеем поздравить, Степан Васильевич! — раздались довольные голоса. — Учреждая промеж нас порядок, твори над нами суд и обороняй от врагов!

Стеня тотчас же сел на лавку под божницу, чтобы приступить к отправлению своих обязанностей.

— Кого мне судить? Подходите!

Желающих судиться на первый раз не выискалось.

— Теперь, Стеня, — заявил Семен Прибытков, — за честь ты должен нам четвертку винца поставить!

— А на другую четвертку мы от себя прибавим, — подхватили товарищи, — обществом сложимся.

## I

Стеню десяти лет отец отдал в земскую школу, которая находилась в девяти верстах от Копнина, в селе Урванове.

<sup>1</sup> Обычай „ходить к богу“ — явление, широко распространенное на Руси. Волостные судьи прибегают к нему в тех делах гражданского характера, когда стороны не имеют никаких документов, а в уголовных — когда нет свидетелей. Обычай этот заменяет присягу. В некоторых судах выносят самодельную корону, оклеенную золотой бумагой, с образком или крестиком. Значение то же самое, что „ходить к богу“ или „до бога“. — *Прим. автора.*

— Примите мальчешку, Григорий Николаевич,— обратился Дубков к учителю.

Григорий Николаевич посмотрел на мальчешку.

— Он у вас где-нибудь учился?— спросил учитель.

— Совсем безграмотный: азов не знает.

— Да сколько же ему лет?

Дубков сказал.

— Не может быть!— удивился наставник.— Пареньку, по крайней мере, годов четырнадцать.

— Никак нет. Порода наша такая крупная, а ему только десять годков... Вот — метрики.

В это время в комнату вошел еще один крестьянин с мальчуганом. Стеня взглянул и узнал в нем Костю Белова из соседней деревни Вязовки. Новый мальчуган был на три месяца моложе Стени, не так плотен, но высокого роста и широк костью.

— Однако, мальчешки у вас крупные,— заметил учитель, записывая в книгу имена новобранцев.— Занятия у нас начнутся послезавтра.

Отцы пареньков были между собою хорошо знакомые люди и устроили их на одной квартире. Уезжая, они купили детям гостинцев, велели хорошенько учиться и простились, обещав изредка брать их домой. Проводили ребяташки отцов и всплакнули немного. Будущим школьникам почему-то казалось, что домов своих они больше не увидят, что навсегда останутся в этом селе Урванове, где люди все чужие и неприветливые, а пьяные фабричные, шатавшиеся по улице, своим ухарством и бранью наводили на обоих страх. Грустя по родной деревне и печальась о своей судьбе, мальчуганы очень усердно уничтожали пряники и орехи.

— Матушка-то, чай, как жалеет меня!— вымолвил и вздохнул Костя.

— Жалеет, — уныло подхватил Стеня. — Все теперь нас дома жалеют.

Замолчали. Вздыхают и шелкают орехи.

— А что, Стеня, не походить ли нам по селу? — прервал молчание Костя. — К лавкам сходим, поглядим, что там продают.

— Пожалуй,— согласился товарищ.

Поднялись с завалинки, пересыпали из бумаги остатки гостинцев в карманы новых полушубочков и, взявшись за руки, отправились гулять.

На другой день после праздника покрова богородицы началось учение. Классная комната была светлая и большая, с развешанными по стенам картинами и географической картою России. Всех ребят набралось до семидесяти человек. Живые глазенки были устремлены на учителя, молодого, с сосредоточенным выражением лица, русыми вьющимися волосами, и в очках. После молитвы Григорий Николаевич повел с учениками беседу, знакомил их с окружающими предметами и показывал картины. Весь класс был страшно заинтересован. В следующие дни начались уроки. Наставник познакомил ребяток со звуком «а», потом написал на черной классной доске и спросил:

— Запомнили?.. Теперь повторите все за мною: а-а-а...

— А-а-а...— подхватили и протянули десятки голосов.

Учитель обратился к каждому отдельно.

— Дубков! С каким звуком мы познакомились?

У Стени на большом лбу выступил пот.

— Ну?.. Да сейчас же вы его всем классом произносили... Взгляни на доску.

Дубков посмотрел на доску, задергал локтями и своим баском пустил:

— А-а-а!..

В классе раздался смех.

— Чему?— окинув скамейки, произнес учитель.— Теперь произнеси тот же звук коротко... Вот так: а.

Стеня покраснел и выпалил:

— А!

Наставник перешел к Белову. У Стени поотлегло от сердца. Костя произнес как следует.

За первым испытанием последовал ряд новых.

Наставник велел списать с доски тот знак, которым обозначался первый звук и который теперь ребятки хорошо знали. Все схватились за грифель. Костя быстро написал на своей дощечке, но для Стени встретилось затруднение: он провел черту, и вышел багор; провел другую, явилась клюка. Стеня стер, понажал на грифель и — ахнул.

— Что?— тихо спросил Белов.

— Палочка у меня переломилась!— услышал весь класс Стенин басок.

Даже по губам серьезного Григория Николаевича скользнула легкая улыбка.

— Пиши одной половинкой,— сказал учитель.— Кто написал?— обратился он к другим.

Многие повернули к нему свои дощечки.

Стеня пыхтел и торопился.

— Да ты знаешь, как шалашики мы делаем?— шептал ему Белов:— поставь две палочки наискось, а по середочке проведи еще коротенькую, вроде перекладинки.

Стеня представил себе шалашик, и написал, но буква вышла у него исполинских размеров и с рогами.

— Рогульку-то наверху сотри, — посоветовал Белов.

Следующий знак стоил Дубкову еще большего труда.

Насилу-то дождался Стеня перемены. Он вылез из-за стола, словно из бани. Товарищи обступили его.

— Что, Дубков, упарился?

— Экое диво, экое диво!— бормотал Стеня, переступая с ноги на ногу.

— Побежим-ка на волю, — позвали его ребята, — осежемся!

— Не охота. Я лучше тут поразомнусь.

Но впереди Стеню ожидали новые огорчения. Что другим давалось легко и точно бы шутя, то ему стоило невероятных усилий и напряжений. Он не был ленив или рассеян, но физическая сила и рост не по годам как будто придавляли его умственные способности, и они не могли пробиться из-под нагнета. Если прибавить, что мальчуган не умел говорить и отличался страшной застенчивостью, то будет ясно, чего стоили ученые упражнения Стене Дубкову. Положение осложнялось еще тем, что фигура его постоянно кидалась в глаза учителю, и когда последний начинал объяснять что-нибудь новое или о чем спрашивать, то Стеня первым должен был отдуваться. Белов сначала пробовал подсказывать товарищу, но тот движением локотка давал понять, что обойдется без его помощи, и стоял перед учителем безгласным. В перемену мальчуган говорил своему приятелю:

— Ты, Костя, мне не подсказывай, я хуже спутаюсь... Да ежели бы и ответил твоими словами, а сам все равно бы ничего не знал... Ну, и обман тут... Негоже.

Белов не спорил, но вернувшись на квартиру, старался повторить с товарищем все, что слышали в классе.

Два месяца минуло, а дела Дубкова не улучшались. Он заметно начал худеть, меньше ел и тревожно спал. Возвращаясь иногда из училища, он жаловался приятелю:

— Лучше бы мне дали что поработать, чем учиться-то, — беспонятливый я, никогда, видно, не выучусь.

— Что ты! — ободрял его Белов. — Подожди... выровняешься... Ведь ты хорошо знаешь, только перед учителем робеешь и в ответах путаешь.

Правда, Дубков, что усваивал, то в голове у него задало прочно и уж после ничем оттуда нельзя было вышибить; но отвечал он плохо или невпопад, шел черепашьим шагом и в настольном журнале стоял в числе малоуспевающих. Несмотря, однако, на все эти обстоятельства, Григорий Николаевич никогда не сердился на мальчугана, ни разу даже не сделал ему выговора; только не переставал как Стеню, так и всех слабых донимать вопросами и добиваться от них толковых ответов. Товарищи к Дубкову относились с большой приятностью и доверием; их что-то влекло к «медвежонку», как они прозвали Стеню. Так, в спорах, обойдя лучших учеников, они обращались к нему; в случае нанесения кому обиды, — опять к нему же шли. В первом случае Дубков становился на ту сторону, которая казалась ему правою, и все с ним соглашались; во втором принимал под свое покровительство слабого, и его приговору беспрекословно подчинялась другая сторона. Будущий судья вон еще когда сказался в Дубкове!

На рождественские праздники Стеня уехал в Копнино. Дома не узнали мальчугана; так он в короткое время переменялся и похудел.

На другой день святок к Дубкову приехал в гости Белов. Едва Стеня завидел из окна товарища, как сорвался с лавки и бросился вон, чуть не кубарем скатился с лестницы и вылетел на улицу. Белов подъехал с отцом.

— Пойдем, пойдем, — задыхаясь от волнения и радости, говорил Стеня и тащил из саней приятеля.

— А тятенька твой дома ли? — спросил Белов отец.

В нижнем этаже открылась форточка, показалось бордатовое лицо хозяина и раздался его голос.

— Дома, дома! Просим милости, Гаврило Петрович.

Два дня товарищи гуляли по деревне, бегали за ряжеными, ходили на «игрища» и «поседки», слушали песни и гармонику.

На третий день гость предложил хозяину:

— А что, Стеня, не повторить ли нам с тобой, что мы за первое полугодие прошли?

Стеня насупился и повернулся боком.

— Тебе чего повторять-то, — промолвил он нехотя и глядя в сторону: — ты знаешь.

— А все же лучше, коли подучим, а то после святок трудно нам будет. Ну-ка, давай, где у тебя книжки-то?

Стеня, постояв, круто повернулся к товарищу, и лицо его преобразилось.

— Ах, брат! — не своим голосом вскричал Стеня. — Ведь ты, я знаю, мне это радеешь.

И, не прибавив больше слова, он с проворностью хорошего медвежонка подбежал к шкафчику, в котором хранились у него учебники и тетрадки.

Со второго полугодия Дубков начал оказывать некоторые успехи, весьма сочувственно встреченные учителем. Но первые шаги были колеблющиеся, неуверенные: ступит и приостановится, точно боясь впереди ямы или колоды; потом Стеня пошел смелее, а через месяц, после одного обстоятельного солидного ответа, за который много хвалил его Григорий Николаевич, мальчуган двинулся и зашагал... Товарищи только подивились.

— Гляньте-ка, Стеня-то как лупит, — говорили они. — Дюжо попер, медвежонок.

Но в этих словах не слышалось ни малейшей нотки зависти, — наоборот, они выражали совершенное одобрение, сочувствие, и ребятки еще больше проникнулись расположением к Стене.

— Что, Стеня, ты теперь рад? — говорил Костя Белов. — Ведь, я знал, что ты выровняешься.

— Да, Бог теперь мне открыл, — благодушно ответил Дубков. — Но без тебя я застрял бы: ты, Костя, много подсобил.

— Ну, толкуй еще!.. Григорию Николаевичу скажи спасибо: умный он, Стеня, провидел, что из тебя хороший ученик выйдет.

В следующем году Дубков уже шел одним из первых, уступая Белову и лучшим по успехам ученикам только в одном чистописании: его пальцы как будто не были созданы для пера. В третье отделение он перешел с наградой.

Летом праздники они проводили вместе с Костей и не знали, как дожидаться осени, когда возобновятся в училище занятия. Шумно и с большой радостью они явились в школу, Стеня принялся за дело со всей силой и ревностью, приводя в восхищение успехами Григория Николаевича и батюшку-законоучителя... Но в половине ноября приехала за ним лошадь.

— Братец в службу поступает, — сказал работник, —



ближний жребий вынул. Тятенька велел тебе домой приехать.

Отчего-то сердце вдруг упало у Стени. Он уехал. А через неделю пришла из Копнина весть, что Дубков в школу не вернется и останется дома. Товарищи сильно жалели Стеню, а учитель даже вспылал.

— Вот и учи их! Удивительные люди эти крестьяне.

## II

Деревня Копнино начиналась у самой реки, вскинулась своими постройками на косогор и, пробежав около версты по ровной возвышенности, остановилась у всполья. Деревня построена в два посада, с широкой улицей, по которой местами растут высокие липы, ветлы и березы; позади обоих посадов беспорядочно раскидано множество сараев, амбаров и т. п. Старые дома, здоровые, из толстого леса, пятистенные и двухэтажные, с большими дворами, крытыми тесом и обнесенными крепкими бревенчатыми заборами, есть и каменные с железными кровлями. Новые, с узорчатыми наличниками на окошках и с распиланными, двухстворчатыми ставнями уступают старым как по размерам, так и по материалу: срублены из жиденьких бревешек, небольшие, в три и два окна домики и с такими же скромными, недолговечными дворами. С трех сторон Копнина расстилаются далеко поля, упираясь в большой лес, который огибает их исполинскою дугою. Деревня стояла на коммерческом тракте. Копнинские крестьяне, бывшие казенные, пахотной земли, лугов и леса имели вдоволь. Промыслы процветали. Мимо ежедневно и почти непрерывно с Волги в Москву тянулись обозы с рыбой, мукой и солью, извозчики делали здесь пряжку, кормили и ковали лошадей, перетягивали на колесах шины и т. п., сами обедали, ужинали и пили чай. В Копнине насчитывалось тогда восемь постоянных дворов, девять кузниц, три белых харчевни и несколько мелочных лавочек. Но провели поблизости железную дорогу, извозный промысел упал, а с ним сократились и доходы копнинских крестьян. От прошлого уцелели: один постоянный двор, мелочная лавочка и две кузницы; от нового времени приобрели только кабак, но, по миновании срока условия с сидельцем, вынуждены были отказаться от этого приобре-

тения: уж очень усердно все посещали новое учреждение. Далеко не в прежних размерах копнинцы пользуются теперь и землей. От Москвы Копнино находилось в ста тридцати верстах, а от своего губернского города в сорока двух. В Москве из копнинцев редкий кто бывал, многие ездили и в «губернию», — разве весной сходят встретить чудотворную икону. Жили и промышляли от земли, дома; на сторону работать не уходили, как уходили из других окрестных селений.

Отец Стени Дубкова, Василий Павлович, принадлежал к числу самых зажиточных и уважаемых крестьян не только в одной своей деревне, но и во всей своей волости; его знали и в губернном городе, куда он, случалось, отвозил хлеб или ездил за какими покупками. У Василья Павловича был двухэтажный дом с каменной кладовой и кузница с плавильною; надел имел на восемь душ и хозяйство вел большое. Сыновья у него все удались: здоровяки и превосходные работники; две дочери, такие же здоровые, мало уступали в работе мужикам. Сам большак русоволосый, с волнистою бородой, свежий и могучий, годов сорока с чем-нибудь, тоже никогда не сидел сложа руки и постоянно работал, а жена его, высокая и крепкая женщина, вела домашнее хозяйство и не строго, но умела держать семью. Жили все хорошо и согласно, а Стеня, как младший, был любимцем отца с матерью. Но как отец ни любил его, как ни «жалел», а не дал ему окончить школы: не нанимать еще другого работника! Да чужой человек не свой, за ним нужен глаз да глаз, а Стеня — свой, родной сын, если и не вполне заменит Ивана, то все же надежнее, чем наемный.

Вырванный из школы, Стеня очутился в отцовской кузнице за железным молотком и раздувальными мехами. Ничего в этой перемене положения особенного или необычайного для него не было: еще до поступления в училище, он хорошо знал отцовскую кузницу, часто в нее забегал, колотил по наковальне, раздувал мехами и прочее. Знал также, что по окончании учения он станет делать то же самое, что делали отец с братьями: пахать, косить, кузнечить, лудить посуду и т. п. Знал, — и все же Стене было горько: поступление на службу брата помешало ему окончить ученье.

И работает Стеня. В старом коротком полушубке, завешанном спереди толстым холщевым передником, в ста-

рой облезлой шапчонке на голове в больших кожаных рукавицах и валеных сапогах, весь прокопченный дымом и в угольной пыли, парень бьет по наковальне раскаленные на горне подковы, вбивает гвозди в лошадиные копыта и целый день, с утра до ночи, не присядет, — все на ногах и работает.

От глаз любящей матери, однако, не укрылось, что Стеня за обедом или ужином сидит точно бы туманный, а по ночам, — она сама слышит, — вздыхает и подолгу не спит.

— Стенюшка, — молвит сыну Акулина Захаровна, — ты не больно на работу налягай!.. Ведь ты еще малолеток: отец много с тебя не спросит.

— Ничего, матушка, — отвечает малолеток, ростом по плечо матери, — я работу по себе правлю, через силу не перемогаюсь.

— То-то, не надорвись, дитяtko.

Василий Павлович одобрительно поглядывает на младшего сына: лют паренек к работе, никакое дело из рук у него не вываливается и, хотя годами млад, от больших не отстает, со всеми вровень идет.

Не утерпела мать, поведала отцу свою заботу.

— Ты ничего не видишь? — приступила Акулина Захаровна.

— А что?

— Да Стеня-то наш...

— Что Стеня? — перебил большак. — Работать зол, ест исправно.

— С личика он неш сумный, ровно у него печаль какая. Муж вскинул на жену пронизательный взгляд.

— А, ты вот о чем!.. Догадываюсь. Не тревожься, пройдет.

Зимою, в первое же воскресенье, утром за самоваром, Василий Петрович, как будто невзначай, спросил «малолетка»:

— Давно ли, Стеня, дружка своего, Белова, видел?

Стеня потупился.

— Давно... с тех пор не видался, как меня из училища взяли.

— А ты бы съездил, проведал его!

Покраснел Стеня.

— Я и то, батюшка, думал, — вымолвил он, поднимая на отца большие серые глаза.

— Так за чем же дело? Заложь в саночки жеребенка и валяй с богом!.. Может, работника тебе дать, — с улыбкой добавил большак: — один, пожалуй, не совладаешь с жеребенком.

— Чай, справлюсь, — отвечал с улыбкой сын, вылезая из-за стола.

Брат Андрей, сестры и сноха, жена солдата, поспешили на улицу, чтобы посмотреть, как поедет их Стеня. Вскоре работник отворил настежь передние ворота, и Стеня, одетый по-праздничному, выехал на вороном коне с широкого двора. Отец с матерью любовались на паренька из окошек.

В полчаса с небольшим Стеня был в Урванове. Какой-то остряк фабричный, только что дружественною рукою выставленный из двери трактира, увидел его и заорал:

— А вон лешев детеныш на вороном жеребенке катит!

Стеня остался равнодушен к этому замечанию. Еще издали он увидел знакомый дом, в котором стоял на квартире, толпу школьных своих товарищей и в числе их Белова. Ему сделалось весело, и он вздумал пошутить: не доезжая сажень двадцати, придержал коня, раздвинул широко локти и крикнул:

— Поберегитесь, малыши! — и пустил во всю рысь жеребенка.

Ребятки отшатнулись, некоторые ткнулись в снег, но бас молодца все узнали.

— Стеня! Дубков! — раздались голоса, и школяры кинулись вслед за санками.

Лошадь с лихим ездоком остановилась у ворот квартиры.

Убравши под навес лошадь, ребята направились в избу. Хозяйка встретила радушно своего прежнего жильца и хотела поставить про него самовар.

— Ты подожди, тетушка Маремьяна, не хлопочи пока, — сказал гость. — Мне сперва надобно дойти недалеко... А чаю я своего куплю: денежек мне батюшка дал.

Посидел, не раздеваясь, Дубков с товарищами, поговорил, узнал, чему теперь они учатся и спросил:

— Не знаете, дома ли Григорий Николаич?

— Дома, — поспешил ответить Костя; он сидел подле приятеля, не выпускал его руки из своей и все заглядывал ему в лицо. — В эти часы Григорий Николаевич всегда дома!

— Так я пойду, — вставая с лавки, промолвил Дубков.

— Мы тебя проводим! — хором сказали товарищи.

Урваново — село большое, из двухсот с лишком дворов, торговое, с обширной площадью, двумя трактирами и множеством винных лавочек; постройки расположены по низмине и угорам; в базарные и праздничные дни — пьяно-шумное и драчливое.

Под боком — бумагопрядильные и ткацкие фабрики с тысячами рабочих, из которых многие размещаются по квартирам в Урванове. Училищный дом стоял наверху, и путь наших приятелей лежал через площадь, где кучились около увеселительных заведений фабричные, пелись несладко бессмысленные песни и неслась по всей площади отборная руготня.

Ребятишки спешили поскорее пройти мимо.

Григорий Николаевич сидел в своей маленькой комнатке, с двумя окошками, за простым столом, покрытым вместо клеенки газетными листами, и внимательно просматривал ученические тетрадки.

Короткий стук в дверь снаружи заставил его приподнять голову.

— Войдите.

Показались двое мальчуганов.

— А, Дубков! — приветствовал учитель. — Здравствуй, как поживаешь?

— К вам, Григорий Николаевич, — отвесив поклон, начал Стеня.

— Учиться?

— Нет, — потупляясь, уныло отвечал Стеня. — Видно, не судьба мне учиться: батюшку управа не берет...

— Знаю, слышал... Ну, что же делать?

Учитель точно также узнал, что Василий Павлович Дубков в состоянии был нанять и другого работника, не отрывая сына от школы.

— Ежели бы не работа, так батюшка не взял бы меня, — продолжал Стеня. — Так я вот пришел... Покорно благодарю тебя за неоставление, за науку.

Слабый румянец выступил на щеках Григория Николаевича.

— Читаешь ли ты? — полюбопытствовал учитель. — Есть ли у тебя свободное время?

— Времени нашлось бы, да читать-то нечего.

— Ну, это дело поправимое: бери из нашей библиотечки.

С последним словом Григорий Николаевич открыл шкапчик, в котором виднелись на полках с полсотни тощих книжек.

Он выбрал две и подал Дубкову.

— Прочитаешь, — сказал он, — пришли, в обмен я новых дам. А тебе, Белов?

— Позвольте. Я ту прочитал, позабыл только принести. Получив книжки, оба стали прощаться с учителем.

— Прощайте... Читай, Дубков, читай!

Товарищи поклонились. Перешагнули за порог, Стеня обернулся и пробасил:

— Спасибо, Григорий Николаевич! Век тебя буду помнить, — и захлопнул дверь. — Не забуду! — послышался голос Дубкова уже из коридора.

В глазах Григория Николаевича что-то блеснуло, румянец ярче вспыхнул и разлился по щекам; он постоял с минуту, молча смотря на дверь.

— Вот кому бы учиться, — проговорил он вслух. — Какие способности в этом мальчишке!..

Дубков пробежал длинный коридор, в котором раздевались ученики и играли во время большой перемены, но у выхода он приостановился, точно что вспомнив, и сказал товарищу:

— Костя, зайдем-ка в училище! Я хоть погляжу там в последний разок.

Посмотрел Стеня на классную комнату, раза два вздохнул и вышел с Беловым на улицу. Завернули в лавку: Дубков купил чаю с сахаром, разных лакомств и, вернувшись на прежнюю свою квартиру, задал ребятишкам угощение.

Стеня приехал домой веселым: у него были теперь книжки и впереди — надежда видетсь часто с Беловым: тот весною должен был окончить курс.

Прилетела весна, Белов окончил курс, получил свидетельство и награду. Друзья все лето проводили почти неразлучно.

Но осенью Гаврило Петрович увез Костю в Москву и отдал в контору, где служил его старший сын, а месяц спустя и сам поступил на должность приказчика по лесной торговле: дома не у чего было жить, земли мало и одни пески.

Прошло пять лет. Стеня вырос и возмужал. Работник из него удался надиво; в поле, на сенокосе, в кузнице — везде он идет первым, ломит за троих, и все у него ладится. Другому после работы как бы поскорее поужинать и доползти до постели, а Стене и заботы нет: поест, исправит свои могучие члены и хоть снэва на работу. Никакой-то усталости не знал парень!

— Должно, у Дубкова младшенькой-то паренек трехжильный, — говорили мужики, поглядывая на Стенину работу. — Эк, прет-то, что твой медведь чащей!

Вернулся со службы Иван, старший брат, — ушел средний, Андрей. Иван поотвык от крестьянской работы, но хозяйство не страдало: младший вывозил и за старшего брата.

Стеня не жалел силы и для посторонних. Позовут на «помочи», — он первым явится и уж поработает хорошо; понадобится одному мужику вывезти лесины с делянки, Стеня выпросит у отца лошадь и праздником вывезет мужику лес; случится какой вдове или бобылке поправить свой дворишко, ухитить хлевушок и тому подобное, — Стеня охотно справит все бабьи нуждишки, — словом, парень всегда и охотно шел на помощь ко всякому.

Стеня охотник был читать. Книжки из школьной библиотеки он все прочитал, и Григорий Николаевич снабжал его из своих, какие у него имелись и какие были доступны для понимания Дубкова. Приезжая когда в Урваново, Стеня навещал своего учителя; тот беседовал с ним по поводу прочитанной книжки и всякий раз говорил:

— Молодец! Читай, Дубков!

Года через три неожиданно приехал на родину Белов, — в Вязовке жила его тетка, — и как обрадовался ему Дубков!.. Оставшись вдвоем, Костя рассказал приятелю о своем московском житье-бытье: в конторе у них получают газеты и журналы, книги берут из библиотеки, а в праздники ходят на чтения с туманными картинками и в театр. Костя большой любитель театра и говорил о нем с жаром.

Сперва Стеня только с вниманием слушал, потом начал краснеть и бледнеть, волноваться; а когда Костя принялся рассказывать, что в театре представляют, то весь задрожал и заревел.

— Ах, брат, ежели бы и мне с тобою в Москву-то!..

Памятен был ему этот приезд Белова... После отъезда его Дубков с какой-то жадностью накинулся на книги; но и года не прошло, — умер от скоротечной чахотки Григорий Николаевич, и со смертью его разом прекратился источник чтения для Стени. Горько оплакав смерть бывшего своего учителя, он впал в какую-то задумчивость, и его потянуло вон из родной деревни.

Прошел еще год. Он попрежнему работал, и никто не знал, что с парнем творилось. По временам на Стению находила нето скука, нето тоска; тогда он не знал, куда идти, что ему делать... Летом забьется в сад или уйдет в лес, ляжет на траву и долго глядит на высокое небо; одни и те же воспоминания перед ним встают: школьные годы, Костя, Григорий Николаевич... «Уехать мне в Москву или в другой город, а здесь что, — пропаду я...»

Силы требовали исхода, один труд не удовлетворял парня. Василий Павлович собрался ехать в город; Стеня попросил отца, чтобы тот взял его с собою. Губернский город поразил Стению своими златоглавыми храмами, множеством больших каменных зданий и улицами, — особенно главная улица была оживленна и многолюдна. Он на все глядел, ахал и удивлялся, заходил в богато украшенные соборы, всматривался в городских обывателей, купцов, чиновников в мундирах с светлыми пуговицами и кокардами на разноцветных околышах фуражек, на военных и пслицейских; прислушивался на базарной площади к разговорам и прочее. Но к вечеру ему сделалось скучно в городе, и на следующий день он торопил отца скорее уехать домой...

«Нет, мне в деревне место, и никуда я отсюда не уйду», — решил, наконец, Стеня после немых, но страшных душевных мук. Решил и сделался всегдашним посетителем девичьих посиделок, страстным любителем песен и всяких деревенских игр.

Семнадцати лет Дубкову пришлось совершить свой первый богатырский подвиг. Во время весенних хороводов пьяные фабричные, желая показать свою «образованность», начали смеяться над деревенщиной и бранить девиц. Стеня заступился и во главе товарищей прогнал безобразников за деревню и гнал их с четверть версты, щедро награждая чувствительными подзатыльниками. «Не позорьте вперед отеческих дочерей!» — внушал богатырь и, раздав последние награды, с песнями возвратился обратно в Копнино.



Зимою, во время своего храмового праздника, Дубкову представился случай для нового и более трудного подвига. Храмовой праздник справлялся одним, двумя, тремя селениями и целой волостью. Тьлько отпразднуют крутогорские, начинают ивановские, там семеновские и т. д. На праздник съезжаются гости из деревень, ближних и дальних, а местные, если живут где на стороне, приезжают за сотни верст: так велико уважение к престолу! Степень почитания храмового праздника определяется количеством ведер вина и пива: чем больше выпито, тем славнее был праздник. А разлив праздничного веселья измеряется числом драк и побойц, без которых деревенским людям и праздник — не праздник.

Бой в Копнине, как это почти всегда бывает, начался между чужими парнями из-за девиц: крутогорские позаспорили с кузьминскими: ни та, ни другая сторона не хотели уступить и завязалась драка. Копнинцы старались умиротворить и прекратить битву; но посредничество их только разожгло страсти. Тогда хозяева поспешили гостей буянов выпроводить из деревни. Отцы изгнанных обиделись и стали большакам говорить, что так с гостями обходиться «не очестливо»; последние вступились за своих парней. Слово за слово, и дошло дело до кулаков. Гости уступили и бежали. На следующий день они снова явились, но в большем числе, как и следует, — встретили неприятелей и дали сражение. Стеня на это время отлучился, ездил в Вязовку, а когда вернулся, то заметил, что дома не совсем благополучно: с напольного конца раздавались громкие крики и в улице показывались лица с печатью огорчения и следами порчи. В Стене все поднялось. Делом нескольких минут было поспеть на место сражения.

— Куда? За мной!

Голос и появление Стени произвели впечатление. Свои приободрились, а враждебная сторона разразилась на смешками.

— Опоздал! Ну-ка, подойди, испробуй счастья...

Стеня быстро отдал распоряжения: мужикам велел разделиться на два крыла, те беспрекословно повиновались, а сам с ребятами стал в центре и немедленно открыл наступление. Копнинцы почувствовали себя отважными и сильными и по команде Дубкова ринулись вперед... Враги сначала выдержали натиск, но так как между ними не было настоящего предводителя, то скоро подались.

— Напирай! Правое крыло, обходи крутогорских!..  
Левое — угощай кузьминских! — отдавал приказание Дубков.

Неприятели бросились врассыпную... Но тут на помощь к ним подоспели свежие силы: толпа мужиков и фабричных, человек в шестьдесят, вооруженных кольями, жердями и палками, валила навстречу. Беглецы приостановились, сообразив, что силы их удвоились. Копнинцы же — одни и без всякого оружия.

— Бросьте припасы! — грянул Стеня. — Мы с вами по чести, — дело ведем на одних кулаках.

Как же, бросили! Прямо, кто с чем был, и накинулись на безоружных! При виде такого зрелища Стеня вышел из себя.

— Ах, вы, нехристи!.. Стой наши, не разбегайся, — и с последним словом он вырвал из рук одного фабричного здоровую жердь и принялся действовать.

Стеня отнятой жердью выбивал «припасы» из рук неприятелей, приказывая своим, чтобы и они то же самое делали. Пока враги не были обезоружены, копнинцы испытывали некоторую неприятность и сам предводитель что-то получил. Но громадная сила, ловкость и находчивость истинного полководца, какие он показал в этот достопамятный день, отстаивая честь своей деревни, сделали то, что неприятель, значительно превосходивший численностью, отступил, смешался и ударился в постыдное бегство. Многие падали в снег и боялись привстать, а остальные ударились во все лопатки, усердно преследуемые победителями.

— Подлецы! — негодовал Стеня. — На-ка, с чем они на нас вышли... Наддай, наддай Никешке... Гарьку тресни! Будете помнить копнинцев!

Если кузьминские с крутогорскими, равно и фабричные вернулись с поля брани сильно помятыми и разрисованными, то и копнинцы принесли кое-что к домам: добитых и с разными повреждениями оказалось много. Но как побежденные, так и победители остались совершенно довольны: первые сознали, что с копнинцами ничего поделаться нельзя, в другой раз объявлять им войны не следует, а последние проникнулись сознанием своего превосходства и убеждением, что со Стеней Дубковым они могут все деревни покорить...

Пожилые и степенные мужики, а также старики, не

принимавшие участия в сражении, издали наблюдали за ходом военных действий. Когда победители возвратились, вся деревня с торжеством их встретила, и еще три дня пили как ради самого праздника, так и в ознаменование сокрушения неприятельских сил.

Подвиг этот был совершен Стенюю восемнадцати лет, а в исходе девятнадцатого вот что с ним случилось.

Раз с товарищами и девицами он был в сафроновском трактире (в двух верстах от Копнина). Молодежь потребовала вина и чаю. Пили все, как парни, так и девицы; один Дубков не прикасался к рюмке, — он вина не пил. Ребята начали приставать к нему:

— Что ты сидишь-то без внимания?.. Девки пьют, а ты отказываешься?

— Пускай пьют, коли желание имеют. А я не хочу.

— Уважь, Стеня, выкушай! — больше всех настаивал Семен Прибытков.

Дубков посмотрел на парня.

— Эх, Семен, не ладно ты делаешь! — не вытерпел Дубков. — Ведь ты в училище был... Разве не помнишь, что Григорий Николаевич о пьянстве читал?

Прибытков обиделся.

— Какой наставник выискался! — ответил он задирательно. — Кажется, ты напрасно об этом беспокоишься... Я окончил курс и свидетельство получил, а ты всего два года проучился.

Стенюю словно что обожгло. Ни слова не говоря, он схватил бутылку, налил чайную чашку и залпом выпил.

— Ну, вот я уважил тебя, выпил, — проговорил Дубков. — Легче тебе от этого стало, доволен ты?

— Ах, милый! — воскликнул Семен. — За это спасибо, друг! — и парень потянулся целоваться.

— Не лезь, — отстранился Дубков и, налив опять чашку, также залпом выпил.

За столом переглянулись, а Семен пришел в умиление.

— Стеня! Герой! — завопил подгулявший парень. — Вот уважил-то так уважил. Люблю!..

А Стеня выплеснул последнее из бутылки и выпил.

Девки ужаснулись, а ребята на всякий случай поотодвинулись.

— Дурак ты, дурак, Сенька! — вставая со стула, отблагодарил Дубков приятеля за угощение! — А еще училище окончил, свидетельство получил... Дурак!

Нахлобучил шапку и ушел, ни с кем не простившись.

— Пообиделся, — заметила одна девица.

— Обиделся? — спросил Семен. — Это Стеня-то? Нет, он парень добрый, сердце у него отходчивое.

— А вина-то уж ничего не осталось, — проговорил кто-то из парней.

— Как?

— Видишь? — показали на пустую бутылку.

— Вот так ловко, — похвалил Прибытков. — Молодец у нас Стеня, герой!

А Дубков валил к лесу и бормотал:

— Вина выпил... Тпф!.. Попрекнул училищем... Ах, что я с собою только сделал!

«Ах, что я с собою только сделал!» — эхом повторил лес.

#### IV

Стряслось это горе с Дубковым в день праздника рождества богородицы, с которого по деревням начинаются засидки, а через неделю в Копнине произошло событие громадного значения — выборы молодежью деревенского судьи.

Стеня немедленно и со всею молодою энергией принялся «учреждать порядок» среди молодежи, творить суд и искоренять пороки. Прежде всего он восстал против дурного обычая, служившего поводом к неприятным недоразумениям: он уничтожил «срывы» с чужих парней, приходивших в Копнино на посиделки. Затем строго воспретил говорить «нехорошие» слова, особенно при женщинах и девицах. Далее потребовал, чтобы впредь не производилось не только разных увечий и порчи физиономии, но и самого легкого оскорбления действием. Нарушители порядка и ослушники подвергались взысканию. Временем и местом отправления служебных обязанностей Дубков не стеснялся: судил днем, вечером и во всякий час ночи; разбирал дела на улице, на посиделках, словом, везде, где только требовалось правосудие.

Услышит, например, шум или брань на лугу, — он уж и тут, на месте беспорядка.

— Стойте! — загремит. — В чем дело?

Шум разом смолкал. Одни из парней потуплялись, другие — неловко переступали с ноги на ногу.

— Кто зачинщик, и кто кого обидел?.. Свидетели, вперед!

По опросе свидетелей, вызывался потерпевший.

— Не распространяйся... Понимаю... довольно... Ответчик!

Тут судья вперял пронизательный взор на подсудимого и предупреждал:

— Словами не закидывай. Говори дело, показывай, что следует, по совести.

Не спуская проникновенного взора с обвиняемого, судья внимательно и до конца его выслушивал. Если лицо подсудимого выражало смущение или грусть и в голосе слышалось раскаяние, дело ограничивалось одним словесным внушением с обещанием, впрочем, что в случае повторения проступка виновный подвергается более строгому взысканию.

Но если обвиняемый не выражал раскаяния и в лице его играли порочные страсти, если он старался провести судью и увильнуть от законного наказания, то Дубков останавливал хитреца, объявляя суд окончанным, и возглашал:

— Получай!

Следовал подзатыльник, и приговор приведен в исполнение.

Точно так же Дубков поступал и с рецидивистами. Размеры наказания, то есть леща, зависели от вины или тяжести проступка: легкого — двумя пальцами по затылку, среднего — тремя и так далее, до величины всей ладони и разной крепости удара. От первого наказуемый только головой кивнет, от второго — отскочит, но от полного, или «настоящего» — пролетит вперед несколько сажен. При отправлении правосудия Дубков сохранял полное спокойствие духа и замечательное беспристрастие. Сейчас же по исполнении судебного решения правый и виноватый вступали в дружественные отношения, как ни в чем не бывало, или мирно и с легким сердцем расходились по домам. Нередко обе стороны, правый и виноватый, — разбор дела происходил чаще по праздникам, — вели судью в ближайший трактир, усаживались там за один стол, пили чай и вино и беседовали между собой по-душам. За угощение расплачивался обыкновенно сам судья, хотя вина он или совсем не пил, или пил очень умеренно.

Разбору копнинского Стени одинаково подвергались и проступки парней из чужих селений, и фабричных, раз преступные деяния были совершены ими в пределах наделной земли крестьян деревни Копнина.

Первый год работы судье было страшно много. Шутка сказать, — кроме своей деревни, он имел дело с молодежью еще пятнадцати чужих селений. Но зато и результаты достигались блистательные. Года еще не прошло, как «срывы» в Копнине и во многих деревнях прекратились. «Крепкие» слова, которыми по примеру большеяков любили щегольнуть парни и подростки, теперь если когда и вырвались, то скорей по старой привычке или неумышленно, но отнюдь не с целью оскорбления или рисовки. Драки сократились и стали отходить в область преданий: ни одного с поврежденным лицом в Копнине не встретишь. Для всех стало ясно, что жизнь молодежи потекла по новому руслу.

Не говоря о признательности парней и женской половины населения, почтенные домохозяева, отцы семейств и древние старцы отзывались о деревенском судье с великой похвалою:

— Каков Стеня-то! Талант большой в нем заложен. Словно и деревня теперь уж не та, просветилась!

Василий Павлович, улыбаясь себе в русую бороду, говорил сыну:

— Ты, Стеня, не очень усердствуй: не ровен час — зашибешь.

— Нет, я, ведь, с опаскою.

Задумал, было, Стеня поограничить среди молодежи употребление вина, но, рассмотрев этот вопрос с разных сторон, вширь и вглубь, пришел к заключению, что подобного рода реформа несвоевременна.

Слава о деревенском судье росла и распространялась по округе. Но на всех и бог не угодит; не всем, конечно, по сердцу приходился и Стеня. Так фабричные, получившие за свое ухарство довольно чувствительные внушения, обнаружили дух строптивости и протеста. Мало того, что Дубков сокращал на своей территории их буйные нравы, — он положительно не давал им хода и в проявлении любознательности. Так некоторые из фабричных, и частью мужичков из чужих деревень, отличались наклоном к исследованию копнинских погребов и

амбаров, да заодно уж и рыбачьих снастей, которые ставились на ночь в реку. Тут Стеня выступал на сцену уже не в качестве присяжного судьи, а скромного помощника ночного сторожа, Самея Фомича, известного всем под кличку Сморчка, — кличкою, данною старичку за его сморщенное в кулачок лицо с жиденькою бороденкой, щедедушность и низенький рост. Стоило Фомичу только стукнуть в подоконницу дома Дубковых, как Стеня в одной рубашке и штанах, без шапки и босиком выбежал на улицу и, с трудом удерживая душивший его смех, полупотом спрашивал:

— Где?.. У кого?..

— Пойдем-ка, сударик, — отвечал тихо Сморчок: — я тебя доведу, на месте их накрою.

Исследователи успели насыпать в мешки пшена и муки, собираясь взвалить на спины, как, подобно грому, над их головами раздавался страшный голос.

— А, так вы здесь, форсуны-огарки? — хватал первого за шиворот и накладывал по чем попало амбарному посетителю. — А вы не трогайтесь, не шевелитесь, пока я с ним...

— Степан Васильич! — взмолился первый, с которым управлялся Дубков. — Пусти душу на покаяние!

— А, о душе теперь вспомнил? — И Степан Васильич сейчас же давал отпускную грешнику, поддав ему в виде очищения раз киселя, и принимался за остальных... Но если попадался кто из захудалых деревенских, то Стеня, движимый чувством сострадания к бедняку, ограничивался двумя-тремя малыми лещами, — нельзя же так отпустить, для памяти все же следовало поучить! — и выпроваживал мужичонку с напутствием:

— Ступай, ступай!.. В другой раз не попадайся: прибью!.. Силенки у пакостного никакой, а тоже воровать лезет... Грех только один с вами, оглашенными!

После нескольких таких вразумлений ночные экспедиции в Копнине надолго прекращались, но память о Стениной науке запечатлевалась в участниках прочно, особенно у фабричных. Заседа по трактирам и кабакам, они грозились, что Стеньке не сносить головы, и что они, фабричные, рано или поздно до него доберутся. Выражали недовольство и некоторые из парней соседних деревень. Недовольство обнаружилось и в самом Копнине: староста

восстал против Стени за своего внука, награжденного по суду лещом. Фабричные только еще грозились, парни чужих селений таили про себя отместку, а староста как человек ближний немедленно осадил Дубкова.

— Скажи, пожалуйста, кто тебе дозволил увечить ребят? — приступил он к новому судье.

— Увечья по моему закону не полагается, — отвечал Дубков.

— Не полагается! — передразнил староста. — Какое же ты имел полное право моего Петра по загровку съездить?

— Я действую по закону: ребята сами мой закон приняли. Петр твой получил должное.

— Да нет, как ты смел, как дерзнул самоуправствовать?

Стеня заволновался.

— А как твой Петр при всем честном народе Ульяну, вдовы Матрены дочь, поносил всяческими словами и вывалялся, что он к ней по ночам ходит? Да за такие его пакостные слова не так бы еще следовало поучить!

— Не твое дело разбирать: мало ли что промеж девкой с парнем водится...

Стеня заревел.

— И ты мне это говоришь?!.. Старик, борода седая по пояс и выбранный ты обществом человек, а не стыдишься оправлять своего внука!.. Да уходи ты, пожалуйста, уходи от греха.

— Ну, я на тебя управу найду, — пригрозил староста, поспешно, однако, убираясь от богатыря.

Он не пошел с жалобой на Стеню к отцу его, не собрал и деревенского схода, чтобы доложить обществу, а в первый свой приезд в волость обратился к председателю волостного суда. Тот выслушал и посоветовал не жаловаться.

— Примем мы твою просьбу, — говорил он: — присудим ли мы к чему Стеню, или нет, — я наперед ничего сказать не могу. А что Матрена подаст жалобу на твоего внука, — это верно, и суд за обнос девки дурными словами приговорит его на выsidку.

— Так что же мне делать? — спросил недовольный староста.

— А ничего. Оставь без внимания. Стеня, по слухам,



парень справедливый, и обиды от него никто не видал, а ежели он расправляется за озорство с ребятами, так это пускай они промеж себя ведаются. Они же сами и судьей его выбрали.

Староста не уговорился, отправился к писарю, но того не застал дома, — уехал в город; тогда он ухватился за урядника. Скоро обоих их видели в трактире за вином и закускою. Урядник принял живое участие.

— Ваше начальство что, — говорил урядник, видный мужчина с рыжими бакенбардами, закусывая колбасой выпитый стакан водки. — Толкуют про какой-то обычай, а без писаря ни одного решения не сумеют написать. Никакого понятия не имеют, и только одна их необразованность (урядник был из крестьян, но получил солидное юридическое образование в ротной канцелярии, где служил писарем). Вот я на практике им покажу, как нужно действовать... У меня, чуть мало что — живо протокол, — мне помощников не потребуется, а всегда собственною рукой пишу!.. Дело твоего внука, я так полагаю, надо бросить, а повыждем со стороны Дубкова новых поступков.

Староста погорчился и промолвил:

— Новых-то поступков, может, долго придется ждать.

— Не беспокойся! — обнадежил урядник: — у меня живо найдется... Я знаю, где он попадет мне в лапки, — и не я буду, если не упеку Дубкова под уголовный! Даю тебе честное благородное слово.

И желая придать честному благородному слову большую цену и убедительность, урядник попросил у старосты взаймы пять рублей.

Староста отличался ужасной скупостью и дрожал за всякий медный грош, но тут он даже не пожегился, полез за пазуху и вытащил кожаный бумажник.

— Так уж ты, Валерьян Капитоныч, постарайся!

— Будь вполне благонадежен, Клим Федосеич, — отвечал урядник, ловко пряча за обшлаг рукава синий билет.

Но неужели только из-за леща староста домогался насолить парню, не пожалел расстаться с дорогою его сердцу «пятишницей»? Раньше, до закона Степана, ребята друг от друга получали и не такую благодать, но никто уряднику не жаловался, да и сам Петр, хотя сгоряча и

обмолвился при своем дедушке, понял, что лещ был им заслужен, и на другой же день по получении встретился с Дубковым по-приятельски. Причина настойчивости крылась глубже. Клим Федосеич был честолюбив. Имея у себя десяток серий и два билета внутреннего займа, он слыл за тысячника; но никаким почетом в своей деревне не пользовался. Самолюбие его страдало, и он во что бы то ни стало хотел добиться уважения. Должность старшины, волостного судьи или казначея сделались его любимой мечтой; но все старания не привели ни к чему: при выборах на эти должности его всякий раз обходили. Тогда он стал пробовать ближе почву, в своей деревне, и труды его увенчались успехом: Клим Федосеича выбрали в сельские старосты. Обыкновенно на эту должность из хороших крестьян охотников мало выискивается: жалованье ничтожное, хлопот и возни много, а почет — быть посаженным в кутузку исправником или земским начальником, — почет не особенно завидный. Но Клим Федосеич был доволен: все же он теперь человек выборный, какой-нибудь начальник, собирает с мужиков подати, наряжает мирской сход, руководит на нем и прочее. Кроме того в волости староста уж свой человек, с ним здоровается за ручку старшина, волостной писарь, председатель суда и сам господин урядник. А это чего-нибудь да стоит. из-за этого можно когда и в кутузке посидеть, тем более что от этого почета не освобождаются ни старшина, ни писарь.

Но уважения со стороны однодеревенцев Клим Федосеич все-таки не добился, а своею кичливостью и неумными распоряжениями в три года до того всем опротивел, что мужики не знали, как от него отделаться. Перед новыми выборами Федосеич чудесным образом изменился: сделался таким мягким и покладистым, ко всем забегал в глаза и перед всяким так заискивал, что когда стали выбирать нового старосту, то огромное большинство голосов оказалось на стороне Клим Федосеича, а две добрых половины выборщиков после схода были найдены бабами под заборами, в канавах и разных уютных местах. Теперь честолюбие старосты разыгралось: он требовал почета не к одной своей особе, но и ко всему семейству: к сыну, снохе и внучатам. Избрание молодежью в судьи младшего Дубкова было для него тяжким оскорблением.

Вот почему он принял к сердцу лещ своего Петра и старался теперь доехать Стеню.

А Стеня ничего не подозревал, совесть его была спокойна как у человека, стоящего и действующего на твердой почве закона. Об интригах старосты он узнал от своего отца, которому передал тот же председатель волостного суда.

Стеня вскипел.

— Глупый он человек! — выпалил парень. — Да не боюсь я его, и напрасно он мне грозит: я по обычаю поступаю. За меня все парни встанут, и Петр его против меня не покажет.

— Так, Стеня, — говорит Василий Павлович, — знаю, никто о тебе дурного не скажет, и волостной суд тебя не завинит... Да, видишь ли, Федосейч-то к уряднику забегал... Не люблю я этих урядников, мздоимщики они и большие кляузники, ни за что тебя под ответ подведут.

— Долго ли до греха, — встревожилась Акулина Захаревна, — спаси христос! Остерегайся, дитяtko, не наткнись ты на урядника-то!

— Урядник мне не страшен, — отрезал дитяtko, — себя я соблюдаю.

Василий Павлович с любопытством посмотрел на сына.

— Неужели, Стеня, ты урядника не боишься?

— Нисколько. Чай, он тоже по закону поступает, а не самопроизвольно.

— Ну, смотри, держи ухо востро.

Ребята пришли в негодование, когда услышали про козни старосты.

— Чего он сует нос не в свое дело? — говорил Ковригин. — Мы не лезем на сходы и не указываем старосте... Так зачем же он-то в наши дела вступается? У нас свои обычаи, и мы живем по-молодому и большаков не касаемся.

— Надо Федосейча хорошенько проучить, — предлагал Семен Прибытков.

На другой день, в праздник усекновения главы Иоанна предтечи, Стеня Дубков отправился с товарищами к обедне в ближнее село, а от обедни попали они к знакомым и прогостили там до шести часов.

Перед вечером приятели возвращались к домам. Ребята были навеселе, но никто не мотался, крепко держались

на ногах и вели оживленный разговор. Один Степан Васильевич молча совершал свой путь. Между темными густыми бровями великана лежала складка, и выражение лица было сосредоточенное, очевидно, в умной головизне его шла гигантская работа мысли, нарождался смелый замысел, или, может, созрел уже давно обдумываемый законопроект на благо и славу родной деревни. Парни торопились домой, чтобы поспеть к ужину; до Копнина оставалось не более ста сажень. Вдруг по всему полю раскатился страшный хохот:

— Ха-ха-ха-ха-о!

Ребята приостановились.

— Что ты, Стеня, чему? — спросил Миша Ковригин.

— Какую шутку, братцы, я придумал!

— Ну, скажи! — подхватил разбитной Сеня.

— Уже, после ужина, открою... Ха-ха-ха-ха-о!

## V

В праздничный день деревенская улица оживленна. Такою она была и в праздник 29 августа. С утра гуляют парни, сопровождаемые подростками и ребятенками, а после обеда выйдут на улицу и большаки, даже старики и старушки. На завалинках и скамейках, у палисадников и погребов сидят нарядно одетые женщины и мужчины, ведут разговоры; под липами и на траве играют ребятки, кричат и спорят, а на лугу поют девки и парни. Улицею ходят неведомые странники, неизвестно к каким святым местам направляющие свои стопы; величаво и тихо, мерною поступью, держась за палки мальчуганов-поводырей, выступают здоровые и высокие старцы-слепцы, распевующие своеобразными сильными голосами про убогого Лазаря или про мудрого царя Давыда Евсеевича; проедет в лесные дачи приказчик или какой торговец; прокатятся на лихих конях в блестящей сбруе и с бубенцами, в коляске дамы, супруги и дочери фабрикантов или их управляющих и директоров.

Незадолго до заката хрюканье и частый глухой топот возвещают о приближении овечьего стада, впереди которого рядами и враспынную несутся свиньи. Погодя, возвращается и второе стадо — крупный скот. Многие из женщин, хозяйки, покидают беседу и спешат во дворы,

чтоб убрать скотину. Вот незаметно скрылось солнце, и в воздухе потянуло легкою сыростью.

Золотисто-бирюзовая заря еще не потухла, а на землю спустились уж сумерки.

Безлюдье и тишина... Ярко и приветливо светятся двумя линиями огненные точки: порою где-нибудь в окне мелькнет рука или плечо, на белую занавеску упадет тень головы или широкой спины. И сдается, что жизнь опять вырвется на улицу, хлынет по ней волнами и зашумит. И точно, как только успели семьи отужинать, деревня из конца в конец наполнилась молодыми голосами, смехом и весельем. Пока бабки, матери и снохи перед отходом ко сну управляют хозяйством, парни с девками урвут от жизни свое: с песнью проходит толпа, за нею вслед с пляскою несется другая, взлетает чье-то бойкое слово, подхватываемое взрывом здорового мужского хохота, надрывается и рыдает итальянка-гармоника в руках искусного игрока и звенит девичий смех. Над всем этим властительно стоит могучий бас Стени Дубкова, мягко раскатывающийся по деревне и окрестности:

Ах, ты ноченька, ночка темная!..

А под тесовыми навесами ворот ведутся тайные речи, прерываемые тихими, но пламенными поцелуями... Молодость! Жизнь!..

Но вот в чутком воздухе раздалась и посыпались короткие, частые звуки деревянной колотушки: это Самей Фомич, ночной сторож, дает о себе знать жителям, что он уже вышел на улицу и отправляется в обход по селению.

«По-ра спать, по-ра спать!»

Выколачивает юркий старичок, мелкими шажками подвигаясь вперед и зорко всматриваясь в темные фигуры, двигавшиеся там и тут.

Заслышав стук колотушки, заботливые хозяйки спешат помолиться богу и поскорее лечь: завтра надо пораньше вставать, выбирать из гряд картофель и выдергивать последний лен, оставшийся кое-где на полосах. То в одном, то в другом доме мигают и гаснут огни, линии светлых точек прерываются, образуя черные промежутки; голоса, песни и гармоника смолкают и жизнь отливает. Слышны побрякиванья кольцом, стук железной защелки и хлопанье калитки.

— Маш-у-тка-а! прощай...

— Прощай, Феня-я!

Все реже и реже огоньки; все тише и темнее на улице; разве еще где под навесом услышишь шопот:

— Пора мне, желанный. — домашние уж легли...

Самей Фомич, продолжая свой обход, неустанно бьет колотушкой, и под сладкую музыку ее скоро и безмятежно засыпают деревенские люди, а лихой человек хоронится или бежит в сторону, чтобы не попасться на рысьи глаза неусыпного сторожа... Но что это? За углом шорох и целуются?.. Самей Фомич всматривается и видит...

— Мир на страдованьи, — говорит старик, кланяясь и проходя мимо счастливой парочки, — Вишь, ты, должно, в невесты себе прочит... Что ж, время Петрухе жениться, а Варвара — девка знатная, работающая... Только не надуд бы он! Больно уж плутист парнишка и ловок обхаживать ихнюю сестру...

Самей Фомич шагает дальше, проходит мимо вдовиной избушки, где он живет на квартире.

Впереди из ночного мрака выдвинулась громадная фигура, и гурьба молодых гуляк преградила сторожу дальнейший путь.

— Кто иде-е-ет? — басом окликает сторож.

— Жители... Фомич, ты?

Фомич закидывает голову, чтобы рассмотреть лицо великана, и сразу узнает Дубкова.

— Степан Васильевич! — воскликнул сторож. — Все ли вы в добром здоровье, батюшка? Как господь бог хранит вашу милость?

— Ничего, — ответил Стеня. — Хвори никакой пока за собой не знаю. На-ка, вот тебе гостинец, — прибавил он, подавая сторожу какую-то вещь, завернутую в бумагу. — Мы сегодня к Егорью молиться ходили, так я нарощно для тебя и прихватил.

— Ах ты, мой родимый, ах ты, мой болезный! — не сказанно обрадовался Самей Фомич, чутьем определив сущность гостинца.

— А закусить-то у тебя есть ли? — осведомился Дубков.

— Как же, сударик, имеется: за пазухой у меня краюшка хлеба.

Тут вмешался Сеня Прибытков.

— Нечего, значит, тебя и задерживать, — сказал раз-

битной парень, — твое дело служащее, — ходи, колоти и охраняй жительство, а нам пора набоковую... Да струмент-то при тебе находится?

— Какой струмент?

— Экий ты недогадливый! Гостинец-то, ведь, за печатю: чем ты пробку выковырнешь?

Довольный Самей Фомич пустил легким смешком:

— Хе-хе-хе... Караульщик без запаса, касатик, не ходит: у меня завсе при себе шильце...

— Ну, коли так, мы за тебя спокойны, — шутил Прибытков. — Да спрячь, спрячь ты гостинку-то! Время теперь ночное, еще обронишь...

— Не оброну, сударик, — с ласковою уверенностью отвечал Фомич. — Я вот к дару господнему ее, за пазушку, спрячу... Как возможно, чтобы этакое сокровище да обронить!

Разошлись. Парни отправились спать, а Самей Фомич — в обход, пугать воров.

— Прощай! — услышал караульный голос Дубкова. — В случае нашествия прямо лети ко мне и буди! Я помощь тебе подам.

— Спасибо, радельник!.. Уж в случае какого несчастья, — не оставь, окажи способности...

— Окажу. Надейся!

Самей Фомич постоял, ощупал гостинец и крикнул:

— Ангел!.. Спокойной тебе ночи...

Вместо Дубкова в ответ отозвался Прибытков:

— Прощай, Сморчок!

Самей Фомич тряхнул головой.

— Ладно, «Сморчок»! — промолвил он, трогаясь снова в путь. — Доживи-ка ты до моих-то годов, так сам будешь сморчком... А я вот постучу разок другой, да благословясь, на свободе и займусь гостинкою-то... Экий парень хороший этот Степанушка! Ну-ка, попечение о Самее поимел, не забыл чужестранного человека (старик был из другого уезда верст за тридцать). Бог пошлет ему за добродетель... А хорошо теперь пропустить малость...

Самей Фомич почувствовал свежесть: с реки вставал туман.

Сморчок постучал, неизвестно для чего крикнул: «слу-у-ша-ай!» и, не дойдя до последней избы, повернул обратно, в верхний конец. Он не захотел больше забивать

ног, очутившись у вдовиной избушки, присел на завалинку и решил заняться приятным делом.

Над Копниным стояла глухая ночь. Нигде огонька не блеснет, дома и надворные постройки слились; одни крыши с трубами да вершины берез с засевшими на них черными гнездами выделяются на своде синего неба, усеянного бесчисленным множеством звезд. Все тихо и безлюдно, ни в одном дворе не тявкнет собака.

Сторож трудился над Стениным гостинцем: бережно вынув пробку, он прямо из горлышка пропустил несколько глотков и с чувством проговорил:

— Ув-важаю!

Приятная теплота разлилась по всем членом Самея Фомича, какая-то детская улыбка шевельнула его усы и бороду; он прислонился к стене и принялся глядеть на звезды.

Туман поднялся и заглянул в верхний конец деревни. Постоял немного, колыхнулся и медлительно, точно нехотя, направился вдоль улицы: тонкой кисеей стелется он по земле, обнимает у корней толстые стволы деревьев и растягивается дальше, все дальше, ширясь и расплзаясь по низкорослой траве, выбитой скотиной. Среди ночного безмолвия и покоя, под поветью вдовина двора, всхлопнул крыльями петух, и звучно по деревне разнеслось его первое «кукуре-ку-у!». Встрепенулся и запел на соседнем дворе, за ним третий... Пение деревенских «обужателей» нарушило блаженное состояние ночного сторожа и возвратило его к действительности.

— Слава тебе, господи! — проснулся Самей Фомич. — Петушки уж поговаривают... И не заметил, как времечко-то в мечтании прошло... Пора, думаю, постучать?..

Нащупав сперва на груди под овчиною гостинец, сторож приподнялся с завалинки и, не торопясь, побрел; доплелся до середины улицы и принялся неистово стучать колотушкою, наводя страх и трепет на лихих людей. Исполнив добросовестно свою обязанность, он не замедлил вернуться на облюбованное им местечко, расположился поудобнее и булькнул раза два из бутылки.

— Довольно, — промолвил Самей Фомич, — поберегу... Экий туман-то большой!

Старик плотнее завернулся в дырявый армяк, напаялен-



ный поверх старого вытертого полушубочка, и предался размышлениям о суете человеческой жизни... Час или полчаса сторож вздремнул, точно определить трудно, но когда он снова открыл глаза, то был крайне озадачен: весь противоположный порядок строений исчез, потонувши в тумане, только одни кони с трубами да вершины деревьев виднелись, а сверху над головою по-прежнему сверкали звезды. Но не это смутило дух Самея Фомича. На высоких березах, там, где недавно еще жили грачи, он увидел новых обитателей, нисколько, однако, на птиц не похожих, а хороших медведей. Не успел сторож в уме решить, какие в настоящем случае принять меры, — произвести ли в селении тревогу или бесшумно юркнуть в калитку, — как заметил на березках картузы и шапки, каких настоящие медведи никогда не носят, и от сердца у него разом отлегло.

— Да ведь это — ребята, — догадался старик и тихонько засмеялся. — Озоруйте, озоруйте, пареньки, а я на вас погляжу!.. Да что они затеивают? Разве попужать?.. Хе, хе, хе... Нет, запасаются, пожалуй, а люди они уважительные... Что за диво! Куда ж это гнезда-то?..

Черные грачные гнезда, похожие на чудовищные бороды, застрявшие между сучьями, одно за другим падали и тонули в тумане... Сторож выронил колотушку.

— Господи Иисусе Христе! — выговорил и сдернул с головы шапку...

Дрожащей рукою осенил он себя крестным знаменем, и те, кого он принял сперва за медведей, а потом за деревенских парней, взвильнули хвостами и бултыхнулись рожками вниз (Сморчок отлично рассмотрел на них эти украшения) и праха от них не осталось! Только теперь Фомич как должно уразумел, кого пришлось ему увидеть... Но он не потерял сознания и твердости духа: очнувшись через минуту проворно вытащил бутылочку и живо прогнал холод, который забрался к нему под полушубок и прохватил до костей.

— Ну, а теперь я подожду, что еще от вас будет? — смело и вслух заговорил храбрый Сморчок. — Вишь ты, нечисть объявилась!.. Шестой год я здесь служу, каждую ночь караюлю, а ни разу еще этой погани не видал... Да я, ведь, их не очень-то боюсь: сотворил молитву, положил на себя крест, — и провалились до единого все, окаянные!.. Пойду осмотрю жительство да постучу.

Самей Фомич поднял с земли колотушку, выпавшую у него из рук при появлении «нечистых», сделал шагов двадцать и заколотил; потом в раздумье постоял недолго и повернул опять к завалинке.

— Надобно бы на задворках понаведаться, все ли там благополучно? — размышлял заботливый сторож. — Да кому в эдакий туман охота воровать?.. А уж ежели кто забрался в амбар или клеть, так и будет там смиренхонько посиживать, — в теми-то и не разглядишь его... Лучше я здесь посижу... Замок где сшибут, али шум заслышу, так я всегда успею кликнуть Стенюшку... Опасности никакой не предвидится.

Успокоив себя такими доводами насчет благополучия деревни, Самей Фомич уселся в углу и стал караулить.

Запели вторые петухи.

«Вот, опять кочетки перекликаются! — думал сторож. — Великий разум этой птице от бога даден: по голосу ее человек завсегда время узнает!.. Премудрость!.. Неш постучать? Ну, добро и так... А глоточек еще не мешает пропустить, потому сыро, и от сырости человеку всякая болезнь приключается, а вино сырость и болезнь отшибает».

За словом последовало дело: послышалось «буль, буль» и довольный голос:

— У-у-важ-жаю!

Сморчок тряхнул головой и беззвучно засмеялся.

— Не худо бы теперь немножко вздремнуть...

Но исполнению этого естественного желания помешало новое видение. Наискосок, через дорогу, на крыше одного высокого дома из тумана вырос и поднялся до звезд какой-то исполин, весь черный, лохматый и страшный...

— Это еще что?!

Сморчок зашептал молитву и перекрестился. Не пропадет! Во второй раз перекрестился — стоит... Сотворил молитву в третий раз — не проваливается, наоборот — растет и, повидимому, хочет своей башкой небо подпереть... Вот за трубу ухватился...

— Не-е-уж... вор?! — пролепетал сторож. — Экой я дурак! — выбранил он себя и смело прибавил: — Кого не узнал? Домовой это на крыше старостина дома... Так и есть — он! Гм... верно, разгуляться вышел... Вон, рукой машет, — ведьму, должно, к себе манит?.. Да что это я никак не разберу, в какую он одежду вырядился?.. Ах, дуи ты горой! Бураками он убрался!..

Самей Фомич отлично знал, что «хозяин», или домовый, всегда с добрыми людьми в ладах живет и человеку вреда не делает.

Поэтому вместо страха Фомичом овладело теперь любопытство, и он с нетерпением стал ожидать появления ведьмы, а ведьмою, по достоверным сведениям, — была нестарая еще бобылка Фекла: она лечила от дурного глаза, снабжала девок приворотными корешками и одним духом у мужиков снимала килы... Как же не ведьма? Настоящая она и есть ведьма.

— Погляжу, погляжу, чем они будут заниматься, — говорил Сморчок, потирая от удовольствия руки. — Очень это любопытно!.. Все еще машет! Что ж она задерживает, томит понапрасну человека?.. Дура, баба... Э, да на шее-то у него не бураки, ей-богу, право, не бураки! Лукошками он обвешался... Вишь, каким большущим помахивает!.. Да где он столько их достал? Беспременно у старостихи из клетки наворовал... Вон, начал скидывать и хронить... Опрогневался, знать, на ведьму-то: пообещала притти на свиданьице, а слово-то не поддержала... Гляди, не работник ли Дубкова теперь у ней в гостях?.. Экий ты большущий да могутный, батюшка домовый! И как есть в полном виде человек, только вот с обличья черный, не различишь: наш, мужичий на нем лик, али скотский?.. Ну, да куда ж это он?

Точно с ледяной горы, домовый покатился с коня и нырнул в туман... В ту же минуту послышался сдержанный, но здоровый смех, и до слуха Фомича отчетливо донеслось:

— Жив ли ты, Сморчок?

Самей Фомич вздрогнул, но тотчас же оправился.

— Вишь, глазастый, — промолвил, — узнал!

В продолжение остальной ночи какие видения беспокоили сторожа и беспокоили ли, — неизвестно: по крайней мере, сам он после на вопросы любопытных отвечал как-то уклончиво и таинственно. Достоверно лишь одно: когда на рассвете Фомич проснулся, то подле себя, на завалинке, нашел не одну, а две бутылочки и, к большому своему огорчению, обе пустые.

Утром на деревне затопили печки. С земли и лугов поднимался кверху пар, насквозь пронизанный теплыми лучами солнца, а из труб бежал столбиками дым. Не прошло получаса времени, как в деревне послышалась тревога.

Хозяйки поспешили к окошкам, выглянули: мужики, парни и ребятишки бегут по улице, а дом старосты весь стоит в густом дыме.

— Батюшки, пожар! У старосты загорелось...

Но пожара никакого не было: почему-то не шел в трубу дым и выбивал из печи, так что пришлось открыть все окна.

После долгой суетни, недоумений и тревог выискался смысленный человек и притащил лестницу, приставил к стене и взобрался на крышу, чтоб осмотреть трубу. Залез на конь, заглянул — темно в трубе; запустил руку — и с трудом вытащил оттуда грачиное гнездо.

— Э, э! да их тут и не оберешься, — промолвил весело мужик: — до самого борова натаскали.

Замешательство и все тревоги сменились общим смехом, бранью старосты.

— Мошенники! Разбойники! — вопил Клим Федосевич. — Сегодня же погоню в волость... заявлю уряднику!

— Да кто это эдакую штуку удумал? — задавались с разных сторон вопросами. — Нутка, кому взойдет в голову: полну трубу гнездами наколотили? Наверно, кто из ребят.

— Я знаю кто... — начал было староста.

— Не грешите понапрасну! — раздался голос, и Самей Фомич показался в толпе. — Ребята здесь ни в чем не причинны, — продолжал верный сторож. — Это — думового штуки! Я своими глазами все видел.

Он обстоятельно и добросовестно, со всеми подробностями, рассказал о страшных событиях минувшей ночи. Мужики внимательно слушали и глубокомысленно покачивали головами, а бабы вздыхали и жалостливо говорили:

— Ах, ах, матушки! Экие страсти на белом свете водятся... Фомича-то больно жалко: старичок уж си хуленький, мозглявенький, а сколько от нечистых напасти всякой наиспринимался.

Не мало после ребята смеялись. Но Василий Павлович, также про себя посмеиваясь, счел нужным сделать замечание сыну:

— Стеня, ты не дури!

— Ничего, батюшка, — ответил парень, — опасности нет, а старосте будет памятно.

Осень подкрадывалась незаметно. Дождей не было, погода стояла ясная, но по утрам начались уже морозцы. Лист везде желтел и осыпался, деревья редели и больше сквозили, только одни ели да сосны гуще и свежее зеленелись; из перелетных птиц остались одни журавли, — их крики, раздававшиеся порою, звучали печально по родным болотам; на задворках и тумнах стаями носились вороны, галки и сороки. Над овинами постоянно расстилался небольшой дымок; на токе слышался частый, веселый стук цепов.

До самого октября погода стояла хорошая.

Степан Васильевич снова и единогласно был избран в судьи.

Воскресение. Стеня подковал двух лошадей, вынул самовар и потом вместе с домашними пообедал. Еще утром принесли ему письмо со станции от Белова и Стеню разом потянуло из дома. Это с ним всегда случалось, когда получал он письма от московского приятеля.

— Батюшка, — промолвил он, — я снесу трактирщику самовар.

— Твое дело, — отвечал Василий Павлович. — Аль деньжонки понадобились?

— Нет, денег у меня еще хватит... Вздумалось поразгуляться, так заодно бы...

Василий Павлович, подобно всем зажиточным мужикам и настоящим хозяевам, ценил трудовые деньги и отличался бережливостью. Но как человек практического ума он понимал, что нельзя молодому парню обойтись без некоторых расходов: надо когда с товарищами в трактир зайти, купить гостинцев девкам и прочее. Не желая лишать своего любимца удовольствий, какими обыкновенно пользуется деревенская молодежь, он позволил Стене в праздники работать на себя: у парня будут свои деньги, и деньги трудовые, а потому не станет он тратить их по пустякам.

Получив родительское одобрение, Стеня надел суконную поддевку, нахлобучил картуз на голову и, закинув на спину мешок с двухведерным самоваром, отправился в Сафроново.

Он не пошел прямою дорогой, которою все ходят, а взял берегом, на версту дальше. День был превосходный,

солнечный. Внизу, все еще по зеленеющей отаве, на многие версты изгибалась синей лентой река, сверкая местами серебристыми косами; орешник, дубняк, рябина и вязки, заполнявшие пойму, горели в багрянце и золоте. Стеня шагал и глядел на эту увядающую красоту природы; в душе его опять поднимались давнишние воспоминания, — Костя, учитель, школа... И опять, и сильнее его куда-то манило, влекло.

Но по мере того как он подвигался вперед и вдыхал полными легкими свежий, здоровый воздух, на сердце у него постепенно затихало, на душе делалось как-то спокойнее.

Трактир стоял на торчке, особняком, в четверти версты от деревни Сафроново. Под навесом Стеня заметил оседланную лошадь; из открытых кое-где окошек неслись голоса и песни. Парень толкнул наружную дверь, — его так и обдало запахом перегорелого масла и тютюна, — и очутился в большой комнате, набитой посетителями, в числе которых увидел и своих копнинских. За буфетом кустился хозяин, упитанный и темноволосый, лет сорока, в клетчатом пиджаке. Дубков махнул прямо к буфету.

— Уж готов? — с деловитой улыбкою на рябом лице проговорил трактирщик, вылушывая из мешка самовар. — Все ли вы здоровы, Степан Васильевич? Как папаша?

— Слава богу, — ответил Стеня, — наши все здоровы. Прикажи-ка мне чайку собрать.

— К нам присаживайся, — позвали Дубкова копнинские ребята.

— После, — сказал Дубков и направился к окошку, у которого оставался свободный столик, вблизи закрытых дверей, за которыми пряталась особая комната.

Он снял поддевку, положил ее вместе с фуражкой на другой стул и принялся за чай. Выпил две чашки, достал из кармана письмо и углубился в чтение.

За другими столами закусывали, пили вино, пиво и чай. Большинство посетителей составляли сафроновские и крестьяне ближних селений; человек пять фабричных и трое мужичков с запыленными лицами, в протертых зипунах, с котомками и мешками, лежавшими около них на полу, утоптанном сапогами и лаптями. С появлением Стени песни и гармоника замолкли. Слышались только громкие разговоры и споры.

Окончив чтение или, вернее, перечитывание письма.

Дубков задумался... Погодя, он вздохнул, повел глазами на незнакомых мужиков и негромко зашел:

Эх, ты доля, эх, ты доля,  
Доля бедняка!..

Разговоры и споры за столиками стихли, лица повернулись в сторону окна, где сидел Дубков.

Тяжела ты, безотрадна,  
Тяжела, горька!..

Но тут половина двери из соседней комнатки приотворилась и раздался повелительный голос:

— Прекратить! Что за безобразие?

Певец не принял этого приказа на свой счет и выводил:

Не твою ли это хату  
Ветер пошатнул?..

Распахнулись настежь обе половинки двери, и высокий, плотный мужчина с рыжими бакенбардами, в форменном сюртуке и при шашке, предстал перед глазами трактирной публики — грозный и важный, каким только грозным и важным может быть полицейский урядник.

— Я же приказываю замолчать! — гаркнул он на Дубкова. — Безобразия здесь не допускаются.

Стеня посмотрел на грозного блюстителя порядка.

— Вы это мне, что ли?

— А то кому же? Ты один позволяешь в публичном месте бесчинства.

— Бесчинства с моей стороны нету, — отвечал Стеня.  
С крыши ветхую солому  
Разметал, раздул...

не обращая внимания на бакенбарды и форменный сюртук, продолжал с чувством Дубков.

Довольно увесистая рука упала на плечо певца, и он услышал:

— Тебе же приказывают замолчать. Ослушание начальства?

Стеня повел слегка плечом. Урядник шага на два отступил.

— А, так ты вот как? — произнес он и обнажил шашку.

По всей вероятности, голова, спина или плечо Стени подвергнулись бы неприятности, если бы тут не произошло

нечто непостижимое и неожиданное. Никто глазом не успел моргнуть, как богатырь уж стоял, выпрямившись во весь рост, быстрым движением руки вырвал шашку, так же быстро переломил ее пополам и обломки вышвырнул за окно.

Покончив дело, богатырь опустил на стул и, как ни в чем не бывало, принялся за чай.

Все это совершилось так внезапно и стремительно, что зрители не имели времени дать себе отчета: все сидели положительно в оцепенении. Сам урядник был ошеломлен в высокой степени и стоял неподвижно. Придя, наконец, в себя, он возопил:

— Почтенная публика! Видели? Соппротивление начальству... Протокол! — и с последним словом бросился в каморку.

Публика очнулась. Первою мыслью, которая ударила в головы посетителям, жившим в одном полицейском участке, — это выкинуть на стол деньги и, не прощаясь с хозяином, бежать вон из трактира.

Когда урядник вернулся с чернильницей и отрепанным кожаным портфелем, то общая комната оказалась уже опустевшею на две трети гостей.

— Вы свидетели! — объявил он, присаживаясь к одному из столиков и вынимая лист бумаги. — Савелий Куприяныч, никого из заведения не выпускать.

Копнинские ребята переглянулись.

— Дозвольте спросить, господин урядник, — начал Ковригин, — в чем мы должны быть свидетелями?

— А в том, что вы здесь видели и слышали: в нарушении публичной тишины, безобразничаньи, и сопротивлении начальству.

— Мы этого ничего не видали и не слышали.

— Как?!

— А так, — ответил Ковригин, — мы толко слышали, что вы очень кричали, и заметили, как вы шашкой на Дубкова замахнулись.

— В этом все будем свидетелями, — подхватили остальные копнинцы.

Урядник был озадачен, он скоро нашелся.

— Понимаю. Одной, значит, шайки. Ну, я и вас в число участников запишу.

Трое мужичков, оторванные событием от приятных своих занятий за бутылкою и слушания песни, все время



оставались в состоянии созерцательном, весьма близком к столбняку. Теперь один из них открыл уста.

— Господин урядник, — заговорил он, — мы тоже, выходит, свидетели?.. Ладно... Сделай такую милость, побеспокой себя, запиши от моего лица и вот от них, моих товарищей, — мы все трое — опенковские, Спасского уезда крестьяне. Пиши: так, мол, и так, допрежде в трактире ребята пели песни и шибко промеж себя кричали, — урядник до них не касался; а как запел вон этот, большой-то парень, — пел же он чудесно! — ты выскочил из каморки, — извини, не видал, что ты пил и кушал там, — и орудьем своей хотел зашибить парня, но бог тебя от греха этого избавил: сам паренек орудью у тебя вырвал, — погляди, вон она за окошком-то валяется! Так все ты и запиши.

— Мирон справедливо показывает, — отозвались товарищи-опенковцы. — Урядник, действительно, человека хотел зарубить.

Фабричные и остальные все, кто находились в трактире, также заявили, что господин урядник хотел ударить Дубкова пашкой.

Савелий Киприянович, отлично понимавший положение дел, нашел причину отозвать урядника в сторону.

— Бросьте вы это дело, Валерьян Капитоныч, — сказал он ему вполголоса, — легко может выйти и для вас неприятность.

— Но как же я теперь могу оставить! — спросил урядник, обливаясь потом.

— Не тревожьтесь, я вам подсоблю... Валерьян Капитоныч! — громко начал трактирщик. — Покорнейше вас прошу из уважения ко мне оставить дело без внимания. Первую вину можно простить.

Конечно, из уважения к почтенному Савелию Киприяновичу господин урядник не прочь оказать снисхождение, но Дубков, помимо послушания, сломал казенную пашку.

— Это ничего-с! — успокоил Савелий Киприянович, кинув ласково-просительный взгляд на Дубкова. — Степан Васильевич по моей просьбе вам эту шашечку починят, лучше новой-с будет... Так ли я говорю, Степан Васильевич?

— Так, — коротко ответил Дубков, попивая чай.

— Ну, да я в этом не сомневаюсь, — подавался урядник, показывая вид, что такая с его стороны уступчивость

делается исключительно ради хозяина и доброй славы его заведения. — Но так как публично, то... Дубков обязан передо мною...

— Все, все будет исполнено! — с живостью перебил Савелий Киприянович, уловив набежавшую на высокий лоб Дубкова морщинку. — Только на этот счет вы потом объяснитесь, а сейчас, ради приятства и союза, вам господа непременно следует потребовать чего-нибудь из-за буфета.

Стеня привстал.

— Господин урядник, — промолвил, — мне нужно вам пару слов сказать. Повыйдемте на минутку.

Урядник хотя не совсем охотно, но последовал в каморку. Дубков притворил двери и обратился к нему с вопросом:

— Скажи, за что ты меня оскорбил?

— Помилуй, братец! Ты ведешь себя неприлично...

— Ну, не сказывай, коли не хочешь говорить правды. Мне известно: это по наущению старосты ты на меня набросился. Хорошо. Тебе еще одно слово: ежели ты наскочишь на меня незаконно в другой раз или что учинишь против копнинских ребят, так я наперед тебе сказываю, — и ты это знай: плохо тебе будет... Убить я тебя не убью, но здоровья ты лишен будешь окончательно, и в урядниках тебе больше не служить. Так ты и заруби себе. А теперь пойдем вино пить. Я угощаю.

Возвращение Дубкова с урядником хозяин приветствовал самым восторженным образом:

— Вот это превосходно!.. Объяснились? Так гораздо лучше... А то из-за пустяков и такое беспокойство...

— Бутылку смирновской и закуски! — приказал Стеня. — Садись, урядник! Ребята, — обратился он к своим. — пейте! Савелий Киприяныч, бутылку на этот стол. Может, кто из вас желает? — повел он глазами на фабричных и троих мужичков. — Требуйте... Я за все отвечаю.

— Вот это настоящее дело! — восхищался Савелий Киприянович, откупоривая одну за другой бутылки. — А то — протокол!.. Напрасный перевод бумаги с чернилами, а для публики одно только огорчение... Васютка, бери поднос, неси сперва начальникам!.. Нет, я сам им подам, а ты вон на этот стол поставь, за которым господа копнинские... Опенковцы повременят... Ильюшка, что ты

с закускою там застрял?.. Несешь? Подай эту бутылку нашим парням.

Меньше чем минут через десять публика находилась уже в состоянии элегическом, какое обыкновенно наступает, когда деревенские люди выкупают по два или по три стакашка, иногда и по пяти, — это зависит прямо от природы человека. Дубков первый встряхнул своей курчавою головою и сказал:

— Миша, начинай!

Ковригин не заставил себя ждать. Он провел рукою по своим мягким черным волосам и тихо, приятным тенором начал:

Ах ты, воля, моя воля,  
Золотая ты моя!

Стеня и вся молодежь сразу и стройно подняли:

Воля—сокол поднебесный,  
Воля—светлая заря!

Из двери, которая вела на собственную половину трактирщика, высыпали дети, за ними вышлыла дородная супруга Савелия Киприяновича и показалась работница. Служащие мальчуганы и сам хозяин, сложивши на груди руки, стояли, как вкопанные, и слушали; опенковцы, приподняв свои запыленные лица, замерли на месте и сидели с открытыми ртами. Песня росла и крепла, разливаясь широкой волной:

Не с рососою ль ты спустилась?  
Не во сне ли вижу я?

Среди молодых, сильных голосов слышался и голос урядника: расстегнувши мундир и оттопырив нижнюю губу, он пускал октавою, и в общем выходило это у него очень недурно.

Когда песня окончилась, один из опенковцев, обладавший более других чувствительной душой, привстал с места и принялся хвалить и упрашивать Дубкова:

— Хорошо!.. Сейчас умереть — впервой слышу такое чудесное пение... Милый, паренек хороший, спой ты опять про беднякову долю... Очень нам желательно. Уважь, молодчик!

— Отличная песня! — подхватил урядник и налил себе стакан. — Савелий Куприяныч, подбавьте закусок... Запевай, Степан Васильевич!

Дубков обвел глазами компанию и сказал:

— Хором лучше выйдет.

И снова трактир услышал про долю бедняка. Высоко поднимался тенор Ковригина, выражая все горе обойденного судьбою человека, и сдержанными рыданиями вторили ему сильные басы.

Не одни опенковцы, опустив головы, проливали на стол слезы, слушая про долю бедняка; плакала и хозяйская работница, вытираясь часто рукавом миткалевой рубашки; даже на глазах полнолицой трактирщицы навертывались слезинки.

Савелий Киприянович, раскачиваясь под песню, испытывал эстетическое наслаждение и благодарно вполголоса говорил:

— Прево-осходно! Экая у меня в заведении прелесть! В Урванове никогда этого не услышишь...

Затем, более уже рассудочно и без всякой благодарности в тоне он продолжал:

— Чудак Капитоныч: вздумал протоколом стращать! Да тогда нашему брату, если протоколы заведутся, житья не будет, — всех гостей отвадим. А мужичкам с ребятами куда деваться? Где они от скуки или с устатка развлечение найдут, в хорошей компании разговорами антиреспектными займутся? Ведь, это тоже нельзя бы оставлять без внимания, надо бы в соображение принять... Нонче, ведь, и мужичок тоже чувствует... Надо полагать, сейчас ребята вина или пива потребуют: люди они совестьливые, постыдятся опивать одного Дубкова. Притом и крепки же они, — дай бог им доброго здоровья! — пить много могут. А хорошо поют!... Кажется, стучат? Сию минуту, господа! Чего прикажете?

— Полдюжины пива!

— Сию минуту! Самого лучшего подадим, вчера только из Москвы получили.

## VII

Случай в сафроновском трактире поднял авторитет Стени на недостижимую высоту: урядника самого победил! Теперь копнинский староста при встрече с Дубковым первый хватался за шапку и кланялся, говоря: «Степану Васильевичу, доброго здоровья!» Мало того, Клима Федо-

сейч просто боялся парня: почему-то всякий раз Стеня напоминал ему о проделке домового...

Подкатила зима, и Стеня показал свой талант с новой стороны.

Кто на Руси не знает, какое мучение ездить зимою по нашим дорогам? При встрече не разъедешься, постоянные остановки, свертывание и сидение в глубоких сугробах, жестокая брань и калечение измученных лошадей, вязнувших по брюхо, иногда по шею, в снегу, вывертывание оглоблей и прочее и прочее. Из года в год повторяется одно и то же, сотни лет ездят по одному и тому же проложенному пути, терпят всевозможного рода мучения, проклинают дороги и даже час своего рождения, но никто не подумает, как избавиться от всех этих страданий. Стеня первый напал на счастливую мысль и произвел в своем околке дорожную реформу. Только заперошило в воздухе, полетели сверху на землю легкие снежинки, он кликнул ребятам, собрал молодежь и объявил:

— Слушайте, братцы, что я удумал. Зима идет, через день или два мы на санях выедем: кто за дровами, кто в село, кто... Ну, кому куда понадобится. Так вот от меня будет такой закон: дорогу прокладывать не в одни сани, а в двои... Поняли?

— Догадываемся... Вали дальше!

— Сейчас это я вам растолкую. Выехали мы из деревни. Едем не друг за дружкой, а попарно, рядом: я примерно, с Петром, а ты с Михайлом. Промежуток между санями хоть аршина два. Так мы едем в лес, или в село, так едем и обратно домой. Когда дорогу наездим, учредим новый порядок: из домов ездить правой стороной и возвращаться назад тоже правою — от деревни ежели глядеть левая будет... Каждый станет держаться одного обряда, и тогда никому не придется сидеть в сугробах и заколачивать лошадей.

— А, ведь, это ты ловко измыслил! — раздались голоса. — Молодец, Стеня!

— Но, а ежели кто по незнанию, просто из упрямства или не захочет, поедет по одному пути и встретится с другим, тогда как же им разъехаться-то? — потребовали разъяснения.

— Один свернет, увидит, что рядом другой путь проложен, — и свободно разъедутся. Да неужели крестьяне не догадаются, для чего две дороги рядом проложены?

Все согласились, что должны догадаться.

— Так принимаете, братцы, мой закон? — спросил Дубков.

— Принимаем!.. Утрем носы старикам!

И действительно, когда новый закон получил применение, мужики увидели и поняли, то хлопнули себя по шапкам и воскликнули:

— Вот так штука! Отчего же это нам никому в голову не пришло, а вот ребята, молокососы, придумали?...

— Следовало бы воспрепятствовать, — подал голос один старик, — и затея ихние нарушить. Яйца курицу не учат, а дети родителям не указ. Добра уж тут не жди, коли парнишки старину пошибают.

Но голос старика остался единичным: деревня поголовно приняла нововведение, убедившись на опыте, что оно полезно.

С началом зимы по деревням пошли храмовые праздники: где престол «введения», где «Егорья», где «Николы» и т. д. Копнинские гостили на всех праздниках. Стеню таскали из одного селения в другое, везде он находил радушный прием и обильное угощение, служил предметом общего любопытства, похвал и удивления. Ни в одном побоище он участия не принимал, держался в стороне как почетный гость и судья. Но такова судьба выдающегося общественного деятеля: у него не мало было завистников, поносителей его доброго и славного имени, и злобных врагов, которые искали случая осрамить Дубкова... Крутогорские молодцы даже составили против него заговор. Стеня встретился с ними на посиделках, в Максимовке. Главарем заговора явился парень, когда-то получивший от Стени леща... Надо полагать, лещ оказался костист и парень не мог его переварить. Стеня пробыл с час, поиграл с девушками и повеселился, а потом задумал отправиться на беседку в деревню Ивашкино. Крутогорские ребята, лебезившие перед Дубковым, тоже поднялись.

— Стеня, мы тебя подвезем, — сказал главарь: — нам туда же путь.

— Подвезите, коли есть усердие.

У крутогорских ребят стояли на улице широкие пошевни, заложенные парюю. Уселись. Двое поместились в повозку, Стеня между ними, а двое на облучке. Ребята, надо сказать, были не из плохих, здоровьем и силою бог не обидел их. Отъехав с версту, один из сидевших на облуч-

ке, сам главарь, оборотился и, ни слова не говоря, навалился на Стеню.

— Попался, копнинский чорт! — закричал парень. — Ребята, принимайтесь за него, колотите!

— Как, измена?!!

Стеня двинул локтями в стороны, так неосторожно задел по носам боковым, что те не взвидели белого света и запрокинулись назад головами, при чем с них попадали шапки; грудью подался богатырь вперед, ухватив правую руку главаря за волосы, и принагнул к нахлестке, а левою перекувырнул его из саней вверх ногами и прямо в снег; вскочил, ударом кулака сшиб сидевшего на облучке; затем, повернувшись, схватил одного за кушак, потряс и далеко кинул в сторону, а другой, не дожидаясь своей участи, заблагорассудил сам выкатиться. Расправившись окончательно, Стеня повернул лошадей и помчался обратно в Максимовку.

— Что, паршивцы, будете помнить Дубкова! — послал Стеня врагам, барахтавшимся в снегу. — Не так бы еще вас следовало за измену и подлость.

Вернувшись в деревню, остановился у поседок, привязал к верее коренника и вошел в избу.

— Степан Васильевич! — обрадовались девки. — Что больного скоро из Ивашкина?

— А вот узнаете, — ответил Стеня. — Подойдут крутогорские, так скажите им, что лошадей я у ворот поставил.

Сказал и ушел.

Благополучно и в добром здравьи копнинцы справили свой праздник «Николы», неделю пили и веселились.

По миновании храмового праздника Стеня немедленно приступил к судебной реформе, именно к коренному изменению уложения о наказаниях уголовных и исправительных.

Идея об этой реформе больше года засела в его голову, но процесс развития и созревания ее совершался очень медленно. Еще с первых шагов своей юридической деятельности Дубков, человек ума обширного и проницательного, сознавал все несовершенства системы, видел, что в самой основе ее кроется дух противоречия и что-то неладное. Судебная практика ему показала, что закон его принес несомненную пользу: в Копнине драки и увечья прекратились, во многих ближних селениях уменьшились

и ослабели, а «срывы» повсеместно уничтожились. Но та же практика и наблюдения говорили, что лещ, хотя самый законный лещ, едва ли в корне истребит зло и обеспечит процветание добрых нравов, а насчет благодарности или благородства чувств и думать уж нечего... «В самом деле, — размышлял Дубков: — искореняю я драки, побоища и всякие дурные дела, а сам раздаю лещи!.. Нескладно выходит»... Справедливо, число недовольных, получивших от Стени внушение, не уменьшилось, а факт гнусного нападения крутогорских парней открыл, что лещи, вместо исправления, вызывают злобу и «отмазку»... Это вдруг осенило Стеню, дало сильный толчок мыслительному аппарату деревенского законодателя, идея разом и окончательно созрела, вылившись в строго определенную форму.

«Надо отменить», решил он и, не терпя никакой проволочки, собрал копнинских ребят.

— Какого вы, господа, мнения насчет лещей? — прямо ребром поставил вопрос Дубков.

Неожиданность такого вопроса ошеломила собрание: к нему никто не был подготовлен.

— Вот что я удумал, — начал судья: — вы теперь уж не маленькие, почитай что все женихи и многие из вас надельную душу от мира приняли. Так учить вас лещами словно бы не приходится... Закон этот я ниспровергаю!

— Ну?!!

— Верно. Хотя лещ, повидимому, плевое дело, а все же, на поверку так выходит, он не красит человека...

Собрание встрепелось, ребята заговорили.

— Какая уж краса!.. Вон, девки с бабами смеются, говорят: «ты, Иван», или «ты, Кузьма, сегодня от Стени-то получил? Важно ли?» Как-то ровно бы и совестно...

— Мы и то хотели об этом с тобою поговорить, а ты предупредил...

— Теперь будет новый закон, — объявил Дубков: — на кого словесное внушение не подействует, того мы на неделю или больше, по вине глядя, отрешаем от своей компании.

— Хорошо. А как с чужими?

— Наложу запрет: столько-то времени не ходить в нашу деревню. А ежели не послушаются, станем изгонять: возьмем ослушника под руки и проводим до околицы.



— Чудесно! — пришел в восхищение Семен Прибытков. — Ай, Стеня! Герой.

Но Миша Ковригин, парень с критическим умом, пожелал разъяснения.

— Все это так, Стеня, ты правильно закон постановляешь, — начал он. — А как ты распорядишься, если фабричные целой оравой или чужие ребята всей деревней придут и станут безобразничать?

— Станем унимать, стыдить.

— А если они не уймутся?

— Тогда изгоним.

— А они полезут в драку?

В драку?.. Тогда другой закон... Дадим отпор.

— Значит, с врагами попрежнему станем воевать?

— Воевать!

Реформа была принята единогласно и, что очень редко замечается среди крестьян, с выражением шумного восторга.

Реформатор, однако, не почил на лаврах, и его ум требовал деятельности. Постоянные наблюдения над жизнью и вдумчивое отношение к ее явлениям будили его мысль и наводили на вопросы первой важности. Так, он думал, мужики и ребята, пока трезвы, ведут себя как следует, по-хорошему, а как только дорвались до вина, и на людей не похожи, зверями делаются. Проспятся, — мучатся, и совестно им взглянуть на добрых людей. «Выпить трудовому человеку иногда не мешает, но чтобы так-то... никуда уж не годится»... Отчего же люди позабывают себя? По своим товарищам и лично по себе он знал, что никто из них не пьяница, а все пьют... «Какая же тому причина?» — Стеня долго ломал голову, не находя разрешения этого мудреного вопроса. Он думал: народ они молодой, жизнь в них бьет ключом, душа чего-то просит, хочется развернуться и показать мощь свою молодую... Но для души пищи нет, ум без дела... И молодежь идет в трактир, в кабаки. А большаки и старики пьют уже потому, что с молодых лет впились и нажили привычку, а от привычки не легко отделаться. «А как ребятам не пить, куда им свою молодость девать, чем они себя займут?.. Вот если б книжки были!.. Между нами, молодыми ребятами, есть и поученые и умом достаточные, в свободный час когда или в праздник занялись бы, с удовольствием почитали и узнали из книжки, что

хорошее и полезное... Много ли я чего прочитал, когда был мальчонком и подростком, а из книжек кое-что узнал, и понятие у меня стало другое; а после, когда перестал читать, опустил себя и вино начал пить... Эх, если бы Григорий Николаевич был жив! Как он, сердечный, заботился, старался, чтобы мы читали... Вот Белову хорошо: книжек в Москве он не перечитает, в театры ходит, на чтениях разных бывает... А в деревне ничего, ведь, нет; не знаешь, что и на белом свете делается... Если б где достать занятных книжек! Ребята станут читать, они не раз говорили, что хорошо бы книжечку почитать. Непременно надо достать книжек, а то сопьемся и озвереем, ни за что пропадут наши молодые головушки!»

Мысль эта всецело завладела Стеней, дни и ночи он думал, изыскивая средства и, наконец, решился написать Белову... Но тут в его жизни произошло событие, которое на время выбило парня из колен и отвлекло от общественной деятельности.

### VIII

Стене исполнилось двадцать один год, но он был чист, как голубь, и непорочен, как младенец. У всех сверстников его имелись зазнобушки, все они «страдавали» вечером под навесами ворот; один Стеня был чужд сердечных увлечений и оставался беззаботным на этот счет. Не одна девица заглядывалась на парня, желала перемолвиться с ним словом тайным, приласкать и приголубить его буйную головушку, но Стеня ничего не знал о девичьих помышлениях и не давал себе труда подумать, почему румяная, точно маков цвет, Агафья поцеловала его в игре необычайно крепко и горячо. Когда из товарищей кто намекал ему на любовь или на девиц соседних деревень, работавших на фабриках, и приглашал куда-нибудь к совместному путешествию через забор, Стеня только отмахивался и говорил: «Охота вам путаться! Поиграть с девушками да песенки попеть — это я люблю, а на что другое меня не зовите». Но всему свой черед, и от судьбы своей человек никуда не убежит.

На рождественских праздниках Дубков в первый раз попал в деревню Высоково, куда его давно уже приглашал один высококовский парень Никита Брусков. Крестья-

не Высокова слыли за богатеев: помимо хлебопашества, они промышляли развозкою по России кос и серпов, торговля которыми давала им хорошие барыши. Стройка в Высокове была отличная, дома из крупного леса и каменные, двухэтажные и с мезонинами, украшенными резными подзорами и створчатыми фигурными ставнями. В деревне была школа для мальчиков и девочек. Высоково славилось щедростью жителей, красивыми девицами и выездными лошадьми.

Никита Памфилович, широколицый и белокурый парень, довольный посещением копнинцев, особенно Степана Васильевича, познакомил их с высококовскими ребятами и сделал приличное угощение, а вечером повел гостей на самую лучшую беседку (в Высокове их было три).

Девичья беседка помещалась в просторной и высокой комнате нового дома, освещенной с потолка большою керосиною лампою. Вдоль чистых стен стояли лавки и стулья; прялки и шитье по случаю святок были убраны. Девушки в шерстяных и ситцевых платьях, простоволосые или покрытые шелковыми цветными платочками, разбившись на кучки, вели не громкие, но оживленные разговоры; некоторые гадали на картах. Молодые красивые лица цвели здоровьем, глаза смотрели прямо и смело.

Рядом, в соседней комнате, служившей прихожей, слышались мужские голоса: пришли на беседку парни. Высоковские проворно сбросили шубы.

— А нам раздеваться ли? — вполголоса спросил Дубков.

— У нас в тулупах и пальтах не полагается, — ответил Никита Памфилович, вешая на крючок свою барашковую шубу.

Все разделись, оправились и пригладили волосы. Многие из высококовских были в пиджаках и брюках, а модники — при часах с бронзовыми и серебряными цепочками; остальные парни, так же как и копнинские, были в цветных сатиновых и шерстяных рубашках, подпоясанные ремнями или шелковыми шнурами, и в черных суконных штанах, вправленных за светлые голенища кожаных сапог. Войдя в большую светлую комнату, парни сперва помолились иконам, потом поздоровались с девицами.

— Просим милости! — встретила гостей беседа. — Садитесь, молодцы!

Девушки начали перешептываться.

— Который, который, Стеня-то?

Дубков стал позади своих товарищей, придерживаясь дверного косяка, и чего-то конфузился; но его рост и могучая фигура не укрылись от любопытных взглядов беседниц.

— Должно быть, вон этот, — продолжали шептаться. — Он, непременно он!

Парни начали подсаживаться к девицам: высококовские первыми, а за ними и кошнинские: Петр, внук старосты, Семен Прибытков, Миша Ковригин и Вася Колычев. Юдин Стеня замешкался и стоял в двери, — он действительно стеснялся в незнакомом и таком щегольском собрании; желая скрыть свою неловкость, парень двинулся в задний конец комнаты, показал себя во всей своей красе и поместился особняком на лавке.

— Какой он большой! — не прекращался шопот в переднем углу. — Я боюсь его, — и раздавался тихий, веселый смех.

Виновницей этого смеха оказалась семнадцатилетняя девица с светлорусою головкой, тонкими правильными чертами лица и нежным румянцем на щеках.

Запели ходовую песню. По обычаю, сперва вызывались «свои», высококовские парни: каждый выступал на средину комнаты, выбирал любую девушку, ходил с нею вместе под песню и, когда песня оканчивалась, целовал ее.

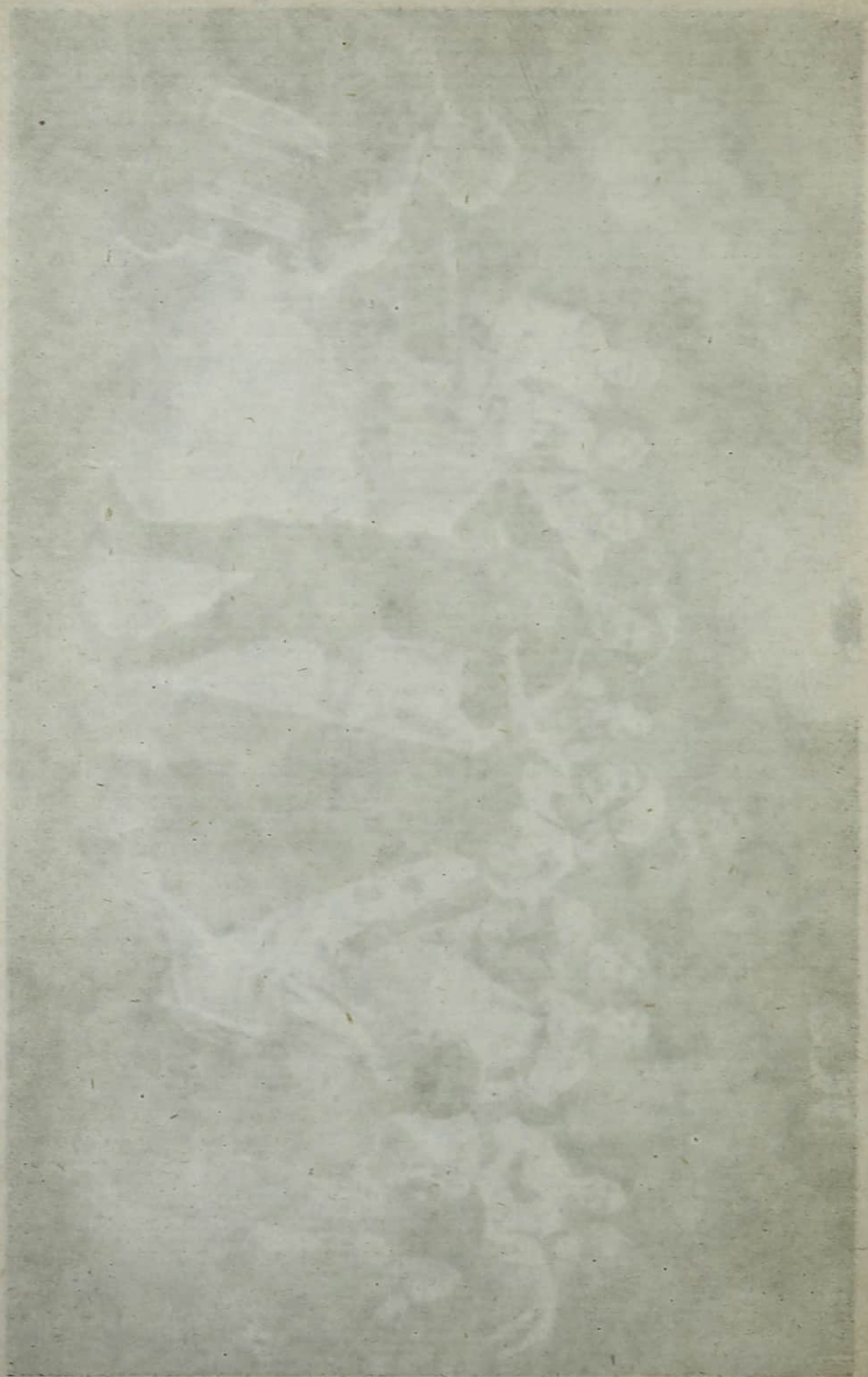
— А Стеня-то сердитый, — не унималась юная девица, сообщая свои наблюдения подруге. — Сидит и ни на кого не взглянет... Ну, как он меня выберет?! Я лучше теперь же от него спрячусь.

С этой целью она поспешила оставить свое место и пересесть на другое, но второпях, что ли, или по рассеянности очутилась гораздо ближе к предмету своего страха: если бы Дубков взглянул налево, то увидел бы красивое лицо, с голубыми глазами и веселою, немного лукавою улыбкою на пунцовых губках. Но он сидел, глядя в пол, придерживая рукою на коленях «итальянку», и слушал песни. А боязливая девица, пользуясь таким благоприятным для себя случаем, постаралась исправить свою ошибку и, незаметно для Стени, переменяла место на более выгодное и безопасное.

«Свои» парни успели «отходить», дошла очередь до гостей.

Предпочтение было отдано первому Дубкову:





Мимо сада,  
Мимо сада,  
Мимо зеленого  
Тут и шел,  
Прошел молодчик,  
Удалой молодец!  
Удалой молодец,  
Что Степан-от,  
Свет Васильевич!..

Стеня поднял голову и встретил голубые глаза: боязливая девица сидела на противоположной стороне, как раз насупротив его. «Какая тонколиченькая!» — промелькнуло в голове Стени. Он быстро встал и пошел на середину комнаты. С девичьими и мужскими голосами запела и его гармония.

Не прошедши зелен сад,  
Останавливался;  
Останавливался,  
С красной девицей  
Раскланивался.

Шаги Степана Васильевича позамедлились, богатырь в какой-то нерешительности остановился перед девушкой с голубыми глазами и неловко отвесил поклон. А песня разливалась упреками доброго молодца:

Что же ты, моя милая,  
Долго в саде не была?  
Долго в саде не была,  
Со мной не кланялася?

С легкостью поднялась девушка, начала перед молодцем оправдываться. Много раз была она в саде, подолгу ждала любезного и глядела, не увидит ли где его: появляясь у сада милый, но не узнавал девицу и проходил всякий раз мимо. А потому он не узнавал девицу, что любовь и печаль так изменили лицо ее... Когда Стеня наклонился, чтобы «проститься» с девушкой, он близко увидел лицо ее и почувствовал поцелуй свежих теплых губ красавицы. Сердце в нем захолонуло, и комната с парнями и девицами словно туманом подернулась.

«Что за диво!» — думал он, усевшись опять на лавку, и следил за «тонколиченькой» высокою и стройною девушкой: ее постоянно выжирали в играх, и ему не удавалось с нею перемолвиться словом, да если б и удалось, то вряд

ли, при всем своем желании, сказал бы что-нибудь путное... «Вот диво-то!» — повторял он про себя, и в его больших глазах, серых и хороших, светилось что-то новое. Он казался несколько бледным, взволнованным, играл на «итальянке» и пел... Красавица время от времени посматривала на Стеню и прислушивалась: в его игре и голосе пело молодое сильное чувство, внезапно пробужденное и изливавшееся из самой глубины души.

Вечер продолжался весело, с большим оживлением. Копнинские ребята, как говорится, разошлись и показали себя молодцами.

— Степан Васильевич!

Как это случилось, Степан Васильевич не заметил, но когда обернулся на приятный голос, то немного поотодвинулся: почти рядом с ним сидела «тонколиченькая». Стеня и просиял, и смутился.

— Полюбилось ли вам у нас на беседке? — обратилась к нему с таким вопросом девушка.

Овладев собою, Дубков поспешно ответил:

— У вас хорошо!.. Что и говорить, беседка такая ... — и призамок.

— Опять-то к нам придете?

— Не знаю... Может, надумаю.

— Приходите.

Стеню это слово так обрадовало, что он сам отважился предложить вопрос:

— Как вас по имени звать? — спросил он.

А вы разве не знаете? Натальею.

— Хорошо имечко. А по отчеству-то как величать?

— Отца величают Дмитрием Андреевичем, а меня просто Натальею... Родители и подруги зовут меня еще Наташею.

Девушка посматривала на Стеню и все лицо ее смеялось.

— Вы, говорят, судьбою в Копнине, и вас парни ужась как боятся? — начала Наташа. — Я тоже, как вы давеча вошли, очень испугалась!

Дубков покраснел.

— Теперь я уж не боюсь, — поправились соседка. — По началу только, когда вы сидели насупившись, вид у вас был серди-и-итый!

Волнение Стени увеличилось, и он не в состоянии был вымолвить слова.



— А вот как я увидела ваши глаза, так страх у меня сейчас и пропал: «нет, подумала, он не злой... не прибьет меня»...

Стеня быстро повернулся, увидал смеющееся лицо и выпалил куда-то в сторону:

— Ах, какая она веселая! -

«Веселая» не унималась:

— Понравилось еще мне, как вы на гармонии играли.

— Ну, что! — выговорил Стеня. — Ковригин лучше моего играет.

— Не знаю. А когда я послушала, как вы пели, то сказала себе: «да, ведь, Стеня-то добрый!»

Парня словно что охватило и подняло.

— Неужто, неужто, так и сказала?..

Так и сказала.

Наташу крикнули подруги.

В конце вечера девицы подали ребятам блинов и напоили их чаем. Парни, в свою очередь, положили на поднос деньги: таков уж деревенский обычай. Затем стали прощаться.

Ночь была светлая, месячная. Беседницы вышли провожать гостей на улицу.

— Ходите к нам, — говорили девушки, прощаясь окончательно с гостями. — Мы всегда хорошим гостям рады.

Расстались.

— Прощай, Стеня! — прозвенел знакомый девичий голосок. — Приходи же опять-то!

Дубков обернулся.

На улице, вся облитая лунным светом, стояла Наташа и кивала головою. Парень громко, радостно ответил:

— Приду, веселая!

Высоковские ребята проводили копнинских до околицы; здесь они приостановились.

— Прощай, Никита Памфилович! Спасибо тебе за угощение и беседку, — говорил Дубков, несколько раз потрясывая руку приятеля. — Больно уж у вас хорошо!

— Вперед к нам жалуйте, — звал Никита.

— Нет, вы теперь к нам!.. Мы у вас были, очередь за вами. Пожалуйте.

— Не зайти ли нам в одно местечко, — предложил кто-то из высококовских: — может, чего-нибудь выкушали бы?

— Довольны. Спасибо. Приходите к нам.

Дубков завернулся в тулуп, закрыл щеки воротником и зашагал.

— Напрасно ты, Стеня, отказался,—пожалел Прибытков. — Ночь свежая, мороз: важно бы на дорожку стаканчик-другой протащить!

— После хлеба-соли мякиной не закусывают, — сурово ответил Дубков.

Он шагал и думал о Наташе.

«Какая славная девушка!.. Тонколиченькая, веселая и, должно умная».

Петр говорил:

— Мне больше всех нравилась Глаша: здоровая, грудь высокая.

— Ты все про одно думаешь, — заметил Ковригин, — не оставляешь своей повадки.

— Ну, а я, — начал робко Вася Кольчев, — весь вечер любовался Натальей Дмитриевной: румянчик у нее нежный, речь такая приятная, и сама тоненькая, легонькая, ходит, точно на крылышках летает.

«Вишь, ты, Васе она полюбилась, а он паренек хороший, не испорченный, — думает Стеня. — Ах, что за девушка!»

— А по мне, братцы, — промолвил Сеня Прибытков, — все девки равны: что здешние, что наши. Одеваются вот только высококовские не в пример наряднее и ведут себя по-модному, говорят на вы..

Весь мясоед Дубков не пропускал почти ни одного воскресенья, чтобы не побывать на Высокове. На масленице ездил туда в новых санках, на рысаке и катал девиц, но чаще других видели его с Наташей. Красивая девушка с голубыми глазами и веселым смехом положительно заполонила сердце и ум копнинского богатыря.

## IX

Миновал великий пост, подошла и святая пасха.

Теплом и лаской повеяло в чистом воздухе. Прилетели пращи, на обтаялых ветвях деревьев и скворешниц весело защебетали скворцы, на проталинах показались кулики и цапли. Вскрылись и прошли реки, прогремел где-то вдали первый гром и пролился на землю теплый дождик; из светлого поднебесья посыпались на землю радостные песни жаворонка, а с реки, озер и болот доносились крики журавлей, диких уток и всякой налетевшей с юга птицы.

На полях уже пашут крестьяне, по пастбищам разбрелась скотина. Зазеленелись озими и на лугах проступила молодая травка; треснули почки и деревья быстро начали одеваться свежелою пушистою листвою; зацвела черемуха и бледнорозовым цветом покрылись яблони. Все кругом обновилось, ожило и затрепетало полною, могучею жизнью. По воскресеньям в деревнях идут гульбища, на лугах пестреют хороводы и разливаются веселые песни.

С Дубковым что-то творилось. От масленицы до пасхи показалось ему чуть не за век: великий пост он ни разу не побывал в Высокове. Стеня не знал, что с собою делать и куда девать время. В будни он работал в кузнице и плавильной или валил в лесу деревья и вывозил бревна на отцовскую усадьбу; но в воскресные дни свободного времени много оставалось! «Хоть бы книжку где добыть и почитать! — думал парень. — Эх, Григорий-то Николаевич!..» Стеня доставал старые учебники и наградную книжку, хранившиеся у него в шкафчике, садился где-нибудь в угол и принимался за чтение. Но учебники и наградная книжка не занимали его ума, — все это он давно знал и не забыл. Пробовал обдумывать законопроект, — куда! — мысль точно заколодило и ничем ее не сдвинешь... «Вот диво-то!» И везде, дома, в лесу и в кузнице перед глазами его представляется милое лицо девушки с голубыми глазами, чудится ее веселый смех. Он начал сторониться товарищей, дома молчал и искал уединения: заляжет на кровать и лежит молча по целым часам. Домашние приметили.

— Что это у нас с парнем-то, — недоумевала Акулина Захаровна.

— Время нам женить его, — разрешал большак. — Если осенью не уйдет на службу, так станем невесту искать, а там честным пирком да и за свадебку.

— Чего нам искать, — сказала Акулина Захаровна: — сам, поди, наметил уж себе невесту.

— Тем лучше, нам без лишних хлопот. Только бы хорошего дома девушку и работницу.

Не зная, как выйти из своего нового положения, Стеня решил просить совета у Белова. Неделю промучился он за сочинением письма, слова одно с другим не вязались, и мысли, сколько он ни трудился, ни потел, не повиновались автору и на бумагу не выкладывались. Выбившись, наконец, из сил, хотел обратиться за помощью к Мише Кев-

ригину, но устыдился самого себя; в отчаянии схватил новый лист и в один присест «написал», и отправил письмо в Москву.

Школьный товарищ скоро отозвался. Он советовал приятелю не падать духом и читать, обещая при первом случае выслать книжек, а если чтение не прогонит «хандры», то, не теряя времени, повидаться с девушкою и поговорить с нею. «Объяснись и будешь, по крайней мере, знать: надеяться ли тебе, или же отложить всякое попечение». В заключение Белов писал, что осенью побывает сам на родине: придет к призыву. Несколько раз перечел Стеня письмо Белова, подолгу останавливался над словом «объяснись» и ломал себе голову.

«Легко написать «объяснись». А как ты к делу-то приступишь, с чего речь поведешь?.. Да я не сумею, какие тут и слова подыскать. Ляпнешь, а она как засмеется?!.. Правда, девушка привечала меня, словами хорошими со мною занималась... Ну, а что у нее на душе?.. Да неизвестно, останусь ли я еще дома. Хоть брат не отслужился, а меня к жеребьевке позовут: может, уйду в солдаты?.. Нет, видно, из головы это надо выкинуть и совсем не думать».

Но выкинуть «это» из головы и совсем не думать он не мог. А тут весна со своими призывами и чарами: воздух, лес, река и земля поют про любовь, кругом все наполнено и дышит любовью. Чувство любви властно охватывает все существо Стени, на сердце у него сладко и вместе грустно, к горлу подступают рыдания.

Но судьба ему улыбнулась. На Фоминой неделе в Копнино зашла нищенка и подала ему письмо.

— Из Высокова, — сказала она: — от парня, сына Памфила Антоныча.

Прочитавши письмо, Дубков сперва ничего не понял; потом, перечитавши снова и вдумавшись, подпрыгнул к самому потолку и чуть не закричал. Содержание письма было немногословно, но ополоуметь от него мог всякий на месте Стени.

«Что же это вы, Степан Васильевич, позабыли совсем Высоково? Кажется, у вас в нашей деревне есть приятели, которые вас помнят. Но, и кроме них, найдутся другие, которые будут рады вас видеть, потому что давно и очень по вас скучают...»

Приходи. Стеня!

Н...»

В первое же воскресенье, нарядившись как нельзя лучше, Степан Васильевич махнул в Высоково. Он направился прямо в дом Никиты Памфиловича.

— Вот это хорошо, что ты к нам пришел, Степан Васильевич, — встретил Никита Памфилович, улыбаясь во всю ширину своего круглого лица. — Мы тебя сколько раз вспоминали.

После обеда молодежь высыпала на угор. Среди красивых и нарядно одетых девушек Наташа как-то особенно выделялась: высокая, стройная, со свежим румянцем на щеках, алою лентой в густой косе и в голубом шерстяном платье, она показалась Стене в тысячу раз милее и красивее, чем прежде.

Девушка поздоровалась с ним так приветливо и хорошо, что сердце у Стени взыграло, и он без всякого стеснения осведомился о ее здоровье.

«Теперь дело само пойдет», ободрял себя он мысленно: — улучу минуту и скажу ей... «объяснись!» — вспомнил он выражение из письма Белова.

Началась игра в горелки. Стене пришлось ловить двух девиц, одну в голубом платье, а другую — в розовом. Он ударился за первой и поймал ее.

— Вы получили мое письмецо? — спросила, потупляясь, девушка, и лицо ее залило горячим румянцем.

— Так это точно от вас? — вымолвил Стеня. — Я так и думал... Сама писала?

— Я умею писать.

— Красивый почерк, — похвалил парень. — А главное — искусно сочинено.

Умнее сказать ничего Стеня не нашелся.

Завели хоровод. Дубкову с Наташею не раз приходилось стоять в одной паре; Стеня все собирался сказать ей что-то «по-тайности», но говорил о красивом местоположении Высокова, о своей деревне и Белове, то есть говорил совершенную чепуху. А девушка, видимо, ждала от него других разговоров, иных слов; она не смеялась, как всегда; лицо ее дышало радостью, а голубые глаза, изредка поднимаемые на Стеню, словно о чем его спрашивали, и приятный грудной голос ее переливчато разливался в хороводной песне. Как Стеня ни был озабочен своими думами, но от его наблюдательного взора, изощренной судебною практикою отгадывать по выражению лица сокровенные движения человеческой души, не могло усколь-

знуть в Наташе то нечто новое, исполненное кроткой прелестью и невыразимого очарования... «Скажу!» — решил парень.

Между тем весенний день, сияющий и радостный, незаметно куда-то улетал, и солнце, как будто любопытствуя, заглядывало теперь прямо в лица молодежи, а Стеня все еще не улучил минуты, чтобы поведать девушке свою «заботу». «Как тут скажешь?.. Кругом народ... Пожалуй, еще услышат», — успокаивал он себя, а сердце ныло и в груди что-то сдавливало. «А, ведь, не увидишь, как и расходиться начнут». В последний раз к небу поднялась песня, раскатилась широко по окрестности и тихо замерла в предвечернем воздухе. Хоровод окончился, и круг смешался... «Батюшки! что же я теперь буду делать?»

— Степан Васильевич, мы домой уходим!

— Уходите!.. Как же это..: А мне надо бы два слова... Да нельзя ли где тут поговорить?

Волнение, растерянность и голос Стени вырвали у девушки:

— Ужо, позднее... за нашим садом, — прерывисто и чуть слышно проговорила она. — Я выйду.

Прекрасная майская ночь. Ярко горят и трепетно блещут вверху звезды; вечерняя заря долго не гаснет и золотистым пурпуром разливается на далеком западе; таинственный полусумрак на полях, деревьях и вокруг... Деревня спит... В кустах, над речкою, громко поют соловьи.

За плетнем сада Дмитрия Андреева, там, где растет семья лип, широко раскинув свои ветви, только что одевшиеся молодыми листьями, стоят парень и девушка. Переговорили они все, о чем хотели, или заслушались соловьев — неизвестно; но оба хранили молчание... Девушка вздохнула.

— Так я пойду, Степан Васильевич, — сказала она и грустно посмотрела на парня.

— Подожди! — остановил Стеня. — Я, ведь, еще не сказал, — голос его оборвался.

— Говори.

— Ах, напасть какая!.. Вот на языке слово-то, а не выговоришь...:

— Да говори! Мы одни, никто не услышит.

— Ну, что будет! — махнул рукой парень. — Господи, благослови... Ежели я не уйду на службу, так вы... нет, ты не пожелаешь ли... Так ли я говорю-то? Верно!.. Не

пожелаешь ли ты, Наталья Дмитриевна, за меня... замуж? — закончил Стеня с каким-то испугом. — Ну, что?.. Ты утрашилась?

Девушка подняла на него голубые глаза. Лицо Стени было мертвенно бледно.

— Пойду, — ответила она.

— Пойдешь? Правда?

— Только года полтора тебе придется подождать: меня раньше не выдадут, пока со службы братец не воротится... Станешь ли ты меня ждать?

— Стану, стану!.. А если меня возьмут в солдаты, так ты... ты?

— Я дождусь.

— Наташа! — и Стеня, в порыве восторга и счастья, схватил девушку на руки и поднял ее на воздух. — Родная, желанная!

— Что ты? — тревожно, смеясь и как-будто плача, вскрикнула Наташа. — Опустит.

Стеня опомнился, бережно опустил девушку и смутился.

— Что, видно, я неладно так-то сделал?

Наташа молчала.

— Так и есть, огорчил я девушку! — хлопнул себя руками парень.

Не поднимая головы, прикрытой легоньким шелковым платочком, Наташа тихо заговорила:

— Скажи... ты ничего дурного не подумал, когда я тебе сказала, что выйду сюда?

— Я? Подумал?.. Господь с тобою!

Девушка взяла его за руку.

— Так слушай, — начала: — теперь я тебе все открою... С первого взгляда ты мне понравился... Помнишь, на святках-то приходил?

— Еще бы! С того самого вечера я и рехнулся.

Наташа улыбнулась.

— Я давно, ведь, о тебе слышала, и мне очень хотелось взглянуть на тебя, — продолжала девушка. — Вот ты пришел... Я сразу отгадала, который ты. Все товарищи сели к девушкам и стали разговорами с ними заниматься, а ты в стороне от всех сел, и сидишь, такой-то большой, один, словно обойденный или сиротинка... Меня так и потянуло к тебе, захотелось посмотреть, какое у тебя лицо, глаза... Смеялась, я не знаю сама чему, а когда ты взглянул, так мне вдруг так жалко тебя стало, так жалко.

— Неужто?.. Ах, родная... Вот диво-то!

Наташа продолжала рассказывать про тайны души своей, Стеня слушал, радовался, прерывал и опять радовался.

— И какой же ты, Стеня, недогадливый, — говорила Наташа, и в голосе ее звучал веселый смех: — получил мое письмо, пришел и молчит. Заметил, поди, что девушке стыдно, а он хоть бы словом одним заикнулся?.. Ведь экий ты, — и Наташа легонько ударила его по плечу и засмеялась.

Стеня так весь и всполыхнул.

— Целый день на уме держал, но духу нехватало сказать.

— Ну, я и решилась уж, превозмогла себя, указала, где нам переговорить... Скажи, ты не осуждаешь меня за это?

— Осуждаю? А вот как я, — и Стеня, не прибавив слова, низко, низко поклонился девушке.

А над речкою, в кустах, так хорошо и сладко заливались соловьи. Что за раскаты, что за роскошь!

— Добрый, хороший ты, Стеня, — говорила Наташа, не выпуская могучей руки парня из своей. — За это я и полюбила тебя.

— Ах, господи! Да я совсем ополоумео.

— Слышишь, как соловьи хорошо поют?.. Про любовь, ведь, они поют, Стеня!

— Люба ты моя, жизнь!

## X

Прошла весна, миновала пора деревенских хороводов и гульбищ. Наступило лето с его спешными работами и страдою. В праздничные дни молодежь и соберется где на лугу, и поведут круги, и попоют; но уже не так, как весною или во время храмовых праздников; хождение по чужим деревням прекращается до глубокой осени или начала зимы, когда начнутся снова посиделки и «престолы».

Степан Васильевич вопреки своему обыкновению вел очень деятельную переписку с Беловым: в течение короткого лета он отправил два письма в Москву и сам получил четыре. Все время ломил на работе, был весел; изредка — и то не надолго, — словно облачко в ясный день набегала легкая тень на его высокий лоб.



— Что, Стеня, о чем думаешь? — спрашивали товарищи. — Поди, новый закон изготавляешь?

— Нет. Так, об одном частном деле...

Дубков, это всем известно, состоял с товарищами в добрых отношениях, был с ними хорош и искренен; но, это тоже всем известно, о своих законопроектах не говорил, пока мысль окончательно не созреет и новый закон не будет преподнесен, как облупленное яичко. Одному Ковригину иногда он кое-что сообщал.

— Думаю, я Миша, — посвящал приятеля в свои планы Дубков, — как бы нам от вина отстать и поумнее сделаться?

— Ну, что же, придумал ли?

— Придумал. Только до осени никому не заикнусь... Вот, на-ка, почитай, что мне об этом Белов пишет, — и Стеня вынул из кармана письмо и подал его Ковригину.

Серьезный парень внимательно прочел, и карие глаза его засветились.

— Хорошо, Стеня! Давно бы нам пора за ум взяться.

— Ребята согласны ли будут? — спросил Дубков.

— Полагаю, согласятся... Но как устроить дело?

— Белов приедет и все нам растолкует.

За полевыми работами и уборкою хлебов никто не видал, как пронеслось красное лето, и на двор заглянула осень. Бог послал урожай и деревенские люди веселы, довольны.

С двадцатых чисел сентября, а где и раньше, по нашим селам и деревням вот что начинается и ярко бьет в глаза. В тихие будни внезапно раздадутся ухарские песни, звуки стального треугольника, гармоники и бубна, с лихими выкриками и посвистами. Женщины, как заслышат, бросаются к окошкам, девки выбегают за ворота. Улицею идут по-двое и по-трое, иногда и целой толпой молодые парни, одетые все по-праздничному: на картузах и шапках у них цветы и ленты; цветами изукрашены и гармоники... Ребята проходят шумно, с пляскою и топотом, выделывая ногами бойкие колена.

— Вишь, лобовые! — слышится из окон и у ворот. — Гуляют, веселятся на последях-то, сердечные!

Но тут голоса и музыка как-то разом обрываются, все смолкнет и замрет.

Помолчат так с минуту да как грянут:

Ты подуи, подуи, погодушка,  
Со восточной со сторонушки,  
Со восточной, со полуночной!  
Ты развеи, развеи  
Желты мелки пески;  
Ты лети, лети, каленная стрела,  
Расколи ты гробову нову доску!  
Ты встань, кормилец-матушка,  
На мое на безвременьецо;  
Что везут меня в солдатушки,  
Что в солдатушки,  
В горькое житье...

А по избам в это время, где «любовые», слышатся частые вздохи и проливаются слезы: то вздыхают и плачут матери, сестры и жены...

За два дня до призыва семья Дубковых собралась в большой комнате пить чай. За самоваром сидела молодая и здоровая женщина — жена Ивана, а подле нее краснощекий трехлетний сынишка, крестник и любимец Стени; дочерей не было, — они давно вышли замуж. Акулина Захаровна разливала чай и время от времени тихо вздыхала, поглядывая на младшего сына, и крупная слеза выкатилась из ее серых глаз и дрожала на темных ресницах.

— Ну, что загодя горевать, — начал большак, проводя рукой по светлорусым волосам. — Может, бог даст, и освободится: Стеня льготный. Ежели любовых хватит, так наш не уйдет.

— Так-то оно так, — промолвила Акулина Захаровна, — а у матери на сердце все гребтится! Андрей еще не вернулся со службы, да вот и Стеня готовься.

Старший сын, Иван, хотел что-то сказать, но за дверью постучали, и в ту же минуту в комнату вошел молодой человек в драповом пальто с бобровым воротником. Перед хозяевами стоял господин одинакового роста со Стениею, но более дюжий, с лицом умным и полным, несколько бледноватым, с легким пушком на бороде и усах. Никто из домашних не узнал гостя. Он помолился, отдал всем поклон и с улыбкою сказал:

— Здравствуйте!

По голосу и улыбке узнали гостя. Стеня выронил из рук чайное блюдечко, вскочил и бросился к нему.

Костя! Друг, товарищ!.. Да неужто это ты?

Семья очень обрадовалась Белову. Он разделся, придвинул к столу стул и сел. На нем была черная пара, сюртук застегнут на все пуговицы, из-за черного шелкового галстука белелся чистый воротничок рубашки. За столом все оживились; посыпались вопросы. Белов отвечал спокойно, голосом сдержанным, и просто, как свой человек; хорошая молодая улыбка почти не сходила с его полных розовых губ.

— Палаша-то, Гаврило Петрович, как поживает? — осведомился большак.

— На Мологе, в лесной конторе служит. Хорошо они живут.

— А мамаша-то здорова ли? — спросила Акулина Захаровна.

— Все здоровы. Писали, чтобы я от них поклонился вам.

После ужина оба товарища ушли спать в новую пристройку. Теперь-то вот Стеня и наговорится с Беловым, усладит свою душу беседою с ним и разрешит те вопросы, какие возникали в его голове и оставались нерешенными. Больше шести лет не видались друзья, и было о чем поговорить.

На простом дубовом столике, покрытом льняной скатертью, горела лампочка; сосновые чистые стены тихо светились, приветливо глядела из угла изразцовая печка; вдоль стен стояли две железных кровати, а в простенке подюжины стульев.

— Как славно здесь пахнет, — сказал Белов, войдя в комнату.

— Воздух легкий, — ответил Стеня. — Новая, сосной отдает.

Школьные товарищи присели к столику.

— Ну, Костя? — начал Дубков, устремив взор на гостя.

— Ну, Стеня?

— Теперь мы с тобой потолкуем!

— Потолкуем, — и Белов снял черный сюртук. — Начинай. Рассказывай, как ты живешь, что подельваешь...

— Нет, ты мне рассказывай, — перебил Стеня. — Я после... Ах, как ты вырос!

Белов улыбнулся.

— Да и ты поднялся, — ответил он. — Много времени прошло, — и на лицо его набежала тень. — Вот и

наш Григорий Николаевич в сырой земле, — прибавил и грустно посмотрел на Стеню.

— Да, брат, успокоился наш Григорий Николаевич! Год спустя, как ты сюда приезжал, он скончался... Писал я тогда тебе?

Белов живнул головою.

— Съездим в Урваново, — продолжал Стеня, — сходим к нему на могилку?

— Непременно. Мы много ему обязаны. Я часто о нем вспоминаю и мне всякий раз становится больно... С осени и до лета человек неустанно работал, не досыпал ночей, вкладывал всю душу в свой труд, получая за это двадцать пять рублей в месяц, и нажил чахотку, умер в молодых годах. Какая горькая несправедливость!

Стеня заволновался.

— Да, да! — заговорил он порывисто. — Ну-ка, вот, скажи ты мне: почему это хороший человек редко бывает счастлив всю жизнь мается, и над ним же еще смеются люди?...

Белов помолчал, потом начал говорить, постепенно оживляясь, но говорил тихо и неторопливо. Говорил и рассказывал он много и о таких предметах, о которых не только слышать, но и думать Стене никогда не приходилось. Он жадно ловил каждое слово приятеля, весь как-то разгорался и только изредка делал краткие замечания: «так вот что!» или: «понял теперь... ну?» и слушал, слушал... Белов оказался довольно развитым и начитанным юношею, он интересовался разными вопросами, долго над ними думал и говорил продуманное; он не ограничивался тесным кругом знакомства с одними конторскими, но бывал в студенческих кружках, где много слышал и многому научился... Дубков слушал, не спуская с него глаз: Стеню поражали знание и ум Белова. Наконец, он не вытерпел и выпалил:

— Брат! какой же ты ученый и умница. Все-то ты знаешь и про все думал...

Белов улыбнулся.

— Думать-то я думаю, — сказал он, — но знаю мало. Для того нужно пройти гимназию, окончить университет...

— Так неужели есть люди учнее тебя! — удивился Дубков.

Приятель засмеялся.

— Какой ты, Стеня, простой, славный, — проговорил

он. — Каким ты был в школе, таким и теперь... Поговорим теперь о твоём деле.

— Ну, вот, вот! — подхватил Стеня. — Давай говорить.

Белов посмотрел на товарища:

— Ты хорошо надумал, Стеня, — начал он, — нужно, вам читать. Книжки учат и развивают человека: без книжки люди всю жизнь в потемках ходят.

— Знаю. Да как библиотеку-то нам устроить?

— Зачем библиотеку? — Белов подчеркнул последнее слово. — А устроить-то просто. Я привез тебе разных книжек, — короб с ними я оставил на Вязовке. Для начала этих книжек будет достаточно, а потом, когда прочитаете, куплю новых.

— А как же насчет денег? — спросил Дубков. — Тебе свои за нас тратить не приходится.

— Слушай. На первых порах, я знал, никто из ребят гроша на книжку не даст, — скорее пропьют полтинник или рубль, чем гривенник дать за книжку. Так я через своих знакомых приобрел все книжки для вас бесплатно.

— Ну? Как ты это ухитрился?

— Есть такие добрые люди, которые рады помочь деревне, — ответил товарищ, — они-то вот и пожертвовали...

— Ой? Спасибо им, большое спасибо!

— Ты будешь хозяином книжек, — продолжал Белов: — читай сам и давай всем, кто пожелает читать. Не называй только библиотекою, — это слово очень уж громко...

— Ладно.

— Так и сделай. Да старайся приохотить школьников и подростков, а потом, когда ребята заинтересуются и привыкнут к чтению, то сами не пожалеют двугривенного или полтинника, чтобы приобрести новых книжек.

— Да если бросят пить вино, так каждый в год целковый пожертвует! — подхватил Стеня.

— А много ребят пьют?

— Пьют... не так, чтоб уж очень много, как фабричные пьют, а все же прикладываются... Да что, брат, покажешь тебе: я тоже испиваю временем.

Долго приятели беседовали. Говорил и рассказывал больше гость: он много расспрашивал о деревне и вполне одобрил Стенин закон об отмене лещей.

— А как твои сердечные дела? — спросил Белов, ложась уже на кровать. — Ты что-то помалчиваешь, ничего в последнем письме не упомянул.

Стеня и покраснел, и просиял.

— Ах, Костя, брат! Вот девушка-то, так уж девушка! Умная, веселая... и писать умеет... Такое, братец, ко мне письмо сочинила... Да я сейчас его достану, покажу тебе, сам увидишь, что это за головка-девушка!

Товарищи говорили часов до двух и всего не могли переговорить.

Гость заснул, а хозяин не спал, — ворочался сбоку на бок и шептал:

— Верно, что он ни сказывал, все справедливо... Не даром меня в Москву-то все тянуло... Много значит наука!... А что-то теперь Наташа?... Да что, поди, спит... Уволюсь ли я?.. Но какой же умница этот Костя! Сладкого тебе сна, веселая!

Утром Копнино знало уже о приезде Белова. Когда приятели показались на улице, то все наперерыв спешили взглянуть на москвича, а дарни окружили его и с разных сторон раздавались голоса:

— Константин Гаврилыч!.. приехал. Все ли здоров?.. Вздумал проведать родную сторонку? С приездом.

— Здравствуйте, братцы, здравствуйте.

Глядя на богатое пальто и каракулевую шапку приезжего, некоторые полюбопытствовали узнать, какое он получает жалование, и когда узнали, что в месяц сто рублей, то были чрезвычайно удивлены.

— Вот как наши-то! — воскликнул Прибытков. — Ты, Константин Гаврилыч, я полагаю, ради своего приезда и свидания попотчешь наших ребят?..

— Семён, — перебил Дубков, — постыдись...

Но Константин Гаврилыч поддержал Сеню:

— С удовольствием, — сказал он, — будем в Урванове и зайдем в трактир.

— Побеседуем, давно не видались, — промолвил Ковригин.

— Уж погуляем же мы, братцы! — возрадовался Сеня.

Призывной участок находился в тридцати верстах от Копнина, в селе Староносове. Поэтому, как только пообедили, все призывные начали собираться в путь, а с ними и некоторые из товарищей.

Староносово — село большое, фабричное и торговое; в нем две каменные церкви, пять улиц, четыре трактира и множество винных лавочек.

Перед большим каменным домом, в котором открылось присутствие, толпится народ: мужики, бабы, девки... Глаза всех устремлены на открытый двор и крыльцо. «Жеребьевка» уж окончилась; стали выкликать «любовых». На дворе, украшенные цветами и лентами, стоят призывные.

Среди деревенской молодежи, крепкой, рослой и цветущей здоровьем, внимание толпы приковывают к себе два колосса: это — Дубков и Белов.

— Вот богатыри-то! — переговариваются в народе. — Таких и раздевать не надо: прямо отсылай в гвардию.

— Оба, слышь, льготные!

Зато какими жалкими и несчастными глядели фабричные парни: худые, изможденные, с неестественным желтым и землянистым цветом лица, они казались точно выходцами с того света.

Со двора через заднее крыльцо уходят по-двое, по-трое в присутствие. На крыльцо, которое с улицы, выбегают полураздетый фабричный заморыш, держа в руках пальто, и кричит:

— Гуляй, — забракован!

Следом показывается другой, здоровый парень, несколько взволнованный, но старающийся казаться спокойным и веселым.

— Принят, — говорит.

В толпе послышался женский плач и голос:

— Ах, ты мое родимое ди-и-тя-тко!..

И по мере того как на крыльцо выходят принятые, женский плач и причитания усиливаются; говор становится громче. Некоторые из новобранцев идут с родными в трактир; другие ждут товарищей или утешают своих матерей и жен.

— Гляди, — говорит какой-то мужичок, немного подгулявший, — фабричные-то, должно, все в браковку поступят, а только одни деревенские уйдут и станут проливать кровь за отечество.

— Тебя бы вот еще взять! — посмеялось какое-то

пальто с фуражкой набекрень, — первый бы воин и защитник был.

— А ты как обо мне полагаешь? — повернулся тот на голос. — Дай мне в руки ружье да положи сухарей в ранец, так я сейчас ударю на врага.

— Не лучше ли тебе сейчас в кабак: ты, кажется, мало еще храбрости захватил?

В толпе смех, хохот.

— А что, разве не пойду? Меня и в кабаке, и в трактире примут: я за свои трудовые денежки пристанище везде найду. Вот ты так прощальщик!

Опять смех.

А тут же, в сторонке, мать-старушка, положивши на плечи красивого сына руки, тихо и скорбно причитает:

Угонят тебя, мое дитяtko,  
В города дальние, заукраиные,  
Под сабельки вострые,  
Под пушечки медные.  
Не спознаю я, горюха, не сведаю,  
Когда смерточка с тобой станется...

Близко вечер. Присутствие закрывается до следующего дня. Начальство спешит на обед к станovому приставу. Последние призывные, льготные, принятые и забракованные расходятся по трактирам, винным лавочкам и постоянным дворам.

Все заведения битком набиты. В одном из трактиров сидят копинские, пьют чай, закусывают и посматривают. В заведении много фабричных, только что получивших месячную из конторы «дачку». От смешанных голосов, криков и звуков музыкальных инструментов стон и рев стоят, а от топота и пляски ходуном ходит пол.

— Делай! Жги! — кричат. — Эх, вы, молодчики!..

Гуляй девка, гуляй баба,  
Гуляй я, ходи милая моя!

— Жарь! Покажем себя деревенщине! Гуляем!

За ближним столом более трезвые и, видимо, не простые фабричные молодцы, чувствительно выводят:

Ковой-то нет, ковой-то жаль,  
И сердце все балит па-нем!

Песни прерываются возгласами за соседним столом:  
— Я первый прядильщик на фабрике!



— Так что? Я сам по своему делу первый мастер... Меня и хозяин лично знает. Так ты учить других погоди.

— А хочешь, я тебе в морду дам!

— Как ты сказа-ал? Повтори!

— Морду разобью!

— Морду?! Это ты лицо-то... образ и подобие!.. Так я ж тебя разуба-ажу!

Деревенщина также заявляет себя, но по-другому:

Эко сердце, эко бедно...

Одни плачут, другие целуются, кричат и обнимаются.

— Я тебя не спокину... Ты теперь, выходит, защитник России, православный воин!.. Так неужто я, старший брат и попечитель, забуду тебя на чужой стороне... Цалуй!

— Соспокой себя, братец, — говорит молодой паренек. — Бог даст, окончу службу и ворочусь в родительский дом.

— Невперре-нос! — обливаясь слезами и колотя себя изо всей силы кулаком в грудь, восклицает братец, высокий черномазый мужик в посконной рубахе и портах. — Как мне теперича ни трудно будет одному, а все же я в год тебе цалковый-два пришлю. Надейся на брата, как на каменную стену. Да выпей ты, выпей! Легше будет...

Белов пил чай и наблюдал.

Перед копнинскими стояла всего одна бутылка. Хотя высказывалось желание потребовать и другую, но удержались ввиду угощения, какое им было обещано московским гостем: день как-нибудь уж перетерпят!

На следующий день, часа в два, копнинские были отпущены: двенадцать человек принято; внук старосты Петр получил отсрочку для поправления здоровья, Дубков и Белов отчислены в ополчение. Немедленно все отправились к домам, но с тем, чтобы по дороге завернуть в Урваново и там погулять. Приехали они туда перед вечернею. Дубков с Беловым пошли к священнику, чтобы попросить его отслужить панихиду на могиле по Григории Николаевиче; к ним присоединились Ковригин, Прибытков и еще человек пять, также бывших учеников покойного, а остальные отправились в трактир Максимыча, почему-то более привлекавший гостей, чем другой — Кузьмича.

Трактир, Максимыча был двухэтажный, обитый снаружи тесом и окрашенный в кофейный цвет. Копнинцы махнули вверх, откуда неслись голоса и музыка: там фабричные ухлопывали последние рубли от месячной «дачки», полученной ими накануне, пятнадцатого числа.

— Пожалуйте, господа! — встретил копнинских из-за буфета Максимыч, небольшого роста, молодой еще человек, но успевший уже оплешиветь. — Чего будет угодно приказать?

— Да мы не все тут, — ответил один парень, — сейчас подойдут другие. Пока так посидим, а потом всего потребуем.

— Очень приятно слышать, — улыбнулся Максимыч, — Пожалуйте, я прикажу столики для вашей компании сдвинуть.

Фабричные узнали копнинцев.

— С призыва значит, — проговорил кто-то. — Что ж они без своего атамана?

— Видно, тот прямо домой проехал.

Но через полчаса фабричные увидели и «атамана».

— Прежде закусим, что ли? — обратился с вопросом к своим Белов.

Ребята переглянулись.

— Сперва водочки, Константин Гаврилыч, — ответил за всех Сеня Прибытков. — А там, что будет кому желательно...

Белов сделал распоряжение.

Максимыч различал «публику» и не ударил себя в грязь перед московским гостем и копнинским судьей. Прибытков, Петр старостин и Вася Колычев сидели по левую руку Белова, а Козригин и Стеня — по правую, с новою и отличною гармонией, привезенною ему из Москвы в подарок Беловым.

— Что же, товарищи, можно бы и песенку завести, — сказал Белов. —

— И то, надо повеселить себя.

Дубком взял в руки новую итальянку, а Миша Ковригин запел:

Из-за леса, леса темного...

Давно фабричные посматривали на копнинцев, любясь батареями различных бутылок. У тех, которые успели спустить всю дачку и потому сидели теперь праздны, —

Максими́ч, спасибо ему, не выгонял из заведения таких гостей, — зрелище обильного угощения возбуждало аппетит. Глаза других разгорались на итальянку Дубкова; они переговаривались о чем-то, косясь в сторону деревенской компании. Долго фабричные крепились. Первыми не выдержали пропойцы. Сначала один осмелелся, подошел к Дубкову и, конфузясь, попросил:

— Степан Васильевич! ежели бы милость ваша была... рюмочку или стакашек?..

— Костя, дозволяешь?

— Пожалуйста!.. распорядься.

— Пей! — разрешил Степан Васильевич. — Нам не жалко этого добра. Бери стакан да наливай.

За первым другой осмелелся, подошел за ним третий и т. д. Не усидели на своих местах и денежные люди.

— Степан Васильевич! — подлетел один молодец. — Очень у вас прекрасная итальянка. Дозвольте на одну минутку поиграть!

— Да умеешь ли? — спросил Стеня.

— А вот услышите.

— Играй. Только, смотри — не повреди!

Фабричный ловко взял гармонию и начал какую-то польку, — играл он бойко.

— Хорошо, — одобрил Стеня. — Но лучше бы ты русскую... Подожди... На-ка, выкушай! — и налил стакан.

— Покорнейча благодарю. С ба-альшим удовольствием!

Прибытков и Вася Колычев под русскую пустились плясать. Веселье расходилось в заведении. Не утерпел и судья: вылез и так отделал камаринскую, что сам Максими́ч, человек много видавший, повывдвинулся из-за буфета и полюбовался на судью, а Костя пришел в восхищение и усердно хлопал. Музыкант окончил, вручил итальянку по принадлежности и хватил еще два стакана, но минут через пять снова явился и попросил гармонию. Стеня занялся разговором с Костею и увлекся. Белов пил только пиво, а Стеня — и пиво, и водку, и вино, — уж очень доволен и счастлив он был. Песни, гармоника и пляска не прекращались ни на минуту.

— А ты, видно, одно пиво кушаешь? — спросил Дубков приятеля.

— Я кроме пива ничего не пью, — ответил Белов. — Да и то хочу оставить: разбухаешь с него... Свиństwo!

— Так с пива-то, должно, ты и пополнил?.. Ах, брат, я тоже брошу! Сегодня в последний раз,—и больше ни капли в рот не возьму... Разве когда в храмовой праздник... Эх, поитрать, что ли, еще на своей итальянке?

Стеня посмотрел в сторону фабричных, — гармониста нет.

— Где же он?

— Тебе Николая надобно? — отозвался кто-то из фабричных.

— Его.

— Он на квартиру ушел с товарищем. Наверно, вернутсЯ. А то лучше дойди к нему.

Стеня подождал; гармонист не возвращается. Тогда он спросил, где квартира Николая, и пошел на улицу.

— Весело! — раздавался голос Сени Прибыткова. — Гуляй наши, копнинские!.. Костя, друг, попляши со мной!.. Уж очень ты нас уважил... Поцелуемся!

На дворе ночь стояла темная-темная, в сыром воздухе моросило. На селе уже спали, кое-где слабо мерцали редкие огоньки; но трактиры и винные лавки были в полном освещении. Дубков направился на угор, где стоял дом, в котором жил гармонист. Из окошек ярко бил на улицу свет. Только в этом домике и горел огонь, остальные тонули в темноте. Дубков подошел и постучал в окно. Выбежал гармонист и с ним еще несколько человек.

— Тебе что? — довольно грубо спросил Николай.

— За гармонию пришел.

— Гармонию унес товарищ, — он на фабрику ушел.

— Подавай! Я тебе дал, а товарища твоего не знаю.

Николай начал браниться. Другие ввязались.

— Да почто он пришел? Чего он пристаёт?..

— Говорю вам: не уйду без гармонии! — настаивал на своем Дубков. — Она мне дареная, ей цены нет.

На голоса выбежали еще человек пять. Один из них, не говоря дурного слова, хватил Дубкова его же бесценной гармонией по голове.

— А, так вы так-то за нашу добродетель? — воскликнул Стеня. — Заранее сговорились! — развернулся и пошел...

— Окружай его, ребята, окружай! — громче всех кричал гармонист. — Никак меня треснул?.. Да как больно... Ничего, с одним-то справимся... Ой! еще влепил... За все леши теперь заплатим.

В трактире хватились Стени. Узнавши, куда он ушел, Белов с Ковригиным и еще с троими копнинцами поспешили на поиски, догадываясь, — и не без причины, — что Дубков легко мог наткнуться на какую-нибудь неприятность. Заслышав на уторе голоса и частые глухие звуки, точно там дубили полудубки, они кинулись на огонь.

Обложенный толпою фабричных, число которых прибавлялось, Дубков с быстротой молнии и страшною энергией сыпал по сторонам удары. Неизвестно, какой оборот приняло бы дело, если бы во-время не подоспел Белов с товарищами.

— Стеня! Не подсобить ли?

— Костя! Друг! Луни их, изменников...

И Костя, сбросив щегольское пальто, вступил в бой. Ковригину и остальным только пришлось смотреть. Крутом стояла темь; свет из окошек упал на фигуры и лица бойцов. Подобно сказочным богатырям, вырисовывались два гиганта, руки которых то вздымались, то опускались. Раздавались одни удары, да порою богатырский голос:

— Вишь, сколько их повывезло! Откуда взялись?

Минут в десять, не больше, все окончилось. Разбитые наголову, фабричные покинули поле сражения и разбежались.

— Вот черти-то! — слышались уже издали голоса побежденных. — Мы думали, Стенька один, а к нему пристал и тот... Экие ручищи у них, лещих!

После благополучного окончания дела приятели снова возвратились к Максимычу. За полночь гуляли копнинцы. Москвич угостил всех на славу.

\*

Белов недолго гостил на родине: через три дня он уехал в Москву. Дубков и многие провожали гостя до станции железной дороги.

— Опять-то когда к нам приедешь? — спрашивал Стеня.

— Побываю... Знаешь что? — сказал Белов. — Поживу я еще в Москве лет пять, сколочу несколько сотен рублей, — мне на следующий год жалованья прибавят, — и поселюсь я опять в деревне: куплю где-нибудь земли и займусь крестьянским хозяйством.

— Ну?.. Вот бы хорошо было...

Проводив своего друга, Стеня махнул в Высоково и повидался там с одною девушкой.

— Теперь все дело за тобой, — сказал парень.

— Жди, — ответила Наташа, — годок с небольшим осталось.

— Подожду, подожду, родная!.. Вино я теперь брошу пить.

Девушка, вся расцветая от удовольствия, вскинула на него свои голубые глаза и вымолвила:

— Я за это еще больше тебя стану любить!

В первое же воскресенье Дубков обратился к молодежи с такими словами:

— Братцы! Давайте кинем мы вино пить... Дурно мы это делаем...

Парни позамялись, переглянулись; послышалось откашливанье.

— Трудно это будет, Стеня...

— Да хоть попробуем. Сперва посократимся кушать, а там... может не так уж тяжело покажется — и вовсе оставим... Сам я теперь до вина больше не прикоснусь.

— Что же, попробуем, ребята?.. Ладно... Только что же мы теперь без вина станем делать? Народ мы молодой — скучно...

— А теперь, братцы, мы будем книжки читать, — радостно объявил Стеня. — Белов мне привез их сотни две... Разные, хорошие книжки! Есть и с картинками, много всяких...

— Ой-ли? Что ж, станем коли читать!

Копнинская молодежь принялась за чтение. Дело пошло на лад. От мальчуганов и подростков скоро отбою не стало: только подавай им книжек! Из взрослых особенное усердие выказывают: Миша Ковригин, Вася Кольчывс и сам Дубков. Иногда они с книжкой являются на посиделки, и тогда устраивается чтение вслух: девки и парни слушают с большим интересом.

Из соседних деревень также приходят за книжками. Степан Васильевич никому не отказывает, дает всем охотно и говорит:

— Читайте, книжек у меня — сколько угодно... Обращайтесь только с книжкою как можно осторожнее: держите в полной сохранности и чистоте, чтобы нигде и пятнышка не видел. А главное — читайте с пониманием!

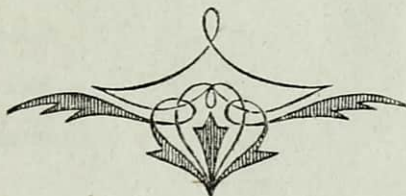
Надо же нам когда-нибудь поумнеть, — не маленькие, слава богу, вон какие выросли!

Больше всех из чужих с требованиями обращаются Высоковские. Но никто, кажется, так много не читает, как Наталья Дмитриевна.

Копнинские мужики только поглядывают да дивуются.

— Чудеса, что с нашими ребятами, — говорят, — за книжки принялись!

— А начальник всему — Стеня... Удивительный парень... Чем-то он себя окажет, когда в совершенные года взойдет?..



Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| <i>Крестьянское горе</i> . . . . . | 5   |
| <i>Иван-Воин</i> . . . . .         | 55  |
| <i>Безоброчный</i> . . . . .       | 77  |
| <i>Не в обычае</i> . . . . .       | 149 |
| <i>Стеня Дубков</i> . . . . .      | 225 |

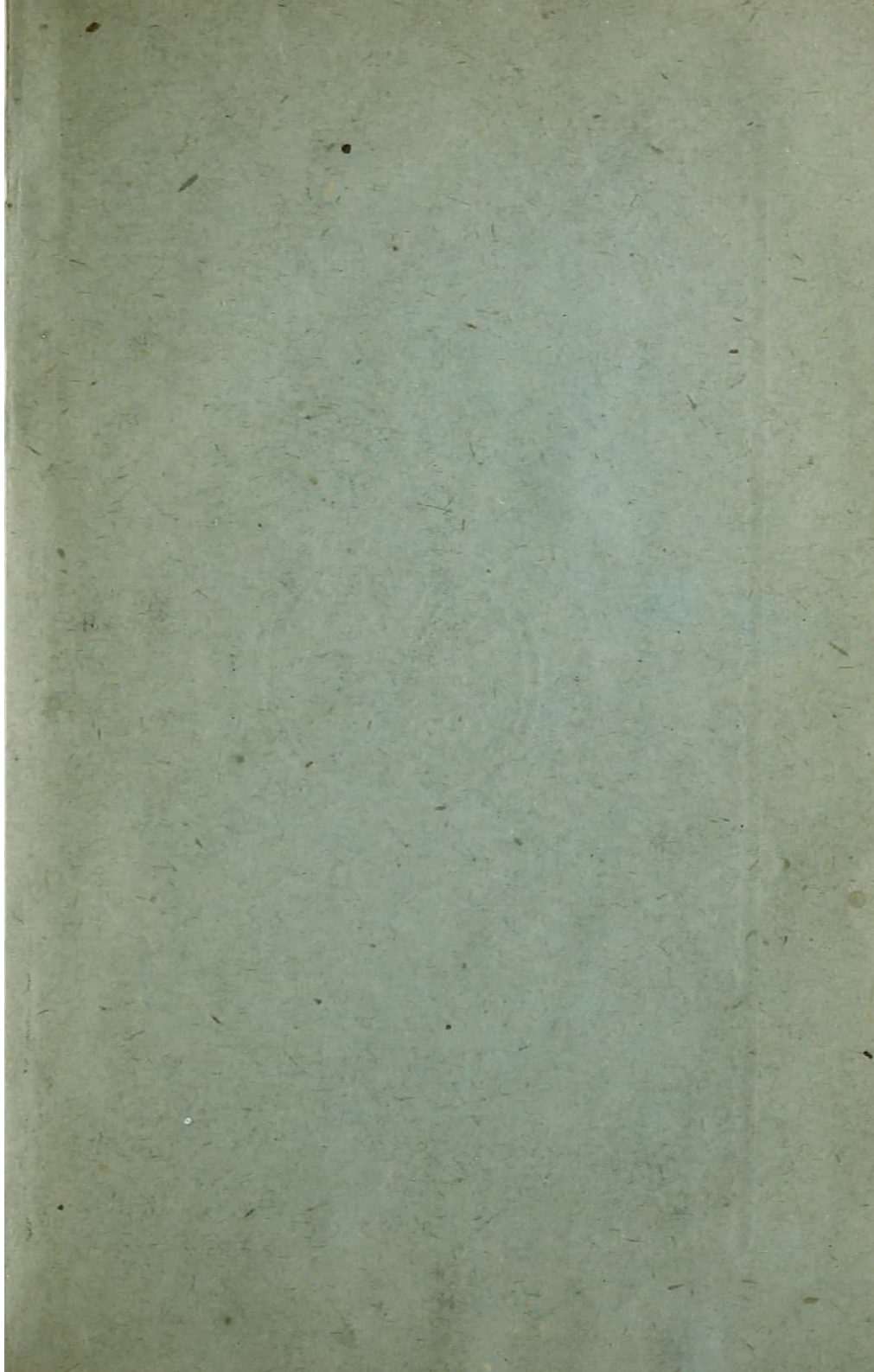
Редактор Д. Г. Прокофьев.  
Художник В. Н. Говоров.  
Технический редактор  
В. П. Федоров.  
Корректора:  
А. П. Прянишникова и  
А. С. Солодова.

Сдано в набор 11/VI 1936 г. Подпи-  
сано к печати 7/X—5/XI 1936 г. Ти-  
раж 10 200 экз. Изд. № 40. Инд.  
XI-6. Уполн. Ивобллита № 1217.  
Формат 82,5 × 110,32. Бум. л.  
4<sup>м</sup> + 5 вклеек. Печ. л. 19<sup>л</sup>. Учет-  
но-авт. л. 16,1. В бум. л. 143 104 экз.

Типография издательства Иваков-  
ского обкома ВКП(б). Иваново.  
Типографская, 4. Заказ № 4090.

Цена 5 руб. 50 коп.  
Череплет 1 руб. 50 коп.

Ивановская Обл. Научн. Библи.  
Отдел Краевой







7 РУБ.



